

Вера
Инбер

1

Вера  нбер



Вера Инбер



**собрание сочинений
в четырех
томах**



**Издательство
«Художественная литература»
Москва 1965**

Вера Инбер



собрание сочинений

том первый



**СТИХОТВОРЕНИЯ
И ПОЭМЫ**

**Издательство
«Художественная литература»
Москва 1965**

P2
И57

Вступительная статья
А. МАКАРОВА

Портрет художника
Н. ЖУКОВА
Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО



B. M. Huse;

ВЕРА ИНБЕР

Вера Инбер... Мелькнет случайно в разговоре это имя, и вдруг подметишь, как у собеседника помолодели, потептели улыбкой глаза. Может быть, всего на мгновение. Но миг этот сказал вам многое — о человеке и о писателе. О человеке, чья семидесятипятилетняя жизнь складывалась в период сложный, насыщенный событиями всемирно-исторического значения. Чья биография начиналась в столь далекие от нас годы, что еще впереди были и все три русские революции, и обе мировые войны, и все великие социальные перемены в жизни народа, и все перестройки в убеждениях и верованиях самой Веры Инбер.

Творческая юность, окутанная душным туманом настроений буржуазной предреволюционной поэзии. Годы исканий, освещенные робкой доверительной улыбкой навстречу новому дню. Утверждение себя в жизни участницей строительства социализма и советской литературы. Почти три немыслимых года проверки стойкости характера и боевой выносливости пера в железных ночах блокированного Ленинграда. И неутомимый писательский труд, повседневное участие в общественной жизни сейчас, в наши дни развернутого строительства коммунизма. Какая вместительная жизнь!

Есть, очевидно, в самой природе таланта писательницы *что-то такое*, что помогло этому по виду хрупкому, но удивительно жизнестойкому таланту с успехом пройти путь от изящных салонно-бездумных безделушек к высотам той поэзии, в которой через самобытный авторский голос мы слышим отзвуки нашей

советской жизни. Это *что-то* — черта очень близкая советским людям, свойство души деятельной. Окидывая общим взглядом творчество Веры Инбер, видишь, что душу ее творчества можно выразить одним словом — *жизнелюбие*.



Однако первые сборники ее стихов носили мало жизнеутверждающие названия: «Печальное вино», «Горькая услада», «Бренные слова». «Названия всех этих книг настолько характерны,— пишет о них сама Вера Инбер,— что избавляют меня от необходимости подробнее говорить о своем творчестве тех лет»¹. Автор, в свое время немало посетовавший на свое прошлое, имеет в конце концов право попросту отмахнуться от него. У критика такого права нет, более того, он испытывает настоящую необходимость понять: что скрывается за этими названиями.

Вера Михайловна Инбер родилась в 1890 году, в Одессе, в городе, подарившем советской литературе столько известных писательских имен. Мать привила дочери любовь к родному языку и литературе. Она была педагогом, преподавала русский язык в женском училище. Отец возглавлял издательство «Mathesis» («Математика»); его пайщиками были крупные профессора Одесского университета. Можно предполагать, что окружение отца, в свою очередь, способствовало пробуждению интереса к миру науки, развитию аналитических склонностей интеллекта, которые впоследствии проявятся в творчестве писательницы, при переоценке своего прошлого. И лишь где-то в отдалении, почти не задевая духовного мира ребенка, маячили «проклятые вопросы» общественного бытия в полной социальных противоречий, чреватой революцией России. «...При всех своих привлекательных чертах мои родители не шли дальше взглядов либеральной интеллигенции, — свидетельствует писательница.— Поэтому даже громовые залпы восставшего броненосца «Потемкин» прозвучали и для меня лишь отдаленным эхом в дачной тишине солнечного дня»².

Отделенная условиями существования от народа, обеспе-

¹ Вера Инбер, Стихи и поэмы, Гослитиздат, Москва, 1957, стр. 6.

² Там же, стр. 6—7.

ченная среда не была той почвой, которая с юных лет вырабатывает в человеке ясное мировоззрение. Она плохо ограждала выходящего из нее в мир человека от чужих влияний, скорее делала его чрезвычайно восприимчивым к различным влияниям. Из этой социальной прослойки люди могли уходить и в революцию, как социал-демократка кузина Анна («О моем отце»), и могли, как юная Вера Инбер, погружаться в искусства и мечты, наслаждаясь уютom обеспеченного быта, утопая «в потоке слов и нежных интонаций».

Первый ее сборник «Печальное вино» вышел в Париже в 1914 году. Жизненный опыт автора исчерпывался гимназией, годом занятий на Высших женских курсах и двумя-тремя годами жизни за границей. Социальная среда детства и юности уступила место иной, еще более далекой народной жизни — среде интеллигенции, противопоставившей реальному миру так называемый «мир искусства». Это были годы реакции, когда, по словам Веры Инбер, «целое поколение интеллигенции потягивало действительность сквозь соломинку и в таком виде находило ее сносной. В литературе это проявилось в любви к вещам, которые украшают жизнь, в какой-то болезненной праздничности, в упадочной пышности образов и сравнений».

Эти строки написаны в 1926 году. Они выражают критическое отношение поэта к своему прошлому. Однако самое понятие вещей, украшающих жизнь, здесь еще связано с тем пониманием «красоты», которое Вера Инбер в той же статье характеризует как «некий суррогат... красивость, иными словами — эстетизм».

«Красивые стихи рождаются не часто, как очень редкие, но странные цветы», — писала в те годы Инбер. Изобретательность вдохновения направлялась на то, чтобы сделать эти цветы еще более редкими и странными... «Моя душа давно была маркизой, она любила тонкие духи, улыбки, маскарады, менуэты...», «Там рос тюльпан и все мечтал о чайке, в которую влюбился из каприза...», «И юноша-Весна склонился над фонтаном, держа цветок в зубах». Мало того, что весна-красна окажется под пером русского поэта французским юношей (по-французски слово весна — *le printemps* — мужского рода), но и цветок в его зубах будет, конечно, не скромным подснежником, а изысканной «лиловой анемонией». Пригоршнями можно черпать из стихов сборника примеры образов столь же причудливых, сколь и далеких от грешной действительности, насквозь литературных, подражательных.

В «Печальном вине» — все в пределах красивых уютов. Стих

сладкозвучен, завораживающе хрупок, но редко-редко проблеснет здесь животворный луч не костюмированного человеческого чувства. Все маркизы да рабыни, цикламены и анемоны, и вдруг «Моя девочка» — лирический перл, полный жизни, где так неразделимо слились нежность и ирония, улыбка и грусть, стихотворение, которое невозможно пересказать, — так тонко, сложно выраженное в нем чувство. Одна ласточка не делает весны, и стихотворение «Моя девочка» не определяло лица книжки. Но его присутствие обнадеживало.

В то время Иванов-Разумник метко назвал свою рецензию на сборники «Четки» Анны Ахматовой и «Печальное вино» Веры Инбер — «Жеманницы». Не отрицая несомненного художественного таланта молодой поэтессы, он как признак ее стихов отметил «игрушечную жеманность». В форме ее стиха, писал критик, как бы отражается и «растерянность душевная», и выражал надежду, что, отдав дань в первой своей книжке малому кругу переживаний, «Вера Инбер сумеет выйти в иные области жизни».

Поэтическое жеманство пронизывает «Печальное вино», которое вовсе не так уж печально. В стихах нет прямой насмешки ни над султанами, ни над пажами, все писалось всерьез, и все странно не гармонирует с гривуазностью, игривостью, с какою рассказывается о приближении собственной смерти или о возлюбленном, столь покорном, что в ожидании любимой он «затеплит лампадку, как в детской». Маска-то маска, но она вроде бы немного сбита набок, нет-нет да выглянут из-под нее какие-то лукавые рожки. Поэзия малых чувств, выдуманной жизни? Несомненно. Однако лишенная того истерического надрыва, с которым иные декаденты ухитрялись свои ничтожные чувства поднимать до вершин «мировой скорби».

С легкой руки самого автора, критика обычно говорит о первых сборниках Инбер скопом, равнодушно смешивая стихи первого со стихами второго и третьего, находя своего рода общий делитель для предреволюционного творчества поэта. А между тем как раз общность этих сборников весьма относительна.

В сборнике «Горькая услада», вышедшем в 1917 году, мы, конечно, еще встретимся с отзвуками прежних настроений, с вычурными образами, с невыполненными желаниями, но не они составляют душу книги.

Освежающей струей влились в нее стихи о родном русском пейзаже. Природа, присутствовавшая в «Печальном вине» в облике «классических садов великого Ленотра», в которых, соб-

ственно говоря, от природы мало что оставалось, в ее второй книге проступает во всей ее первозданной красоте, зарисованной живописно, точно, красочно. Прочтите такие стихи, как «Ты представить себе не можешь...», «Шелестя сухими злаками...», «Уж виноградари прошли с корзинами...», всмотритесь, как четок рисунок, как прозрачны и нежны краски, вслушайтесь в звуковой аккомпанемент стиха и подивитесь не только тонкости чувства, но и мастерству:

... А на яблоне — светлое облако, пух ли?
И высокое море синей стеною
Обвело весь город, от солнца алый...

Первая строка воздушна и невесома, а звучание гласных в двух последующих строках словно открывает перед нами необозримый простор. «В такие дни возможно, мнится, простыми средствами создать прекрасное». *Простыми средствами!* Но о них и речи не было в первой книге, где идеал поэта — редкое, экзотическое, странное. И вот уже появляется в стихах солдат со своей песней («Я и не знала, что и солдатская песня может быть такая нежная») и даже размышления о судьбе солдата, хотя еще и не о солдатской судьбе. Сборник «Горькая услада» с его типично декадентским названием как бы тянется уже к той поэзии живой жизни, которой так чурались декаденты. И вопреки всей декадентской этике, призывающей к покорности, к думам о бренности и ничтожности человеческого бытия, из сердца поэта вырывается трогательное признание:

Как уйти от этой жизни милой,
Где поют дожди под звездной сеткой,
Где деревья самой тонкой веткой
Словно держат сердце с нежной силой.

Нам иногда свойственно пытаться рассматривать каждую новую книгу поэта как свидетельство обязательного если не художественного, так уж идейного роста. Увы, это не так. Даже самые великие события и социальные перевороты не всегда сразу преломляются в душе человека. Есть инерция души, души, привычной к определенному бытию, она страшится резких перемен и даже не прочь построить для себя улиточный домик.

«Бренные слова» вышли спустя пять лет после Октябрьской революции, в 1922 году. Сборник напоминает своего рода стихо-

творный Ноев ковчег, куда попали и стихи с предреволюционными настроениями, и стихи, написанные в первые годы революции. Здесь и забавные стихи «У первой мухи головокруженье...», «Поздно ночью у подушки...», пленяющие своей жизнерадостностью, и дешевые шансонетки «У маленького Джонни...», «Вилли Грум», о которых будет горестно вспоминать автор как о вещах «самых густых и легких», и стихотворение «Слишком быстро проходит жизнь моя...», где поэт воображает себя беленькой старушкой, которая будет внукам медленно и пространно рассказывать о девятьсот семнадцатом годе. Однако перемены, которыми она удивит «шумное молодое племя», сведутся к тому, что «бабушка в свое время писала стихи... еще с ятем». Если к тому же вспомнить, что в первоначальном варианте вместо строки «редеет лесной опушкой» стояли слова «в золотых волосах и с мушкой», станет ясно, какая еще сумятица творится в сознании поэта, насколько он в плену привычного жеманства.

Есть в сборнике и грустная ирония по отношению к самой себе, к той, чьи слова «еще вчера едва звенели, подобные стрекозьему крылу», и человеческая боль, и в стихах 1918—1919 годов предчувствие иной жизни:

И то, что было некогда уколом
На мякоти румяного плода,
Становится ранением тяжелым,—
Но эти раны благодны всегда.

Что ж, это очень верное предчувствие нового рождения, которое приходит через боль и страдания. А пока: «Я пою по мере сил без гнева, не ища сокрытой цели». «Я двигаюсь покорно, куда влекут меня»,— так исповедует поэт свою веру в дни невиданных перемен и полной напряженности борьбы со старым миром. Впоследствии о своем бытии в решающие дни Октября Вера Инбер сама неллицеприятно и осудительно скажет:

Я писала лирически-нежным пером,
Я дышала спокойно и ровненько,
А вокруг, отбиваясь от юнкеров,
Исходили боями Хамовники.

Впрочем, стоило ли так пространно говорить о ранних сборниках, которые сама Вера Инбер называет только «предбиографией», считая, что ее подлинная творческая биография началась

в 1924 году с книжки «Цель и путь»? Стоило. Стоило потому, что на пристрастном анализировании своей предбиографии вырастет лирическая исповедь двадцатых — тридцатых годов. Ею Вера Инбер заняла особое место в советской поэзии, с необычайной искренностью поведав не только нам, но и будущим читателям о том, как человек, далекий от революции, становился под влиянием советской жизни новым человеком страны социализма.

2

К тому времени, как сборник «Бренные слова» вышел в свет, поэтесса была уже иным человеком. Весной 1918 года она уехала из Москвы в Одессу и только в мае 1922 года окончательно поселилась в Москве, где «предстояло начать жить и писать по-новому». Годы, проведенные в Одессе, Вера Инбер довольно точно описала в своей повести «Место под солнцем». «Но в жизни все было гораздо сложнее и мучительнее, чем это показано в книге». Надо думать! «Место под солнцем» написано в 1928 году, когда талант автора уже уверенно развивался на плодотворной почве нового мировоззрения. И потому невероятно трудная ломка быта, неуверенные, ощупью, шаги героини в непривычной обстановке, попытки освоиться в новой среде — все это в повести смягчено просветленной улыбкой много выстрадавшего и много понявшего сердца. Читая повесть, можно ясно понять, что помогло Вере Инбер, в отличие от некоторых людей ее среды, найти свое *место под солнцем*, с чего началось сближение поэта с новой жизнью. Любовь к родине?! Да, несомненно. Но в любви к родине трудно отказать и тем писателям, которые покидали ее из ненависти к большевикам, становились на годы и десятилетия добровольными изгнанниками и которые (отметим это) в своем творчестве были куда ближе к реальной жизни, чьи дореволюционные произведения и поныне остаются образцами реалистического искусства. Что мешало автору стихов, написанных «лирически-нежным пером», последовать их примеру, что побудило ее остаться в нищей, голодной стране? Случайное стечение обстоятельств? Думается, нет. Но вот подлинное жизнелюбие, какая-то внутренняя потребность перемениться, найти себя, свойственное еще молодому таланту душевное любопытство, удивление перед жизнью в ее неудержимом стремлении вперед, думается, такую роль сыграли. Легче всего объяснить нравствен-

ное поведение писательницы в эти годы тем, что так легко извлекается из ее повести. Вот появился человек из чужого ей мира — матрос с «Алмаза» — и, догадавшись по опустевшим полкам, что книги идут на топливо, приказал: «Александра Пушкина не жечь, Николая Гоголя не жечь, Михаила Лермонтова не жечь тоже. Понятно?» И за этим для влюбленной в искусство интеллигентки вдруг раскрылся мир иной, о котором она и не подозревала, мир, противоположный миру ее знакомых, вчерашних эстетов, ныне махнувших рукой на все культурные ценности и вовсю улепетывавших за границу. Да, несомненно, удивительное для Веры Инбер в людях чужого ей еще мира уважение к культуре способствовало возникновению симпатии к новым, не понятным ей людям. Эпоха шла ей навстречу, но и она шла навстречу эпохе, проявляя при этом живейшую любознательность. Известно, что эпоха, среда играют огромную роль в формировании и становлении человека. Но творческий результат проявляется лишь в том случае, когда человек способен сам увлечься эпохой, готов пойти и против среды. Среда средой, но что-нибудь значит и сам индивидуум, и это мы, кажется, все больше начинаем понимать.

Творческий инстинкт, да простится мне такое определение, побудил поэтессу, еще недавно блуждавшую в барских садоводствах поэзии, понять, что время рифмованных побрякушек безвозвратно миновало. «Потребность в новом мироощущении», как впоследствии определит это состояние Вера Инбер, чувствовалось все более остро. Но для этого надо было познать пока еще вне лежащее, объективно существующее время. В очерке «Мои пятнадцать лет» писательница вспомнит о том страшном для художника состоянии, когда с утратой чувства времени утрачивается все — вдохновение и умение, чувство языка и рабочий нерв.

Новое мироощущение приходит к писательнице через ощущение себя во времени, через тему глубоко личную. Совершенно справедливо критика называет стихи «Уж свою Францию...» (1922) и «Поцелуй же напоследок...» (1923) переломными в ее творчестве.

Путь мой не бесплоден,
Цель найду опять.
Только трудно родину,
Потеряв, сыскать, —

так кончалось первое стихотворение.

А второе утверждало:

И, плывя в края иные
По морской воде,
Ты второй такой России
Не найдешь нигде.

Значение этих стихов не только в том, что они нам показывают идейный рост поэта. Подлинное искусство вызывает сопереживание. Ощущение как бы проносающейся мимо полновесной жизни — товарных, груженных «южною пшеницею, северной рудой» поездов, «ураганом веющего экспресса», — чувство одиночества пешехода, упрямо движущегося к цели, выражены так трепетно и безыскусно, с такой неповторимой сердечной болью и искренним порывом, что и вы, человек не испытавший опасности потерять родину, вдруг ощущаете весь трагизм, в который повергает человека угроза оказаться вне жизни. Впрочем, кому и когда удавалось передать то состояние, которое вызывает в человеке лирическое стихотворение, — оно способно пробудить целый мир?! В каждом случае оно обогащается читательской душой и становится емким, в зависимости от того, способна эта душа черпать из него ведром или наперстком.

Стихи «Уж своею Францию...» и «Поцелуй же напоследок...» вошли в книгу, озаглавленную весьма определенно: «Цель и путь» (1925). Было бы, однако, преувеличением сказать, что путь к цели здесь прям. Как очень верно заметил исследователь творчества Веры Инбер И. Гринберг: «Пятнадцать стихотворений, составляющих небольшую эту книгу, как бы глядят в разные стороны, не имеют прочной внутренней связи». В ней действительно нет той художественной цельности, какую отмечены книги поэтов, уже обретших свой путь. Но нет и той унылой мнимой цельности, какая присуща книжкам, повторяющим «давно уж ведомое всем».

В книге были и уже упомянутые мною лирические признания, и стихи-шутки, и попытки затронуть серьезные социальные темы — тему борьбы колониального Востока за свободу, а также темы исторические («Земля Московская»).

Открывалась же книжка стихотворением, которое сделало имя Веры Инбер близким самому широкому кругу читателей, стихотворением «Пять ночей и дней». В мировой поэтической Лениниане оно всегда будет приметным и дорогим. О том, как рождалось это стихотворение, Вера Инбер рассказала сама в

заметке «История одного стихотворения». Но и этот личный рассказ автора вряд ли поможет разгадать тайну рождения стиха, который на другое же утро любой человек, от убеленного сединами старца до школьника, запомнил на всю жизнь. Прочно врезались в память горестные строки о траурном шествии людских толп по промерзшим улицам Москвы:

Текли. А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он унес с собою
Частицу нашего тепла.

Я тоже помню — такое не забывается всю жизнь — и пронизывающий до костей январский холод, и щемящий сумрак Колонного зала, и медленное течение людских верениц мимо дорогого гроба, и профиль желтый, и потоки слез на лицах. Нравственное потрясение, сила горя были так огромны, что даже мы, школьники, плакали по-взрослому, безмолвно, не решаясь всхлипнуть. И я помню, как взволнованно читали пожилые рабочие напечатанное в однодневной газете «Ленин» стихотворение неизвестной им Веры Инбер. Что говорить, в те дни появилось немало от сердца идущих стихов, посвященных памяти друга, учителя и вождя. И многие из них памятны. Но как могла вчерашняя поэтесса, воспитанная в традициях эстетской поэзии, только-только робко вступающая на новый путь, так сильно и чисто проникнуться стихией народного горя, выразить его поэтически простоудушно, — объяснить трудно. Стихи эти — как бы вспышка внутреннего озарения, после которого сам человек становится иным, и, как бы впоследствии ни был сложен его путь, это озарение всегда будет ему путеводным огоньком. Да, объяснить рождение стиха трудно, но самое стихотворение объясняет многое в будущем его автора.

3

Двадцатые годы... История литературы вряд ли знала другое время, когда потоки книг, литературных течений, талантов низвергались так неистово, образуя реку бурную и полноводную, с завихрениями и воронками, с водоворотами и заводами,

с перекатами и омутами, и все же в основном своем течении уверенно пробивавшую русло искусству, служащему миллионам строителей новой жизни. Вера Инбер не однажды сетовала на то, что ей «не повезло с биографией», и она оказалась растением «с недостаточно крепкими социальными корнями». Что ж, может быть, в этом ощущении корневой недостаточности был для нее лично своего рода счастливый жребий. И не тоска по утраченному, а неутолимая, страстная тяга к жизни, где активное жизнеутверждающее начало заставляло забывать о тяготах еще не благоустроенного быта, определяла движение ее творчества в начале двадцатых годов.

Дорога к пониманию своего нового читателя и к тому, чтобы этот читатель признал писателя своим, для Веры Инбер пролегла через журналистику. Двадцатые годы — годы расцвета ее прозы, которую вскоре полюбил читатель и заметила критика. В непосредственном общении журналистки Инбер с действительностью укреплялось ощущение собственной нужности, оттачивалось зрение, веселело перо.

Со страниц лучших очерков той поры как живая встает старая Москва эпохальных времен с ее пестрым, суматошным бытом, с еще сохранившимся птичьим рынком на Трубе, собачьими выставками. Далекое годы, когда корреспондентов, прежде чем взять в агитполет, сначала «облетывали», приучая к высоте, а на собачьей выставке зевак удивлял первый в Москве невиданной породы пес — боксер, потомство которого ныне подобно песчинкам на дне морском.

Позвольте, скажут мне, но ведь это же песчинки быта, какая-то юмористика. Ведь в те годы невиданными темпами восстанавливалась экономика страны, зрели планы индустриализации, партия вела борьбу с оппозицией... Да, это так. И это было главным. И об этом писали. Но еще не Вера Инбер. Придет время, и в ее рассказах и очерках появятся фигуры прорабов, пахнёт горячим среднеазиатским ветром.

Пока еще это лишь Москва в ее бытовом разрезе, где в коммунальных, набитых людьми квартирах бок о бок с аполитичными обывателями проживают веселые рабфаковцы и «ответственные коммунисты», столь внимательные к чужим детям.

Городской быт еще необжит, противоречив, но в стихах и рассказах Веры Инбер уютно и тепло. И как ценил тогдашний читатель их за внимание к простым людям, за юмор, за согревав-

шую улыбку, тот читатель, который в те времена сам жил трудно, но весело.

Стихи той поры родственны ее прозе — они сюжетны, остроумны, смешливы. Сюжеты часто подсказывались все тем же московским бытом, иногда гримасами этого быта. И потому далеко не всегда ее улыбка простодушно весела. Иногда внешняя игривость и легкость лишь прием, чтобы высказать, в сущности, очень горькую правду о том уродливом, что тенью омрачает радость нового бытия. Таковы ее «Васька Свист в переплете», «Ядовитый газ» — стихи, вызывавшие столько споров своим якобы легкомысленным освещением драматических коллизий. Но прочтите эти стихи, искрящиеся изобретательной узорчатостью ритма, игрою созвучий — какая незримая грусть наполняет шуточные строки. Критика-Неулыба относилась к стихам такого рода в лучшем случае снисходительно. И в самом деле, не так легко разнести по привычным критическим рубрикам эти стихи-оксимороны, где способ выражения и содержание резко контрастны, где серьезная авторская мысль облечена в озорновато-шутливую форму. Особенно если рядом с такими стихами соседствовали и просто стихи-шутки, вроде «Сороконожек» или стихов о влюбленном фоксе. Читатель же благодарно принимал шутку и понимал, когда речь шла о чем-то большем. Не знаю, как современный читатель воспримет такие, к примеру, стихи, как «Мальчик с веснушками», могу только сказать, как их воспринимали люди моего поколения, столь отличного по образу жизни и отношению к ней от поколения Веры Инбер. Как ни странно, но стихи этого рода завязывали нити прочной симпатии между поэтом и ее новым читателем. Будучи на пороге юности, мы находили в них своеобразное и как бы *свое* отношение к явлениям и вещам серьезным. «Мальчик с веснушками» выражал *наше* презрительное отношение к буржуазному миру, нашу неподкупность и решительность. И даже столь осуждаемое критикой за недопустимое несоответствие «драматического» содержания шуточной форме стихотворение «События в Красном море» очень нравилось, ибо не было для нас никакого драматизма в том, что империалистический броненосец, наскочив на мину, пошел ко дну, а Красный Флот действительно был для нас «наилучшим в мире».

Об этой поре творчества Веры Инбер в свое время К. Зелинский писал: «Потребность утеплить мир — вот что определяет жизненную философию Инбер». Действительно, понятия тепла

и света очень часто встречаются в ее прозведениях и не только той поры. И не ею ли написано в 1925 году стихотворение «Уголь», где с ломоносовской конкретностью и торжественностью произнесено похвальное слово углю, что «стремит электричества ввнузданный бег» для того, «чтобы преуспевал человек на светлой и теплой земле». Но как ни заманчива формулировка критика, которую так легко опереть на цитаты, она крайне сужает мотивы творчества Веры Инбер. Не потребность утепления, а жажда постижения нового — сокрытый двигатель ее творчества. Не искусственно утешать действительность для читателя стремилась писательница, а передать читателю свою влюбленность в этот мир, одаривший ее своим светом и теплом — счастьем больших и самых малых явлений, счастьем радости и счастьем грусти.

Особая прелесть прозы Инбер тех лет, бисерно-четкой, в мягкой и остроумной усмешке, грустной и нежной иронии, веселых каламбурах, к которым в эту пору она питает особую склонность. Так, освященные многовековыми канонами лирической поэзии соловей и роза под ее пером превращаются в кустаря-портного Соловья и его полногрудую жену Розу, семейное счастье и душевный мир которых нарушены таинственной незнакомкой. Мир нового и антимир старого, сталкиваясь, взрываются облачком смеха. В это время в жанре короткой, блестящей остроумием и юмором новеллы она достигает совершенства, невозвратимого для нее самой. Невозвратимого потому, что художник не живет прошлым, персонажи ее ранних рассказов — порождение двадцатых годов.

Чаще всего бой старому миру в рассказах Инбер дают дети. Это они — Тосик и Мура — не принимают обывательской морали и находят путь к сердцу ответственного коммуниста («Тосик, Мура и «ответственный коммунист»), это они спокойно разрушают социальные перегородки между беспризорным мальчиком-лифтером и девочкой Лялей, которая «кушает ежедневно какао» («Лялины интересы»), они пренебрегают сказочными межзвездными садами, выдуманнными сладкоречивым и бездушным Грабцом, ради практического живого дела — озеленения пустыря («Сады в цвету»). Они мечтают «всю землю засадить лесами» или изобрести машину, «которая все умеет» («Легендаря»).

В некоторых рассказах может быть и, даже наверное, есть доля авторского вымысла, вернее придумки, имитации детскости. Детские характеры нередко заострены, но черты дет-

ства того времени как положительные — стремление к действию, беззаветная преданность новому, так и несколько удивляющее нас пренебрежение к фантазии-сказке, — подмечены очень точно.

Рассказы Веры Инбер о детях — это не рассказы для детей и еще меньше рассказы о маленьких для больших, хотя автор в них охотно пользуется так забавляющей взрослых алогичностью детского мышления, детскими словечками. Это рассказы о времени, когда новое наступало на старое все увереннее и неумолимей и наступление это особенно ярко сказывалось в поведении тех, кого Белинский называл гостями настоящего и хозяевами будущего. Эти рассказы раскрывают нам и жизненную философию их автора. Особенность детского возраста заключается в естественном оптимизме, в органическом неприятии уныния, безнадежности, страдания, безвыходности, словом всего того, что исповедовала и навязывала человечеству пессимистическая философия. И эта черта детского мироощущения особенно близка натуре писательницы, складу ее характера, ее мироощущению, ее убеждению, что «созидательный потенциал пессимизма ничтожен». И еще прежде, чем она сформулирует это свое отношение к враждебной ей философии, она опять-таки на «детской площадке» вступит с нею в непримиримый спор в рассказах «Сады в цвету» и в навеянной воспоминаниями собственного детства «Смерти луны».

В 1924—1926 годах писательница побывала в Париже, Бельгии, Берлине уже не как досужая путешественница, а в качестве корреспондента наших газет. Это нашло отражение в ряде ее рассказов, а из очерков о Франции сложилась книга «Америка в Париже», вышедшая в 1928 году. Еще в те годы журналистка Инбер уловила тенденцию заокеанских претендентов подчинить своему влиянию «одряхлевшую» Европу, проникательно подметила как проникновение этого влияния в быт, в моды, в искусство, во взаимоотношения между людьми, так и стойкое сопротивление национального духа простых французов духу бизнеса. В зарисовках парижской жизни, четких и конкретных, проявился аналитический склад ума и писательское мастерство автора. Книга проникнута любовью к простым людям Парижа, она открыто тенденциозна, позиция автора — позиция человека другого мира, где власть капитала сметена могущественной властью труда.

Двадцатые годы в творчестве Инбер — поистине удивительные годы по разнообразию и интенсивности творческой деятельности. Познавая окружающую действительность, стремясь запечатлеть ее своеобразные черты, она одновременно всматривается в себя, по-новому осмысливая свой жизненный путь, свое «место под солнцем». Эта лирическая струя познания самое себя в настоящем нашла свое выражение в прозе и, особенно, в лирике на рубеже тридцатых годов.

Революция продолжалась, партия призвала народ к решительному наступлению против пережитков буржуазной идеологии, к борьбе с мелкобуржуазными взглядами периода нэпа. Суровое время, оно ставило художников, чья творческая деятельность началась еще перед революцией, как бы перед новыми испытаниями идейной закалки характеров, крепости новых убеждений. В эти годы и возникает в творчестве Инбер (впрочем, не ее одной) потребность разобраться в самой себе, своеобразная исповедь взволнованного сердца, соединенная, нет, не с холодом ума поверяющего, а с трезвостью ума обогащенного. Началась эта лирическая исповедь в прозе в повести «Место под солнцем». О ней уже говорилось выше как о произведении, отразившем важный этап биографии автора. Но повесть эта значительна и своей идейно-художественной стороной.

Цепкая память автора точно выхватывает из прошлого приметы времени, характеристические детали, а особая манера изображения придает им не просто вещность, но поэтическое содержание, смысл.

«Страшнее всех были подушки, полураздавленные и мокрые. Из их цветных оболочек вместе с пухом птиц уходило сонное тепло многих ночей, тепло гнезда, которое было теперь окончательно разрушено.

Нужно было начинать жизнь сначала, и лучше было сделать это в Москве, чем здесь. Пожар сыграл здесь как бы роль помощника. Можно сказать, что это он усадил меня в вагон и махнул на прощанье красным платком.

...Вагон был суров: бока его потемнели от тысячеверстных путей. Если бы такой вагон был человек, то я бы сказала о нем, что это жилистый и упорный старик, могущий служить примером более слабым и молодым товарищам. Это был жесткий, крижистый старик третьего класса, недавно побывавший в бане.

Он был тщательно очищен от насекомых и смазан, полит и опрыскан смесью карболки, формалина и йодоформа — страшной жидкостью, от которой задохнулись не только насекомые, но и люди».

Оживают не только люди, живут вещи, предметы, явления. Вещи не безразличны к судьбе героини, ее переживаниям, они, как правило, добры, они с теми, кто строит новое, и как бы подталкивают героиню туда, к этим людям. Даже пожар сыграл роль помощника и махнул *красным* платком. Эпитет «красный» здесь не просто определение цвета огня, он социально осмыслен.

Искусство портрета не внешнего, а психологического в повести поразительно. В своей книге «Вдохновение и мастерство» Вера Инбер пишет, что главное в искусстве портрета уловить ту минуту, когда человек наиболее полно выражает себя. И в «Месте под солнцем» она это делает с блеском. Не случайно очутился на страницах повести мелкий журналист с псевдонимом «мистер Пирибингль» — символ мещанского благополучия, довольства самим собой, своим частным мирком, диккенсовским «сверчком на печи». Автор беспощаден к опустошенным людям типа журналиста мистера Пирибингля, полон сочувствия к тем, кто искренне пытается найти свое место в новой жизни, и удивления перед теми, кто так уверенно и по-хозяйски чувствует себя в ней.

И вот что, казалось бы, странно. И мистеру Пирибинглю, и какому-нибудь милейшему Авелю Евсеевичу отведено в повести не меньше места, чем матросу с «Алмаза» или товарищу Клавдии. Однако первые оставляют по себе впечатление призрачное, как бы теней, уходящих в прошлое. Расплывчатость Авеля Евсеевича как бы отвечает и его бесхарактерности. А товарищ Шуляк, сыгравший значительную роль в судьбе героини, матрос, Клавдия и даже какой-то эпизодический веснушчатый парень, сделавший «широкий жест, куда включил вселенную», произнесший, по существу, только короткое слово «мы», врезаются в память так, как будто их удалось потрогать. В этом умении уловить минуту, благодаря которой одни фигуры обнаруживают свою мускулистую, крепкую, а другие душевную дряблость, и сказалось мастерство писательницы.

Повесть «Место под солнцем» с ее биографической основой не мемуары. Это повесть о гуманизме нового общества, о человечности его рядовых представителей, человечности, проявляющейся в столь еще непонятной и странной для героини заботли-

вести о ее судьбе, о том, чтобы эта женщина, из чуждой им социальной среды, такая, казалось бы, ненужная, неприкаянная, ощутила бы в себе волю к настоящей жизни, стала не прозябающей одиночкой, не приемышем, а своим человеком в мире, который они решили построить.

Образ главной героини — один из самых очаровательных женских образов в нашей литературе. Медленно, но неостановимо совершается в этой хрупкой женщине благодетельный процесс становления нового человека.

«В другом окне купали ребенка. Там завесили окно платком, но платок упал, и я увидела комнату. В ней было много народа, стоял даже человек без пиджака, в кожаном фартуке. Очевидно, он работал, и вот его позвали смотреть, как будут купать парнишку. А парнишка сидел в корыте и все порывался хлебнуть мыльной водицы.

И тогда, на тихой вечерней улице, меня охватило ощущение жизни с неизведанной до того силой. Я ощутила ее строй, ее ход, ее смысл, как никогда раньше.

«Эти девушки починят стул, — думала я, — и он будет служить им еще долго. А из малыша, который в корыте, вырастет человек и займет свое место под солнцем. Таких, как он, много. Они вырастут и скажут о себе: «Мы».

«...Есть печаль, которую необходимо испытать, чтобы прийти к бодрости», — говорит героиня повести. И это не обмолвка. Читая повесть, вы улыбаетесь почти на каждой странице и в то же время не перестаете ощущать *во mnogой радости много печали*. На рубеже тридцатых годов и в прозе и в стихах Веры Инбер мы не раз встретим мысль о том, что «можно заставить даже грусть работать на социализм».

И ты, строфа моя, радостно лейся ты,
Если что велико, так это
Коэффициент полезного действия
Грусти на душу поэта.

Думается, и на душу читателя. Очень верно говорил Короленко, что «грусть — здоровое чувство», она создает глубину душевного фона, подвигает на неустанную работу мысли. Юмор меньше всего комизм, это очень сложное чувство, где улыбка иногда просвечивает грустью, это способ выражения взволнованности души, внутренней потрясенности, и не случайно в одном из стихотворений Вера Инбер скажет: «Я просто спасаюсь

юмором, когда я до слез растрогана». На почве глубокой душевной взволнованности и возникает лирика Инбер конца двадцатых годов, своеобразие которой в слиянии радости и светлой печали, где самое слияние это становится жизнеутверждающей силой. Невыразимая прелесть стихов «Сыну, которого нет», «Разлука», «Старость», «Минута слабости», «Переулочек моего имени», «Вполголоса» именно в том, что оптимизм менее всего декларируется, он приходит как победа жизни над грустью. Общечеловеческие темы любви, материнства, разлуки, старости в этих стихах получают выражение через душу поэта, живущего в эпоху, когда «столько дела кругом, что немислимо скрыться в тень», когда, кроме своего индивидуального человеческого я, он начал осознавать себя частицей большого целого.

Бывает ли конфликт в лирике и каков он? — иногда слышится в нашей критике. И всегда хочется сказать: обратитесь хотя бы к лирике Веры Инбер, где он так ясен, так нагляден. И не только конфликт, но и разрешение его, заложенное в природе новых общественных отношений. Особенностью лирики Веры Инбер, кстати присущей ей и позднее, становится раскрытие человеческих отношений, грандиозных перемен и свершений, происходящих в стране, идейного роста людей через личное, глубоко интимное. Вспомним, к примеру, «Переулочек моего имени», где так конкретны, зримы и так социально значительны приметы прошлого, настоящего и будущего. Как многое сказано здесь о сегодняшнем дне страны, где бульвары носят имена коммунаров и поэтов, где все в движении, все изменяется.

«Чуть рассудочная ясность» — сказано было в свое время о лирике Инбер. Пожалуй, верно, однако, это менее всего рассудительность ума, это какая-то ясность сердца, как бывает память сердца, что «сильней рассудка памяти печальной». В поэзии тех лет личное выражается с удивительной прозрачностью и ясностью самонаблюдения, самоанализа чувства и переживаний.

Пожалуй, никому не удавалось так точно охарактеризовать стиль писательницы, как это делает она в написанном к пятидесятилетию Октября стихотворении «Вполголоса»:

Пафос мне не свойствен по природе.
Буря жестов. Взвихренные волосы.
У меня, по-моему, выходит
Лучше то, что говорю вполголоса.

Менее всего содержание этого стихотворения, говорящего о поэтовой победе «над своей старинною душой», нуждается в комментировании. Но вот о стиле, которого коснулась поэтесса, пожалуй, стоит поговорить. Ибо достижения поэта не сводятся «к победе над своей старинною душой», становление нового и собственного отношения к миру неотделимо от становления индивидуального стиля. «Художник, — писал А. М. Горький, — это человек, который умеет разработать свои личные — субъективные — впечатления, найти в них общезначимое — объективное — и который умеет дать своим представлениям свои формы»¹. Ранние стихи Веры Инбер шли в общем стилевом потоке модернистской предреволюционной поэзии, слово «стиль», пожалуй, к ним и неприменимо, скорее приходится говорить о манере. Самостоятельный стиль же складывается позднее, по мере идейного развития ее как советского поэта. Я не буду пытаться осмыслить особенности стиля Инбер во всей его полноте. Это предмет особого исследования. Отмечу лишь наиболее бросающиеся в глаза приметы.

Стихи ее чаще всего носят характер размышлений, как бы рассуждений о предмете. Вероятно, эта особенность и дала повод критике говорить о рассудительной ясности. Иногда такое рассуждение, где предмет всесторонне исследуется, где выявление причин сопровождается анализом сути и выводами, превращается в своеобразную имитацию ученого трактата («Опыт анализа разлуки»). Соответственно этому стих облекается как бы в разговорную форму доверительной беседы с читателем. Однако при всем этом ритмы остаются упругими, их волнообразное движение ощущаешь как бы физически. Огромную роль в эмоциональной выразительности играет в поэтике Инбер рифма, на нее падает основная смысловая нагрузка строки, она привлекает внимание значительностью рифмуемого слова, яркостью, необычностью. Необычность вовсе не означает, что поэт изыскивает всюду рифмы уникальные, вроде «кожанке — Остоженке», «ровненько — Хамовники» или составные «притворяться я — организация», «об одном лишь — не помнишь», «когда-либо — желали бы». Нет. Необычность создается и тем, что рифмуются слова простые по созвучию, но столь далеко отстоящие друг от друга по смыслу, что самая бедная рифма, вроде

¹ М. Горький, Собр. соч. в тридцати томах, т. 29, Гослитиздат, М. 1955, стр. 259.

«ревком — локотком», «кройке — прослойки», «ванной — пьяной», производит то впечатление взрыва строфы, которое Маяковский считал обязательным в поэзии. В каждом случае рифма подсказана содержанием, логикой размышления о предмете, индивидуально неповторимого, как бы вытекающего из тайного тайных души автора, ее женского и женственного я. Благодаря виртуозному разнообразию рифмы и способов рифмовки стих обретает удивительную раскованность и легкость. Вероятно, поэтому стиль Инбер неповторим, во всяком случае не находилось охотниц подражать ему, грабительница могла быть поймана сразу же. Одной из бросающихся в глаза примет стиха являются те прозаизмы, которые автор тонко и умело вводит в стих:

Но никогда еще это жало
Увяданий, болей и вздохов
Не было так, *я бы сказала,*
Нейтрализовано эпохой.

Или:

И теперь опять же на него же,
Честно говоря, я претендую.

Ироническое использование прозаизмов, просторечия, вводные оговорки, тут и там разбросанные напоминания о присутствии в стихотворении своего я, пояснительные в скобках определения — все эти самобытные приемы прочно входят в арсенал изобразительно-выразительных средств ее поэзии. Следует отметить также склонность к использованию каламбура, впрочем, никогда не ради остроловия, а всегда ради придания глубины, второго главного смысла: «Даже для самого *красного* слова не пытаюсь притворяться я».

Почти все приметы индивидуального стиля мною взяты из стихотворения «Вполголоса», которое вобрало в себя и основные черты ее сложившегося стиля. Вера Инбер с полным основанием считается одним из мастеров нашей поэзии. И прежде всего мастерство это сказывается в емкости ее стиха.

Не могу не остановиться на одном поучительном примере. В 1934 году поэтесса побывала в Норвегии, в результате поездки родилось стихотворение «Москва в Норвегии». Всего одно. Но как много вместило это стихотворение о встрече в далеком Бергене с норвежским рыбаком «в сапогах, брезенте, назад козырек, ну, точь-в-точь паренек из метро». Все оно светится любовью

к советской родине, чувство интернационализма передано в нем так образно. И как зрима картина рыбного базара, как почти физически ощутимы и стылый ветренный рассвет, и холодок голубой макрели, что в Одессе звалась скумбрией. И как трепетно волнуящи строки воспоминаний:

И какая чудесная юность была
В те часы на песке под горой!
И какая огромная жизнь пролегла
Между этой и той скумбрией!

Мастерство лирического поэта и состоит в том, чтобы сделать стих вместительным, слово — густым, плотным.

Вера Инбер не раз писала, что работать над стихом, над словом училась у конструктивистов. И здесь, пожалуй, уместно сказать несколько слов о ее взаимоотношениях с этой литературной группировкой двадцатых годов, которая объединяла таких поэтов, как И. Сельвинский, Э. Багрицкий, В. Луговской, В. Инбер и других литераторов — таких хороших, но и таких разных. Впрочем, *объединяла* не то слово, скорее, *включала*. Объединяла не столько литературная платформа, экстремистские манифесты, столь модные в те времена, сколько, думается, дружеские симпатии. «Сердца температуры наши бывают схожи, хотя в литературе мы не одно и то же» — эти адресованные Сельвинскому строки Инбер очень верно освещают суть дела. У меня нет возможности излагать здесь взгляды конструктивистов с их обожествлением техники. Да и зачем? Кого они интересуют теперь, кроме историков литературы, эти программы, изложенные в сборниках «Госплан литературы» (1925) и «Бизнес» (1928). Заглавия сборников достаточно говорят о себе, говорят и о той странной эволюции, которую переживали теоретики конструктивизма как бы рассудку вопреки, наперекор стихиям. Если кому-нибудь из читателей, неспециалистов, ныне попадутся эти широковещательные декларации, он, верно, будет удивлен очевидностью идейных заблуждений, необоснованностью претензий. Все это, конечно, было не просто. Теоретические взгляды различных группировок были объективным отражением существования в стране различных социальных прослоек, остатками буржуазной и наличием мелкобуржуазной идеологии. Субъективно же они вызывались искренним стремлением помочь строительству новой культуры, которую мыслили и кроили всяк по-своему. Партия понимала и ценила эту субъективную искрен-

пость художников, стоявших на платформе Советской власти, и заботливо направляла их, разъясняя цели и задачи социалистического искусства, помогая им овладевать социалистическим мировоззрением.

То, что защищалось апологетами конструктивизма лет сорок назад с такой неистовостью, с какою можно сравнить разве лишь истовость последующих покаяний, — все это ныне померкло. Остались не широковещательные декларации, а то, что было плодом художественного познания жизни, плодом творческого вдохновения. И тем прочнее осталось, чем меньше сказывалось влияние теоретически-программных взглядов. Что касается Веры Инбер, так даже самые строгие исследователи отмечают, что «она в меньшей степени испытала воздействие поэтики конструктивизма»¹. Да и сама Вера Инбер уже в 1932 году, вероятно неожиданно для своих друзей, скажет: «Конструктивисты!.. Конструктивизм!.. Все это ушло так далеко, что об этом можно говорить уже спокойно». Но содружество с поэтами, для которых техника стиха, вопросы ремесла были далеко не последними в искусстве поэта, думается, действительно сыграло положительную роль в овладении мастерством.

5

Нередко литературная критика склонна рассматривать любой творческий путь как движение вверх по прямой, где каждое последующее произведение оказывается значительнее предыдущего и как бы затмевает собой написанное ранее. Путь художника сложнее не потому только, что в нем возможны взлеты и падения, а и потому, что время его делает другим.

Позади остался период самонаблюдения, рефлексии, пересмотра прошлого, прочно занято место в ряду строителей социалистической культуры, и личные мотивы, связанные с особостью жизненного пути, отходят в творчестве Веры Инбер на второй план. Если она еще вернется к личной теме в рассказах «О моем отце» (1938), «О моей дочери» (1938), то в каком-то ином, строгом тоне сожаления и осуждения. В лирике также вдох-

¹ В. И в а н о в, Формирование идейного единства советской литературы. 1917—1932, Гослитиздат, М. 1960, стр. 135.

новлявшие ее мотивы грусти, разлуки, личных болей отступают в тень. Это не значит, что лирика Инбер становится лучше или хуже, просто это иная лирика. Вероятно, многим еще памятна речь Веры Инбер на Первом Всесоюзном съезде писателей. Писательница говорила о необходимости ощущать «радость с такой же силой и полнотой, как писатели, жившие до нас, ощущали скорбь». К этому утверждению она приходит не путем абстрактных размышлений, а, как мы видели, путем осмысления жизни и собственного пути.

Тридцатые годы — пора решающего наступления и победы социализма, торжества социалистического мировоззрения, которое равно определяет жизненное поведение и художника, овладевшего им, и «тихой Наташи» — вчерашней скромной домашней хозяйки, и подруг узбечки Нор-биби, которую они вырвали из-под деспотической власти мужа «и приговорили... к свободе и счастью» («Преступление Нор-биби»).

В русскую литературу бурно врывается жизнь далеких окраин. Поэты и прозаики открывают для себя советскую Среднюю Азию, советское Закавказье, открывают с такой же жадностью и восторгом, как когда-то Пушкин и Лермонтов открывали для русской литературы вольнолюбивый Кавказ. Тихонов, Луговской, Инбер, Павленко и многие другие становятся певцами и изобразителями нового советского Востока. Здесь, на бывших «окраинах», особенно наглядно и колоритно выступают победные черты нового, крушение старых устоев и взаимоотношений происходит особенно бурно, революционно. Яркая живописная природа, многовековая история ушедших в забвение культур как бы создают этому манящий поэтический фон.

Мотивы Востока прочно входят в прозу и поэзию Инбер в эти годы, она еще возвратится к ним и в послевоенные дни.

Лучшее ее произведение этих лет — поэма «Путевой дневник», посвященная путешествию в Грузию. Любовью к нашей советской эпохе, чувством времени напоены строфы поэмы. Следуя примеру древних, поэт вводит в текст немало познавательных сведений, касающихся истории, географии, но так живописно, что эстетическое наслаждение не покидает вас. Свободно отдается автор во власть размышлений о собственной поэтической работе, о предмете и задачах искусства. Пейзажи так акварельно прозрачны, словно омыты горным воздухом. А главное, все это и многое другое, что я здесь разложил по полочкам, в поэме не существует порознь, оно слито воедино, одухотворено

личностью автора и отчеканено в строгие строки секстин, каждая из которых пленяет своей завершенностью.

Секстина, казалось бы, какая устаревшая, малоупотребительная, сковывающая форма строфы?! А здесь она льется так непринужденно, так вольно, так покоряет своей дисциплинирующей силой, внутренней энергией, собранностью, мускулистостью. Вчитайтесь в строки поэмы, и вы будете зачарованы самой формой шестистрочного стиха, двойною рифмой оперенного в конце, рифмой яркой, изобретательной, то предельно точной, то составной, то каламбурной, и поймете, что в поэтическом искусстве изобретательность играет тоже не последнюю роль. Восприятие поэтом внешнего мира благостно, бестревожно, и только в лирических отступлениях, посвященных творчеству, скажется некоторое внутреннее беспокойство. Поэма заканчивается знаменательным признанием:

Страна моя, я у тебя в долгу,
Я у тебя в долгу, моя эпоха.
Я о тебе писала мало, плохо.
Я постараюсь сделать, что могу.
И даже больше. В том-то все и дело,
Чтобы преодолеть свои пределы.

Тридцатые годы и были годами преодоления пределов, преодоления нового материала. Размышления о творчестве, раздумья над жизнью, назначением человека в ней, над его нравственным поведением нашли свое развитие в поэме «Овидий» — произведении философского характера. Прихотливо развивается мысль автора, рожденная сложными и многоплановыми ассоциациями. Извилистый ход мысли отражен в самом построении поэмы.

«Вступление» — своего рода дифирамб творчеству, работе поэта, заканчивающееся обращением к великой тени римского поэта. Изящный, легкий набросок биографии Овидия, где так лапидарно и красочно воссоздан быт древнего Рима. Глава «Фазтон (по Овидию)» — пересказ одной из его метаморфоз о попытке юного сына Феба управлять огненными конями отца. И собственное истолкование поступка юноши как попытки преобразовать природу, подчинить ее воле человека. Неожиданная, казалось бы, глава «Воспоминания» — о гимназических годах: старый учитель физики, сеющий рассуждениями о гибели миров, холод равнодушия к земным судьбам, и жизнь, земная жизнь,

с ее борьбой за будущее, образ погибшего юноши-революционера, потрясший детское сердце. И «Заключение» — раздумье над тайнами творчества, над тем, «как зарождается образ, берется откуда», над тем, что «не все объяснимо в нашей поэзии, в музыке, в снах и любви», раздумье, заканчивающееся панегириком вечно дерзающей юности:

Вечная молодость сердца. Упорство. Держанье.
Зарево мысли. Горение страстной души.
Юность, летящая ввысь на любое терзанье,
Неустрашимая, как ты ее ни страши.

Стих в поэме звучит как разливающаяся музыка, звуковой фон создается плавными переходами гласных, самый словарь несколько приподнят над современной поэтической речью, придавая повествованию эпическую торжественность. Держания Фаятона, его самоотверженность, прометеевское истолкование легенды о нем подсказано и воспоминанием о подвиге юноши-революционера, и нашим временем. И не будет преувеличением сказать, что образ юности, летящей «ввысь на любое терзанье», этот гимн вечной молодости сердца рожден не только воспоминаниями и размышлениями о настоящем, в нем и предчувствие тех испытаний, которые ожидают новую юность, которые, может быть, завтра пробудят сотни и тысячи новых Икаров, Фаятонов, русоволосых Прометеев. Поэтесса как бы благословляла на подвиг завтрашних героев. И, право, если не все объяснимо в поэзии, то в самом предчувствии не было ничего загадочного: поэма закончена в 1939 году, в канун большой войны, в канун событий, когда для новой юности боевые приказы прозвучат, «точно для входа в историю грозный пароль».

6

«Как зарождается образ? Берется откуда? В бездне пространства и времени вещи, на вид самые разные, вдруг совпадут...»

В записных книжках писательницы внимание останавливает сделанная в 1938 году запись: «Бывает так, что «как будто на земле ко мне подошел мой собственный меридиан, и я прочно стал на него». Это выписка из Пришвина. С неторопливостью мудреца Пришвин наставляет, что коль уж случилось такое, «попал под

поги свой меридиан», то и падо «заниматься не расстановкой вещей в комнате, а собственных мыслей». И, уж конечно, Вера Инбер, выписывая эти слова, не могла предположить, что и они будут способствовать зарождению нового образа и даже как-то подойдут для характеристики ее личного поведения.

В годы войны в блокированном Ленинграде писательница занималась «не расстановкой вещей», не бытом, а расстановкой мыслей. Там к ней и подошел ее новый собственный меридиан, и она прочно стала на него.

Вера Инбер не была ленинградкой. В начале войны писательница по своей воле и охоте уехала в Ленинград. И там провела почти три блокадных года. По строгим военно-уставным положениям, засчитывающим фронтовикам год за три года службы,— почти девять солдатских лет. Солдатских потому, что это были годы боевой работы поэта в качестве журналиста, прозаика и поэта. Солдатских и потому, что они ознаменованы серьезными творческими победами.

Подвиг Ленинграда, запечатленный писателями-патриотами, составил одну из самых мужественных, незабываемых страниц советской литературы. Музы не молчали, когда грохотали орудия, сыпались бомбы и рвались снаряды, когда условия человеческого существования в осажденном городе потребовали от людей мужества. Музы тоже стали на защиту города, они гневались, укрепляли волю, мобилизовали сердца. Сколько бы лет ни прошло, сколько бы ни было создано и в будущем книг о героической эпопее города, всегда будут вызывать волнение в крови произведения, создаваемые в те дни и теми, кто делил с защитниками города и труд и бой, когда «с опасностью, со смертью пополам, был доставляем хлеба каждый грамм». Беспощадная лирика Ольги Берггольц, возвышенные строки поэмы «Киров с нами» Николая Тихонова, трепетное признание любви к родине Александра Прокофьева («Россия»), проза Веры Кетлинской, страстная публицистика Всеволода Вишневского — не просто памятники былой славы, а живой источник, питающий чувство патриотизма и советской гордости.

В ряду лучших произведений «коренных ленинградцев» произведения «приезжей» Веры Инбер, ее стихи, очерки, дневник «Почти три года» и поэма «Пулковский меридиан» заняли свое прочное место.

Героическое поведение не объясняется случайностями чисто биографического порядка, тем, к примеру, что муж писа-

тельницы профессор И. Д. Страшун был назначен руководителем одного из крупнейших лечебных учреждений города. Почти три года могли превратиться в почти три месяца, или если и в почти три года, то заботы о себе. Они же стали годами стойко перепесенных ужасов блокады, идейной закалки, вдохновенного труда.

«Почти три года» — дневниковые записи день за днем увиденного и пережитого, человеческая летопись героических дней. Скромно и сдержанно автор говорит о тяжелейших переживаниях впечатлительного женского сердца, вызванных и общим горем, и личными утратами; с грустным подшучиванием над собственной слабостью изображает трагическую сторону быта, вдохновенно и просто рисует героинку нравственного поведения советских людей. Равны между собой в действенном своем патриотизме и рабочий, вытачивающий в промерзшем цехе детали снаряда, и боец, поднимающийся в атаку, и композитор, задубенелыми от стужи пальцами вызывающий к жизни звуки, вдохновляющие на победу.

И, может быть, самое удивительное в книге Инбер — *преданность своему делу*, своей задаче, те размышления над писательским долгом, призванием и даже техникой ремесла, которые тут и там возникают на страницах книги. Размышления о творчестве не были отвлеченными, они нашли практическое, если можно так сказать, воплощение в дневниковой форме книги. Не случайна запись тех дней: «С каждым днем все более овладеваю «дневниковым» языком и знаю, каким он должен быть. Здесь нужен в высшей степени *русский*, неправильного синтаксиса, такой, как в жизни». Склонность к дневниковой форме, конечно, объясняется свойством таланта писательницы, стремящейся отобразить действительность через личное познание ее, эта склонность проявилась еще в довоенной поэме «Путевой дневник». Но там стихотворная форма как бы заслонила, приотемнила жанр. Прозаические «Почти три года» утверждали в нашей литературе жанр дневника как полноценный литературный жанр. Ныне дневники, особенно военных лет, и даже ленинградские — явление нередкое. Но чаще это именно все же дневниковые записи, хотя и литературно обработанные. «Почти три года» до сих пор остается образцом дневника — литературного произведения. Поток записей, в котором оседают «мельчайшие песчинки быта», целенаправлен — перед нами возрастаю-

щее сопротивление (материальное и душевное) испытаниям блокады. Слог доведен до предельной простоты, достигнута нагая точность языка, свободного от риторических оборотов и патетической фразеологии, в ту пору почти неизбежных, языка, как бы горящего строгим, ровным пламенем.

В поэме «Пулковский меридиан» можно найти детали, эпизоды, знакомые по дневнику. Запись от 24 сентября 1941 года говорит о бомбе, упавшей на территорию госпиталя, где жил автор. «Пулковский меридиан» начинается строфой о том, как «в пролет меж двух больничных корпусов... упала утром бомба, весом в тонну.

Упала, не взорвавшись: был металл
добрей того, кто смерть сюда метал».

Но художественный облик поэмы совершенно иной, чем облик дневника. Строгость и точность прозы здесь уступила место другой, поэтической, образной точности, речевая интонация — патетической приподнятости. Рядом с обиходными словами соседствуют слова высокого стиля.

Самая форма строфы, перешедшая из «Путевого дневника» — секстина, — настроивала на героически возвышенный тон. Как-то Вера Инбер, говоря о пути нашей поэзии в годы войны, очень верно отметила, что поэзия от общего шла к конкретному. Такое движение можно увидеть и в ее поэме, писавшейся также почти три года. Поэма развивалась, как живой организм, по пути отхода от риторических образов, по пуги сближения с жизнью, с конкретной действительностью Ленинграда. Первая глава «Мы гуманисты» несколько велеречива. Снова пришлось преодолевать «свои пределы», столь обжитые в поэмах «Путевой дневник» и «Овидий», пределы поэзии, если можно так сказать, интеллектуальной и образованной. И в первой главе, и на словаре, и на образах сказывается влияние предшествующего периода. Поэтесса уже жила в борющемся Ленинграде и даже в мире своего дневника, но «зоркость к простым жизненным вещам» не сразу сказалась в поэтическом творчестве. Глава «Свет и тепло» стала открытием высокой героини в простых жизненных вещах. Это — самая сильная по впечатляемости, по эмоциональному воздействию глава. От общего поэтесса решительно перешла к конкретному, к себе самой, к живым людям. Картины голодающего Ленинграда так щемяще зримы:

Лежу и думаю. О чем? О хлебе.
О корочке, обсыпанной мукой
Вся комната полна им. Даже мебель
Он вытеснил. Он близкий и такой
Далекий, точно край обетованный.
И самый лучший — это пеклеванный.

Он с детством сопрягается моим.
Он круглый, как земное полушарье.
Он теплый. В нем благоухает тмин.
Он рядом. Здесь. И кажется, пошарь я
Рукой, перчатку лишь сними,—
И ешь сама. И мужа накорми.

Поэтические сравнения и метафоры подсказаны суровой действительностью: «пила с искривленными, слабыми зубами, как будто бы у нее цинга», «вода замерзла, превратилась в труп», замолкли рупора, как «раковины, от которых отхлынул океан». Поэтические образы здесь вспыхивают, как искры, и если язык «Дневника» можно было сравнить с ровным пламенем, то каждая строфа главы «Свет и тепло» как бы тигель с расплавленным и искрящимся металлом.

Поездка на фронт вызвала к жизни главу «Огонь», естественно развивающую тему сопротивления врагу. Кульминация страдания сменяется нарастающей кульминацией отпора. Через всю главу проходит всеохватывающий и объединяющий образ испепеляющего, карающего, воинствующего огня: «...везде и всюду, явен или скрыт, но этот наш огонь всегда горит», — огонь орудий, партизанских костров и огонь отважных сердец.

С этой главы в поэму возвращается интонация приподнятости, однако без той велеречивости, которая ощущалась в первой главе. Главы «Год», «Снова лето», «Восстановление» написаны в более спокойной манере — самое страшное пережито, город возвращается к привычной жизни... Под частушечный говор голосистой пиды, под веселую, согревающую песню поленьев в печи можно снова вернуться и в дорогой сердцу мир искусства. Но, по правде говоря, прелестные образы птенца ласточки, пытающегося взлететь, ребенка, делающего свой первый «шажок не без опаски», куда более трогательны и волнующи, чем мраморные Терпсихоры и Навигации в Летнем саду, хотя при мысли о победе и «у них, как у людей, блестят глаза».

Поэма давалась нелегко, в процессе работы была отброшена уже вышедшая отдельным изданием пятая глава, претендовавшая стать заключительной, — «самая умная», где поэтесса попыталась, следуя меридиану, пойти по страпам и материкам. Спустя год жизнь сама подсказала автору закончить поэму главою о возрождении города. Нелегко было найти художественное равновесие между запечатленными в поэме песчинками быта («чтобы в текучей памяти людской они осели, как песок морской») и тем духовным миром поэта, который манил к раздумьям широкого масштаба, порождал литературно-исторические ассоциации. Возможно, стилевой облик поэмы подсказан и самим Ленинградом — удивительнейшим из городов, где так неразделимо слиты Повседневность и Героика, Современность и История, Жизнь и Искусство.

7

И снова поиски... В год победы, в 1945 году, Вера Инбер пишет стихотворение «Наша биография» — «самое горькое из всех написанных вещей». Да, это горестный разговор поэта «с доброй лошадкой по имени Пегас», разговор, полный сердечной боли. Вера Инбер совсем не расположена относиться к «закатной заре» с тем благоволением, с каким Тютчев относился к прощальному свету зари вечерней. Страстным отрицанием примирения, жаждой деятельности пронизаны эти стихи:

Живем мы, дней не торопя,
Спокойные душой.
Тревожу редко я тебя
Прогулкой небольшой.
Но, чу!.. Из-за кольца лесов
Донесся в наш приют
Какой-то звук, какой-то зов —
И ты уж тут как тут...
И снова, юные, как встарь,
Летим, барьер беря...

Казалось бы, откуда могло возникнуть столь острое чувство горечи у художника, чьи произведения только что получили

всемирное признание, чей творческий подвиг в дни войны был по достоинству оценен? Да, именно из того состояния художника, которое является следствием напряженного труда. «Или, свой подвиг свершив, я стою, как поденщик ненужный, плату принявший свою, чуждый работе другой?» — горестно вопрошал Пушкин. У подлинного художника такое состояние и болезненно и целительно, оно свидетельствует о неодолимой потребности творить, душа напряжена в ожидании новых звуков, нового зова. И, чу!.. Зов жизни не замедлит раздаться. На этот раз он придет с Востока.

Поездки в Среднюю Азию в тридцатых годах оставили заметный след в творчестве Веры Инбер.

Средняя Азия, сердце мое
Не забудет тебя никогда,—

писала она в стихотворении «Воспоминание об Узбекистане» (1934). Живой интерес к старой теме ожил в связи с поездкой в Иран в 1946 году. Непосредственным результатом поездки стал очерк «Три недели в Иране» и цикл стихов. Зарубежный Восток был увиден глазами человека, знавшего иную действительность — советский Узбекистан, способного сопоставлять. Рождался новый художественный замысел, осуществление которого заняло несколько лет и образовало новый этап в творчестве писательницы. И если прежние воспоминания оказали свое влияние на самый характер восприятия и отображения нового материала, то новые впечатления побудили автора вновь вернуться к той действительности, которая в свое время оставила в душе столько света. Очерк «Три недели в Иране» (1946) и очерк «На линии воды» (1951) о поездке в Узбекистан являются, несомненно, частями единого замысла. И не случайно циклы стихов — итог обеих поездок — объединены поэтом в книгу «Путь воды», помеченную 1946—1951 годами. Пафос очерков и книги стихов в утверждении жизни, в гневном обличении того, что стоит на пути к человеческому счастью. Удивительные слова нашла писательница, к примеру, для концовки очерка «На линии воды», рассказывающего о труде советских людей, борющихся против несметных полчищ барханных песков:

«Сила воды, ветроломная сила деревьев и кустарников, изобилие солнечного тепла и света — все будет использовано для блага народа.

И тогда, по великолепному выражению даже не поэта, а ученого: «Наступит зеленая смерть пустыни».

Иначе говоря — *жизнь*».

Художественное выполнение замысла, однако, оказалось весьма несовершенным. И прежде всего это касается очерков. «Три недели в Иране» и «На линии воды» написаны непривычно сухо, деловито. Личность автора, ее лирическое я на этот раз как бы даже сознательно подавляется, и даже очерку «На линии воды» не хватает поэтичности, к которой мы так привыкли в прозе Инбер. Думается, в этом сказались аскетизм, ограниченность литературно-теоретических взглядов, которые в эти годы развивала писательница и которые звучали каким-то своеобразным запоздалым рецидивом конструктивистских взглядов. В своих выступлениях той поры, помнится, Вера Инбер особенно напирала на необходимость повышения «грузоподъемности» поэзии, на то, что «в иные периоды (как, например, сейчас) лирике становятся не под силу основные проблемы поэзии», что «одна какая-нибудь цифра красноречивее самого счастливого эпитета» и т. п. И эти взгляды она последовательно применила в своей прозе, до предела нагрузив ее материалом информационно-познавательного характера.

К счастью, лирика оказалась менее податливой волевым усилиям писательницы, и хотя информационность встретится и в книге стихов «Путь воды», здесь мы найдем ряд глубоко поэтических творений. Таково, к примеру, стихотворение, давшее название всей книге.

Прием развернутого образа, так умело примененный в главе «Огонь» ленинградской поэмы, здесь использован еще более эффективно. Путь воды, обрисованный поэтом, дает нам возможность увидеть в социальном разрезе всю страну снизу доверху. Начавшись лепечущим ручейком в горах, поток вначале попадает «в запряжанные дивные сады колодца шаха», потом воду приводят «силком во мраморный бассейн министра, как девушку на ложе старика», она застаивается в чанах с очесами шерсти у купца, и далека ее дорога, пока она хлипкой струйкой достигнет хлопковой полосы бедняка, дойдет

До старой коврижкацкой мастерской
Без воздуха, с подстилкою блошиной,
Где триста человек глядят с тоской
На горлышко щербатого кувшина.

Один на всех, наполненный с утра,—
К полудню из него уже не пить им.
И огненная жажда красной нитью
Вплетается в орнаменты ковра.

Поразительна в стихотворении смелость эмоциональных переходов, смена настроения: лирический зачин сменяется сарказмом, трагически негодующий рассказ о дороге воды переходит как бы в жалобу об участи детей, гибнущих от чахотки в ковровых мастерских, а жалоба переливается в гневные строки суровой веры в несмиримость народа — так Демавенд под снеговым покровом не может скрыть того, что он вулкан.

Во второй части книги перед нами сегодняшний залитый солнцем Узбекистан: в солнечном блеске, в зеленой смерти пустыни, в ликовании жизни, особенно ощущаемом после сумрачных теней Ирана. Отдельным стихам, например «Большому Ферганскому каналу», можно поставить в упрек описательность. Но весело поет «Колхозный арычок» — стихотворение, словно подслушанное в журчании и переливах легких струй. Самый образ скромного арычка — образ лирический, как бы интимный:

Водица поливная,
Рабочий арычок,
Возможности я знаю
Свои наперечет.

«Мельчайшая артерийка» — арычок здесь не предмет пейзажа, а поэтический образ, полный смысла, вобравший в себя и личное — скромную как бы самооценку автором своего труда и места в жизни, и гуманную мысль о ценности человеческой личности, как бы ни была она неприметна, если эта личность участвует в общем труде, ради общей великой цели — блага людей.

8

Пятидесятые годы в творчестве писательницы отмечены разнообразием творческих интересов и намерений и последовательным их осуществлением в различных жанрах. Здесь и повесть

для детей «Как я была маленькая» (1953), и книга о писательском опыте «Вдохновение и мастерство» (1957), и работа над воплощением в стихах образа Ленина. Казалось бы, трудно найти что-то общее в вещах этого минувшего десятилетия. И все же это общее есть — оно не в тематике, не в жанре, а в чувстве, породившем эти произведения. Как бы ни сопротивлялся человек возрасту, возраст тоже имеет свои законы, диктует их и творчеству, уводя его к воспоминаниям, к осмыслению жизненно-го и творческого опыта, к тому ярчайшему, что отложилось в душе.

Нежная болезнь воспоминаний детства овладевает человеком в пожилые годы, и в этих воспоминаниях оно сливается как бы в один летний солнечный день. Детский мир героини повести «Как я была маленькая», воссозданный на автобиографической основе, примечателен не социальной широтой и значимостью, а очень точным и искренним воспроизведением не балованного, разумно воспитываемого, но вполне обеспеченного уютного детства. «Есть, однако, одна существенная сторона жизни общества того времени, — писал автору А. Фадеев, — которая освещена тобой в книге недостаточно... У тебя есть еще возможность для того, чтобы показать социальное неравенство, *бедность* — то, что так поражало наше детское воображение в условиях старого времени, независимо даже от оттенков той социальной среды, к какой мы сами принадлежали». В новом издании повести Вера Инбер последует доброму совету, добавив к написанному две главы, однако не преувеличивая опыта героини в этой области. Было, как было! И не будем упрекать автора в узости кругозора. Ибо если в книге нет резких контрастов, прямого осуждения социальной несправедливости, то есть нечто другое — скованность и ограниченность мира ребенка. Узкий мирок маленькой героини воссоздан как бы для того, чтобы возбудить в детском уме сопоставления с собственной, развивающейся по иным общественным законам жизнью, словом, чтобы пробудить в юном читателе работу мысли. «Было очень важно, чтобы она сама убедилась», — говорит в повести мать девочки, и эта фраза служит своего рода ключом к спокойной и серьезной манере повествования, манере, предназначенной пробуждать мыслительную деятельность. Этой стороны книги, кажется, не заметили ни ее критики, упрекавшие автора в том, что она не раскрыла социальных противоречий эпохи, ни доброжелатели, хвалившие автора только за то, что в повести

не паиздательно, без указующего перста даются полезные уроки общежитейской морали.

Казалось бы, книгой «Как я была маленькая» Вера Инбер достаточно рассчиталась со своим детством. Но крот воспоминаний продолжает свою невидимую работу.

Вокруг меня, обычно в час вечерний,
воспомианья вьются точно пчелы.

Так начинается вступление к главам новой поэмы «Я вспоминаю...», над которой поэтесса работает в последние годы. В первых главах перед нами все тот же знакомый мир, однако увиденный глазами уже не ребенка, а подростка. И если замысел книги для детей исчерпывается только желанием рассказать *как было*, то, судя по написанным главам поэмы, ее замысел в том, чтобы поведать, *как начиналось*. Впрочем, вряд ли сейчас возможно предугадать содержание произведения, задуманного как лирическая повесть о людях, событиях, годах.

Итог творческого опыта и многолетних размышлений об искусстве представляет собою и книга о писательском труде «Вдохновение и мастерство». О специфике творчества и литературного ремесла Вера Инбер размышляла и в поэзии, и не от случая к случаю: такие размышления занимают значительное место в ее творчестве, будучи вкраплены в самые различные стихи. И если в лирике двадцатых годов они приобретали характер раздумий о месте художника в обществе, об идейных задачах, стоящих перед писателем, то в конце тридцатых годов, начиная с «Путевого дневника», речь пойдет непосредственно о технологии творчества, о мастерстве, так же как в «Овидии» писательница задумывается над природой вдохновения, тайной рождения образа. И в ленинградском дневнике изображению окружающего будут сопутствовать рассуждения о литературе, о непосредственной работе над поэмой и над самим этим дневником. Не существует художника, который вообще не задумывался бы над этими вопросами, не стремился осмыслить процесс творчества, но Вера Инбер делает читателя постоянным соучастником этого осмысления. Она рассуждает о загадках и специфике поэзии на людях с той заинтересованностью, какая присуща труженику, влюбленному в свой труд, живущему им и потому уверенному, что разговор о том, что ему дороже всего, не может не занимать собеседника. И обычно таким одержимым людям всегда удается рассказывать о своем труде увлекательно. Вот и Вера Инбер

рассказывает о писательском труде, о работе над словом, об искусстве портрета, о многообразии изобразительно-выразительных средств и даже о «рабочем месте» так, что заслушаешься. Я далек от того, чтобы пытаться переложить содержание весьма небольшой по объему, изящно написанной книжки. Да и кто может рассказать о мастерстве лучше самого мастера?

В отличие от многих писательских рассказов о писательском труде, «Вдохновение и мастерство» не простой субъективный рассказ о личном опыте. Автор как бы проверяет собственные выводы высказываниями других художников — от Державина до Багрицкого, от Гейне до Станиславского. Обилие цитат, однако, не сделало книгу мозаичной, каждая цитата прочно связана с ходом мысли автора, разговор льется непринужденно, со свободными отступлениями в воспоминания, кое-где с улыбкой — и все это образует прочный сплав. В представлении Веры Инбер истинный художник не вития, «кого власы подъяты в беспорядке, кто, вопия, всегда дрожит в нервическом припадке» (К. Прутков). Художник — труженик, работник, и потому автор рядом с главами о языке, силе слова, портрете, пейзаже отводит равное место главе «Рабочее место». Книга, озаглавленная «Вдохновение и мастерство» и даже разбитая соответственно на две части, направлена именно на стирание этого *и*, на утверждение того, что *вдохновение — труд — мастерство* существуют в триединстве, и только такое триединство приносит достойные плоды. «*Без вдохновения не может быть настоящей работы, плодом которой является мастерство. Но само вдохновение, в свою очередь, есть результат работы*» — эта формула выделена самим автором в тексте книги.

Большая доля вдохновения поэта в эти годы отдана образу Ленина. Ленинская тема в творчестве Веры Инбер зачиналась в двадцатые годы стихотворениями «Пять ночей и дней», «Так будет», продолжалась в ленинградские дни стихотворением «Ленин». А в пятидесятые годы великий образ вновь завладевает воображением поэта, воплощая в себе этические представления об идеале человека. Он возникает как то ярчайшее, что запечатлелось в памяти в результате долгой, большой и сложной жизни, с чем связаны священные порывы души и непоколебимые верования. Для этих стихов характерно стремление запечатлеть ленинский облик в различных ракурсах, различных состояниях, в разных гранях, дать его и обобщенно, монументально («Апрель») и в живой зарисовке (из поэмы «Ленин в Альпах»).

Вот перед нами Ленин, вслушивающийся в раскаты бури на Женевском озере («Отличная буря. Такие на Волге бывают. В Симбирске»), отважный пешеход на горных тропинках, вдыхающий всю грудью прохладу гор. А вот Ленин — глава нового государства, помнящий о самой малой просьбе («Записочка, где просьба есть к Семашко, чтоб тот достал крестьянину очки»). Ленин требовательный, непримиримый к волокитчикам и бюрократам. Начатое тщательным описанием ленинского рабочего стола — с мельчайших деталей, — стихотворение «Предсовнаркома Ленин» заканчивается строками, где ленинский облик приобретает грозные, карающие черты.

А вдруг сквозь стены Мавзолея глянут
Всевидящие, грозные глаза,
От коих скрыться никуда нельзя.

Как бы ни было разнообразно содержание стихов о Ленине, для образа, создаваемого Инбер, характерна очень точно схваченная черта дорогого облика — неукротимый ленинский темперамент в сочетании с безмерным богатством души, с заботой о людях, тот заряд энергии гения, который, пробудив к революционному действию миллионы волею, побеждает время, воспламеняет людские сердца.

Согретый жаром лирического чувства, дорогой облик оживает в прекрасных стихах «Проект памятника» и «Свет Ленина». Столь дорогой сердцу поэта образ источника света (вспомним медовый свет рабочей лампы из поэмы «Овидий», мерцающий марлевый канатик в ленинградские ночи) здесь дорастает до символа — от светлой точки лампы в пушечных снегах «лучи протянулись звездой» в историю, в наше сегодня, в мир, к человеческому сердцу...

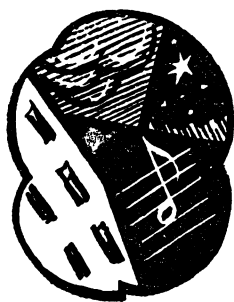
Есть что-то глубоко значительное в том, что ленинский образ в последнее время владеет воображением поэта так властно, что произведения, возвращающие нас к далеким годам детства и юности писателя (уже известная повесть и главы из новой поэмы «Я вспоминаю...»), и стихи о Ленине пишутся одновременно. В этом как бы альфа и омега большого пути, пройденного так, как было предсказано тем, кто первый предвидел облик нового общества и новой литературы. Впрочем, «не все объяснимо» в поэзии, и самая мысль о такой взаимосвязи всего лишь «догадка, скользнувшая мимо, неуловимая, как ты ее ни лови...».

Талант Веры Инбер принадлежит к счастливому роду талантов, в которых заложена способность постоянного саморазвития, всегда сохраняющих юность. Бывают дарования односторонние; будучи пробуждены к творчеству в особых условиях, они теряют запал, как только эти условия и обстоятельства миновали, в лучшем случае — отцветают, а в худшем — продолжают повторять одно и то же. Человек может застыть, окостенеть в самом себе, — жизнь не останавливается никогда. И счастлив тот, чье сердце восприимчиво к быстротекущей жизни, кто может настраиваться и сверять перо с звучащей по утрам в эфире нотой *ля*, «чтобы предельно чистым» тоном отозваться на то новое, чем одаряет художника жизнь.

Каждое поколение ищет и находит в книгах писателя то, что ему особенно близко, что перекликается с запросами его сердца и разума. Мое объяснение пути и творчества писательницы ограничено восприятием людей моего поколения, рамками моего познания. Новый читатель, может быть, многое поймет по-иному и оценит иначе. Только нет у меня сомнения в том, что не оставят его равнодушным душевные качества поэта — влюбленность в жизнь, патриотическое чувство, заразительный оптимизм, трогательная доверчивость лирических признаний и самое мастерство воплощения художественных замыслов.

А. Макаров

стихотворения





О С Е Н Ъ

Две царевны, бледны, русы,
У воды лежат.
Их кокошники и бусы
Точно отблески жар-птицы.
Опустив свои ресницы,
Две царевны будто спят.
Месяц маленький, убогий
Видит на рыбацъей лодке
Пáруса лоскут.
И в его ущербном роге
Тусклый свет печально-кроткий,
И, теряя пух в дороге,
Облака плывут.
Осень, сняв венок и платье,
Косы подобрал гребенкой,
Плещется чуть слышно у скалы.
На шнурке из паутины
Ожерелье из рябины,
На локтях, как у ребенка,
Острые углы.
В красных оползнях обрыва
Погибает чья-то дача:
Вниз сползают терпеливо
И дорожки и куртины.
А на месяц странно смотрят
Георгины.

СКАЗКИ

Закройте крепко-крепко ваши глазки.
К нам не придет никто.
Я помню, вы всегда любили сказки.
Лежите тихо, только не засните:
Я расскажу вам, сколько захотите,—
Пятнадцать, двадцать, сто...

Я расскажу вам об одной лужайке
С цветами в длинный ряд.
Там рос тюльпан и все мечтал о чайке,
В которую влюбился из каприза,
Лишь по рассказам утреннего бриза,
Проникнувшего в сад.

Я расскажу, как черный конь шахматный
Разбился о паркет;
Как, положив беднягу в гробик ватный,
Его похоронили ночью мыши
В буфетном ящике, в уютной нише,
И замели свой след.

Я расскажу вам про лесную фею,
Похожую на вас.
Она была сестрой одной наяды.
Она носила странные наряды:
Росу и лунный газ.

Та фея в листьях засыпает,
Совсем как вы теперь.

Как тихо. Нас никто не знает.
Не скрипнет дверь.
У феи... спите... спи спокойно,
И в этой тишине
Пусть все мои слова и сказки
Придут к тебе во сне.

1911

С Н Е Г

Золотые огни растекаются, никнут и тают;
О, увы! Я зажечь их опять не могу.
Если мысли твои от холодных ветров умирают,
То мои разгорятся ярче на пышном снегу.
Если милые мысли твои — средиземные розы
И от южного солнца горят, как персидский ковер, —
То мои... то мои только ломкие ветви березы:
Им нужны и пороша, и вьюга, и льдистые слезы,
И лесной темно-красный костер.
В январе не хочу я подобия месяца мая.
Снег мне нужен. Сугробы в рождественском старом
бору.
Здесь, от этой весны не весной, я почти погибаю,
И среди аккуратных садов — я боюсь, я боюсь, что
умру.

1912
Париж

ПРЕДМЕСТЬЕ

В осеннем небе бледный рог луны,
И улицы тихи, как горные ущелья.
В мой лучший час вечернего безделья
Осенние деревья-колдуны
Как будто мглой сиреновой полны.
Певец-поэт, за поворотом дальним,
Поет о «бедной маленькой Нана».
Далекий молот бьет по наковальне,
И детский профиль виден из окна.
Какой-то двор, мощный и квадратный.
В тени навеса одинокий конь.
И тонко смотрит месяц благодатный
На низкий дом, где не зажжен огонь.
Иду... Иду... Удары все слышнее,
И сталь кричит сиреною больной.
Рабочие смыкаются плотнее
И, ласково и зло, следят за мной.
Один из них мне крикнул комплимент,
Другие засмеялись, но не громко.
Недлинный луч, желтее, чем соломка,
Упал из кузницы в мое боа из лент.
И вечер тихо шел с Больших Бульваров,
И эхо просыпалось от ударов.

1912
Париж

МОЯ ДЕВОЧКА

Жанна

День окончен. Делать нечего.
Вечер снежно-голубой.
Хорошо уютным вечером
Нам беседовать с тобой.

Чиж долбит сердито жердочку,
Точно клетка коротка;
Кошка высунула мордочку
Из-под теплого платка.

— Завтра, значит, будет праздница?
— Праздник, Жанна, говорят.
— Все равно, какая разница,
Лишь бы дали шоколад.

— Будет все, мой мальчик маленький,
Будет даже детский бал.
Знаешь: повар в старом валенке
Утром мышку увидал.

— Мама, ты всегда проказница:
Я не мальчик. Я же дочь.
— Все равно, какая разница,
Спи, мой мальчик, скоро ночь.

1913

ПЕТРОНИЙ

Неясный свет, и запах цикламены,
И тишина.
Рука, белее самой белой пены,
Обнажена.
На длинных пальцах ногти розоваты
И нет перстней.
Движенья кисти плавны и крылаты,
И свет на ней.
В руке дощечка, залитая воском,
В цветах — окно.
На мраморном столе, в сосуде плоском,
Блестит вино.
Зачем здесь я, в ночи и неодета,
И кто со мной?
Библиотека древнего поэта
Полна луной.
Я подхожу, дрожа, к столу со львами
И говорю:
«Привет тебе!.. Я незнакома с вами»,—
И вся горю.
Склонившись в непривычном мне поклоне,
Я слышу смех.
Из непонятных слов одно — «Петроний» —
Яснее всех.
Далекий век, другая жизнь и вера...
Я говорю:

«Я помешала. Ты читал Гомера
И ждал зарю...»
В саду вода лепечет монотонно,
Шуршит лоза.
Эстет и скептик смотрит удивленно
В мои глаза.

1913

Р И М

На темный плющ летят цветы жасмина,
Как крылья мотыльков.
Часы текут пленительно и длинно,
На камне полустертая терцина
Поет без слов.

Я уезжаю завтра в край далекий
И не вернусь сюда.
Мой друг, когда прочтешь ты эти строки,
Преподадут мне новые уроки
Иные города.

Но знай, что сердцем, поздно или рано,
С тобой я буду вновь.
Все будет прежним: тихий ход тумана,
И древний лепет римского фонтана,
И мудрая любовь.

И ты, как прежде, пальцем заостренным
Чертя далекий круг,
Расскажешь мне в тиши о Риме сонном,
Мой нежный друг.

1913

ТРОПИКИ

Закат пылающим драконом
Лежит на берегу.
По знойным улицам Сайгона
Я мысленно иду.

Я вижу мол и город плоский,
Раскинутый звездой,
И хищный профиль миноноски
Над голубой водой.

В порту среди китайских джонок
Скользит моторный бот.
И в гонг полунагой ребенок,
Сзывая к чаю, бьет.

Вхожу в отель. В углу террасы
Болтают две семьи
О превосходстве белой расы
Над желтыми людьми.

И бог из обожженной глины,
С искривленным лицом,
Глядит, как движутся их спины
Под тонким полотном.

Темнеет. Над листвою поникшей
Струится звездный ток.
На променаде — тени рикшей
И топот голых ног.

Меж пестрых шелковых отрепий
На Улице Утех
Французские морские кепи
Мелькают чаще всех.

В курильне темной жутки тени,
Но, тайный страх глуша,
Вплывает в бездну сновидений
Арийская душа.

Когда ж под солнцем нестерпимым
Взовьется первый зонт,
Уж миноноска станет дымом,
Уйдя за горизонт.

1914

* * *

Много близких есть путей и дальних,
Ты же отвергаешь все пути.
И тебе от глаз моих печальных
Не уйти.

Я тебя улыбкой не балую,
Редко-редко поцелуй отдам,
Но уж не полюбишь ты другую,
Знаешь сам.

Через дни твои и ночи тоже
Прохожу, как огненная нить.
Говоришь ты: «Тяжело, о боже,
Так любить».

Я ж гореть готова ежечасно,
Быть в огне с утра до темноты,
Только бы любить, хоть и напрасно,
Как и ты.

1915

* * *

Поздно ночью у подушки,
Когда все утомлены,
Вырастают маленькие ушки,
Чтобы слушать сны.

Сны бывают разные. Их много:
Снятся чудеса,
Снятся приключения, дорога,
Реки и леса,

Снятся лыжи, снеговые горки,
Солнечный газон,
Школьная тетрадь, где все пятерки,—
О, волшебный сон!

Сны текут то явственней, то глуше,
Как ручей, точь-в-точь.
И подушка, наостривши уши,
Слушает всю ночь.

Днем зато, уставши до упаду,
В жажде тишины,
Спит она — будить ее не надо,—
Спит и видит сны.

1915

* * *

В час заката выпуклей и глаже
Полноводная река.
Ветра нет. Прогулка в экипаже
Сладостно-спокойна и легка.

В городке покой и запах хлеба.
А вокруг, до ободка земли,
Северно-прозрачный купол неба
И одна звезда вдали.

И тогда я вспоминаю море,
Шум толпы, расплавленный асфальт,
Ветер, пыль, мятущиеся зори
И автомобиля нежный алыч.

О душа, отравленная югом,
Замолчи, не вспоминай, не пой.
А не то, боюсь, ты закричишь с испугом:
«Отвези меня домой!»

1915

* * *

Волна без пены. Солнце без огня.
Зайчата на сырой полянке.
Как это чуждо мне, южанке,
Как это странно для меня.

В недоумении я чту весны чужой
Мне непонятные красоты:
Стыдливое цветенье хвой
И зори, бледные, как соты.

Но как меня томит и гложет
Мечта о небе, синего синей!
И северной весне в душе моей
Созвучья нет и быть не может.

1915

* * *

Здесь нежная заря робка,
Как девочка в исповедальне.
Здесь лето, кротче голубка,
Воркует с каждым днем печальней.

А там, у нас, оно поет,
Как упоенная цикада.
И вспоминать его полет
Какая горькая услада!

Какой язвительный восторг
В прохладе северной равнины
Припомнить синих волн узор
И скат крутой из красной глины,

Меж скал спокойные каналцы,
И водорослей терпкий сок,
И чьи-то бронзовые пальцы,
Полузарытые в песок.

1915

* * *

Жанне

Как жизнь идет! У моей дочурки
Уже толстеньких две косы.
Я с ней играю в куклы и в жмурки,
А в вечерние часы

Я рассказываю ей, что козлята
Не слушались мамы-козы.
Вечер тих. Над кошной примятой
Летают две стрекозы.

Надо спать идти. Уже поздно.
Разгрызая последний орех,
Я спрашиваю ее: «Скажи серьезно,
Кого ты любишь больше всех?»

Свой бантик, похожий на стручочек перца,
Она ухватила, теребя.
И я жду с замиранием сердца,
Чтоб она мне сказала: «Тебя».

1916

* * *

О, зори золотистые весной,
О, путешествия в пленительном апреле,
Когда влекут к далекой параллели
Узоры звезд, не виданные мной!

Тогда баул с наклейкою «Триест»
Твердит о радостях, о встречах, о томленьи,
И месяц, спутник всех бродяг весенних,
Благословляет тайный мой отъезд.

1916

* * *

Мне не нужны румяна и котурны
В твоём присутствии, судья мой нежный.
Ты никогда не скажешь: «Это дурно»,—
Но не кольнешь и похвалой небрежной.

Молчишь, когда я медленно и внятно
Тебе читаю то, что написала.
Роняет солнце золотые пятна
На щек твоих холодные овалы.

Уняв самолюбивые боренья,
Я вижу, как мой стих кичлив и зыбок.
Но и несовершенные творенья
Светлеют от твоих скупых улыбок.

1916

* * *

Осенний воздух тонок и опасен,
Иной напев, иной порядок дней.
И милый город осенью прекрасен,
И шум его нежней.

Осенний ветер веет на солдата,
На девочку в платке, на горб волны.
Мы все равны в румяный час заката,
Мы все опьянены.

Куда придем мы: в небо или в море?
Нас осень ждет, как мачеха иль мать?
Как разгадать вас, перистые зори,
И, разгадав, как описать?

*Август, 1916 г.
Одесса*

* * *

Такой покой, как будто выпал снег,
А за окном всего лишь день осенний.
Прекрасен туч неторопливый бег,
И запах сада полон томной лени.

Да не обманет нас осенний рай,
Да не смутят нас шалости и вздохи!
Дни осени — большие скоморохи:
Как ты в любовь, сентябрь играет в май.

Ты, как сентябрь, таишь незримый молот.
Но я не задержу свою ладью,
Предпочитая благородный холод
Искусно подогретому питью.

1916

* * *

Ты помнишь Геную? Прогулки по утрам,
И шляпы на ослах, и запах лука,
И то, как неприятно было нам,
Что в Розовом дворце теперь контора Кука?

Как зол лакеев был ареопаг
В кафе, еще не убранном и сонном!
Над русским консульством знакомый флаг
Приветствовали мы поклоном...

И как мы не уехали едва
За бедным эмигрантом в Чили.
Как путали мы деньги и слова
И как друг друга там любили.

1916

* * *

Ты представить себе не можешь,
Как хороша весна у моря.
Что это на простую весну не похоже,
Согласится каждый, не споря.
Начинается так: низко над садом
Ты видишь туман розовый и серый;
Тут надо молчать, чтоб ни словом, ни
взглядом
Не спугнуть весны, пугливой, как серна.
Ты раскладываешь пасьянс, путая масти,
Шьешь, восторгаешься новым поэтом
И все время испытываешь какое-то легкое
счастье.
Не нужно только говорить об этом.
Ты ложишься спать, а утром рано...
Боже ты мой, как надулись и вспухли
Красные почки старых каштанов.
А на яблоне — светлое облако, пух ли?
И высокое море синей стеною
Обвело весь город, от солнца алый.
Тогда приходит тот, кто зимою
Не глядел на тебя, а если глядел, то мало.
Теперь же, когда и море и сушу
Весна поймала в нежные сети,
Он отдает тебе свою душу.
И что тут сказать? И как тут ответить?

1916

С Л А С Т И

После улиц в нестерпимом блеске
Кажется оазисом в пустыне
Погребок, где перс в потертой феске
Спит, прижавшись лбом к прохладной дыне.

Черные черешни словно крыты лаком,
С потолка свисает гроздь изюма.
Пирожки, посыпанные маком,
Тихо говорят рахат-лукуму:

— О, за что подвергнуты мы каре
На прилавке этом окаянном?
То ли дело в Смирне на базаре,
Под навесом полотняным.

Там ревут ослы, гудит шарманка,
Пестрые ковры лежат горою;
Там пришла б нас покупать турчанка
Под узорчатой чадрюю.

И просить не стала бы уступки
У купца с седой бородою,
И, полакомившись нами, губки
Сполоснула б розовой водою.

1916

* * *

Больному солнцу выйти лень,
Хотя давно трубили зорю.
Как хорошо в осенний день
Собраться в путь к родному морю.

И мил мне даже дождь косою
Затем, что я безмерно рада:
Я возвращусь к себе домой
Как раз к началу листопада.

Там будет воздух чист и прясн
Под бесконечно синим сводом.
И вас, холодных северян,
Я пожалею мимоходом.

1916

* * *

Шелестя сухими злаками,
Подымая синий дым,
Осень с рыжими собаками
Рыщет по садам пустым.

Вслед летят, свистя и гикая,
Листья с мохом и корой.
Осень, хищная и дикая,
Воздух нюхает сырой.

В утро злое и ненастное
Инеем дохнет земля,
И лисицу — лето красное —
Осень выгонит в поля.

И, с борзыми одичалыми
Приступая к дележу,
Обагрит ручьями алыми
Обнаженную между.

1916

* * *

Уж виноградари прошли с корзинами.
Уж тыквы сняли с огорода.
И первый дым, душистей меда,
У горожан зареял над каминами.

Потоки воздуха осенне-ясные
Смягчают крик отставшей птицы.
В такие дни возможно, мнится,
Простыми средствами создать прекрасное.

1916

* * *

Жене Э

Как пальцы от свежих грецких орехов,
Порыжели сосен края.
Я все думаю о том, что Чехов
Был болен тем же, чем я.

Три воробья в разговоре длинном
Обсуждают весенний указ.
Я опять читаю «Дом с мезонином»,
Уж не помню в который раз.

Растаяла снежная баба-толстуха,
Даже след ее замели.
Копают грядку, и падают глухо
Комья нагретой земли.

Закрываясь книгой от яркого света,
Слабея от теплоты,
Я спрашиваю так, словно жду ответа:
— Мисюсь, где ты?

1916

* * *

Как уйти от этой жизни милой,
Где поют дожди под звездной сеткой,
Где деревья, самой тонкой веткой,
Словно держат сердце с нежной силой.

Как оставить соль, вино, и злаки,
И огонь в камине ночью зимней,
Как оставить (господи, прости мне!)
Лапы добрые моей собаки.

Как уйти, укрыться вечной тенью
В час, когда над морем солнце жгуче.
Друг мой, научи меня смирению,
Друг, скажи, что вечно жить не лучше.

1917

* * *

Не то, что я жена и мать,
Поит души сухие нивы:
Мне нужно много тосковать,
Чтоб быть спокойной и счастливой.

Мне нужно, вставши поутру,
Такой изведать страх сердечный,
Как будто я сейчас умру
И не узнаю жизни вечной.

Но через миг опять жива,
В размере до сих пор не петом,
Смогу я бранные слова
Осеребрить нездешним светом.

*Июнь 1917 г.
Одесса*

* * *

Я не могу увидеть всей земли.
Для этого чрезмерно краток век.
И недостаточно крылаты корабли
На выпуклых волнах морей и рек.

И есть далекие леса и города,
Оттенки кожи юношей и дев,
Которых не увижу никогда,
Как не услышу речи их напев.

Пусть так. Но я мечтаю об одном:
Мне к именинам подари моим
Зеленый остров в море голубом
И розовое облако над ним.

И я переселюсь туда одна,
Возьму с собою лишь иглу и сеть;
Когда ж мне минет сотая весна,
Приедешь ты, чтоб вместе умереть.

И мы уснем, как было суждено,
Забыв земные долгие труды.
И остров наш опустится на дно,
Преобразясь в подводные сады.

*Декабрь 1917 г.
Москва*

* * *

Хорош воскресный день в порту весной;
Возня лебедек не терзает слуха,
На теплом камне греется, как муха,
Рабочий, оглушенный тишиной.

Я радуюсь тому, что я одна,
Что я не влюблена и не любима,
Что не боюсь я солнцем быть палима
И стать смуглей кофейного зерна.

Что я могу присесть легко на тюк,
Вдыхать неуловимый запах чая,
Ни на один вопрос не отвечая,
Ничьих не пожимая нежно рук.

Что перед сном смогу я тихо петь,
Что сны не участят мое дыханье,
И поутру — простые одеянья
Никто не помешает мне надеть.

1918

* * *

Н. Крандиевской

Мои слова становятся тяжеле,
Из жала превращаются в стрелу.
Еще вчера они едва звенели,
Подобные стрекозьему крылу.

Теперь они проносятся со свистом,
Ты их пустой забавой не зови.
Взгляни: на острие тугом и чистом
Уже одна зазубрина в крови.

И то, что было некогда уколом
На мякоти румяного плода,
Становится ранением тяжелым —
Но эти раны благодны всегда.

1918
Москва

* * *

Есть много неоткрытых тайн природы,
Известных только мне;
Я знаю, есть на солнце огороды
И птицы на луне.

На нашем солнце золотые грядки,
И много там растет
Моркови, пятипалой, как перчатки,
И сладкой, точно мед.

Там лук благоуханней ананаса
И говорит: «Не плачь».
И вырастает он в течение часа
С футбольный мяч.

И то, что метеорами доньше
Считает астроном,
Суть солнечные огурцы и дыни,
Летающие дождем.

Они летят, сверкнув на фоне неба
Серебряным тире,
И лунные синицы вместо хлеба
Клюют их на заре.

1918

* * *

Слова мои сегодня не крылаты:
Они, как пчелы осени, больны.
Как будто им предсказаны утраты,
Туманы, сны.

Но жало острое, как смертную занозу,
Вонзает полумертвая пчела.
Открой мне сердце, чтобы я, как в розу,
В него вползла.

Его овеет воздухом суровым,
Его исколет снегом, но зато
Я буду близко и бескрылым словом
Его ужалю сладко, как никто.

1918

* * *

Бывает дух позорно нем,
Когда цветет здоровьем тело.
Болезни мне даны затем,
Чтоб суета не одолела.

Чтоб ум и сердце не могли
Утешиться в пределах тесных,
Чтоб смертные огни земли
Не заменили звезд небесных.

*Январь 1919 г.
Одесса*

* * *

Хорошо в Константинополе влюбленным
Днем блуждать по лестницам и скатам,
И по водам, сладким и соленым,
Совершать прогулки в час заката.

Здесь не подойдет никто знакомый
И не спросит, руку пожимая,
Отчего я в лодке, а не дома,
Отчего я та, а не иная.

Меж камней, среди могил и праха
Так нетрудно все забыть на свете,
Так легко любовь принять без страха,
Как большие маленькие дети.

Вот и ночь! Темна и многозвездна,
Но любовь часов не наблюдает,
И никто не скажет нам, что поздно,
Оттого что нас никто не знает.

1919

* * *

Неслышимы, неуловимы взором,
Во мне мои видения тихи.
Таинственны законы, по которым
Текут ручьи и пенятся стихи.

Живу, как все. Питаюсь тем же хлебом,
И кров мой не богат и не высок.
Так почему ж порою звездным небом
Мне кажется беленый потолок?

Цветут цветы. Шумят протяжно реки,
И вечером, когда сажусь писать,
То начинает веять ветер некий
И эту перелистывать тетрадь.

*18 августа 1919 г.
Одесса*

* * *

Куда уйти, когда кругом моря?
Над водным лоном Млечный Путь двоится,
Когда померкнет он — взойдет заря,
Но, может быть, корабль не возвратится,

Спокойствия не испытаю вновь.
Куда уйти, когда кругом любовь?

Декабрь 1919 г.

* * *

Забыла все: глаза, походку, голос,
Улыбку перед сном;
Но все еще полна любовью, точно колос
Зерном.

Но все еще клонюсь. Идущий мимо,
Пройди, уйди, не возвращайся вновь:
Еще сильна во мне, еще неодолима
Любовь.

1919
Одесса

* * *

У первой мухи головокруженье
От длительного сна:
Она лежала зиму без движенья,—
Теперь весна.

Я говорю: — Сударыня, о небо,
Как вы бледны!
Не дать ли вам варенья, или хлеба,
Или воды?

— Благодарю, мне ничего не надо,—
Она в ответ.—
Я не больна, я просто очень рада,
Что вижу свет.

Как тяжело жить зимой на свете сиром,
Как тяжело видеть сны,
Что мухи белые владеют миром,
А мы побеждены.

Но вы смеетесь надо мной? Не надо.—
А я в ответ:
— Я не смеюсь, я просто очень рада,
Что вижу свет.

1919

* * *

Лучи полудня тяжело пламенеют.
Вступаю в море, и в морской волне
Мои колена смугло розовеют,
Как яблоки в траве.

Дышу и растворяюсь в водном лоне,
Лежу на дне, как солнечный клубок,
И раковины алые ладоней
Врастают в неподатливый песок.

Дрожа и тая, проплывают челны.
Как сладостно морское бытие!
Как твердые и медленные волны
Качают тело легкое мое!

Так протекает дивный час купанья,
И ставшему холодным, как луна,
Плечу приятны теплые касанья
Нагретого полуднем полотна.

1919

* * *

Надо мной любовь нависла тучей,
Помрачила дни,
Нежностью своей меня не мучай,
Лаской не томи.

Уходи, пускай слеза мешает
Поглядеть вослед.
Уходи, пускай душа не знает,
Был ты или нет.

Расставаясь, поцелую, плача,
Ясные глаза.
Пыль столбом завьется, не иначе
Как гроза.

Грянет гром. Зашепчет, как живая,
В поле рожь.
Где слеза, где капля дождевая —
Не поймешь.

Через час на вёдро золотое
Выглянет сосед
И затопчет грубою стопою
Милый след.

1919

* * *

Всему под звездами готов
Его черед.
И время таянья снегов
Придет.
И туча мая на гранит
Прольет печаль.
И лунный луч осеребрит
Миндаль.
И запах обретет вода
И плеск иной,
И я уеду, как всегда,
Весной.
И мы расстанемся, мой свет,
Моя любовь,
И встретимся с тобой иль нет
Вновь?

1919

* * *

Тяжелознойные лучи легли
На пышные фруктовые сады,
Преобразуя горький сок земли
В сладчайшие плоды.

От солнца ал, серебрян от луны,
Тяжелый персик просится в уста,
И груши упоительно бледны
Под зонтиком листа.

Внимая пенью пчел, глаза закрыв,
Под старым деревом лежи и жди:
С порывом ветра хлынут спелых слив
Лиловые дожди.

Чем глубже лето — тем пышнее сад;
Клонится до земли живой венец.
И царь плодов — кудрявый виноград —
Явился наконец.

1920

* * *

Прохладнее бы кровь и плавников бы пара,
И путь мой был бы прям.
Я поплыла б вокруг всего земного шара
По рекам и морям.

Безбровый глаз глубоководной рыбы,
И хвост, и чешуя...
Никто на свете, даже ты бы,
Не угадал, что это я.

В проеденном водой и солью камне
Пережидала б я подводный мрак,
И сквозь волну казалась бы луна мне
Похожей на маяк.

Была бы я и там такой же слабой,
Как здесь от суеты.
Но были бы ко мне добрее крабы,
Нежели ты.

И пусть бы бог хранил, моря волнуя,
Тебя в твоих путях,
И дал бы мне окончить жизнь земную
В твоих сетях.

1920

* * *

Душе, уставшей от страсти,
От солнечных бурь и нег,
Дорого легкое счастье,
Счастье — тишайший снег.

Счастье, которое еле
Бросает звездный свет;
Легкое счастье, тяжеле
Которого нет.

1920

* * *

Желтее листья. Дни короче
(К шести часам уже темно),
И так свежи сырые ночи,
Что надо закрывать окно.

У школьников длинней уроки,
Дожди плывут косою стеной,
Лишь иногда на солнцепеке
Еще уютно, как весной.

Готовят впрок хозяйки рьяно
Грибы и огурцы свои,
И яблоки свежо-румяны,
Как щеки милые твои.

1920

* * *

Уже заметна воздуха прохлада,
И убыль дня, и ночи рост.
Уже настало время винограда
И время падающих звезд.

Глаза не сужены горячим светом,
Раскрыты широко, как при луне.
И кровь ровней, уже не так, как летом,
Переливается во мне.

И, важные, текут неторопливо
Слова и мысли. И душа строга,
Пустынна и просторна, точно нива,
Откуда вывезли стога.

1920

* * *

Скупа в последней четверти луна,
Встает неласково, зарей гонима,
Но ни с какой луною не сравнима
Осенней звездной ночи глубина.

Не веет ветер. Не шумит листва.
Молчание стоит, подобно зною.
От Млечного Пути кружится голова,
Как бы от бездны под ногою.

Не слышима никем, проносится звезда,
Пересекая путь земного взгляда.
И страшен звук из темной глуби сада,
Вещающий падение плода.

1920

* * *

Такой туман упал вчера,
Так волноваться море стало,
Как будто осени пора
По-настоящему настала.

А нынче свет и тишина,
Листва медлительно желтеет,
И солнце нежно, как луна,
Над садом светит, но не греет.

Так иногда для, бедных, нас
В болезни, видимо опасной,
Вдруг наступает тихий час,
Неподражаемо прекрасный.

1920

* * *

Месяцы нас разделили,
Я даже не знаю, где ты,
Какие снега или пыли
Замечают твои следы.

Город большой или дом лишь
Закрывают твоё бытие,
И помнишь ты или не помнишь
Самое имя мое?

1920

* * *

Слишком быстро проходит жизнь моя,
Редеет лесной опушкой,
И я — вот эта самая я —
Буду скоро беленькой старушкой.

И в гостиной у дочери моей Жанны,
Одетая по старинной моде,
Буду рассказывать медленно и пространно
О девятьсот семнадцатом годе.

Шумное молодое племя
Будет шептаться с моим зятем:
— Бабушка-то... в свое время
Писала стихи... еще с ятем.

По тихому-тихому переулку,
На закате, когда небо золотится,
Я буду выходить на прогулку
В теплом платке и лисицах.

Ты будешь вести меня любовно и учтиво
И скажешь: — Снова сыро. Вот горе! —
И долго мы будем глядеть с обрыва
На красные листья и синее море.

1920

* * *

Как сладостно, проживши жизнь счастливо,
Изведав труд и отдых, зной и тень,
Упасть во прах, как спелая олива
В осенний день.

Смешаться с листьями... Навеки раствориться
В осенней ясности земель и вод.
И лишь воспоминанье, точно птица,
Пусть обо мне поет.

1920

* * *

Уехал друг. Еще в окне закат,
Что нам пылал, не потускнел нимало,
А в воздухе пустом уже звенят
Воспоминаний медленные жала.

Уехавшего комната полна
Его движеньями и тишиною,
И кажется, когда взойдет луна,
Она найдет его со мною.

1920

* * *

Будь для меня учителем и другом,
Распредели мой день по солнечным часам.
Расчисли отдых мой по звездным дугам,
По птичьим голосам.

Мечтай со мной под яблоней цветущей
И в свежий полдень виноград дави.
Но лишь не говори о бывшей или сущей
Любви.

Не лучше ли, подобно мудрым пчелам,
Средь золотых медов окончить век.
Любовь же явится — и в бешенстве веселом
Разрушит улей топором тяжелым,
Как дровосек.

1921

* * *

Что мне отдать за мир души:
Свой голос ли, что тих и зыбок,
Свои глаза, что хороши
Порой от слез, не от улыбок.

Свою казну, свое добро,
Досель хранимое со страхом,
Ночных видений серебро,
Что днем оказывались прахом?

Под кожей алую ли кровь,
Стихов согласное ли братство
Или тебя, моя любовь,
Мое последнее богатство?

Июнь 1921 г.

Ф О К С О К О Т

Как объяснить сей парадокс?
Сам черт себе тут сломит ножку:
Случилось так, что некий фокс,
Что фокстерьер влюбился в кошку.

И нежно-приторен стал фокс,
Он пел, рыдал румынской скрипкой,
Он говорил: «У ваших ног-с
Готов я умереть с улыбкой.

Я дал бы хвост мой отрубить,
Когда бы не был он отрублен,
Чтобы поехали вы жить
Со мной в Чикаго или в Дублин.

В стране, где выдумали бокс,
Ничьи б не привлекало взоры,
Что молодой шотландский фокс
Женат на кошке из Ангоры».

И кошка, женщина в годах,
Прельстясь мальчишескою страстью,
Сложила вещи впопыхах,
Бросая родину для счастья.

Среди маисовых полей
На ферме зажили супруги,
Вкушали лук и сельдерей
И обходились без прислуги.

И ровно, ровно через год
У них родился фоксокот.

1921

* * *

Все вмещает: полосы ржаные,
Горы, воды, ветры, облака.
На земной поверхности Россия
Занимает полматерика.

Четверть суток гонит свет вечерний
Солнце, с ней расстаться не спеша.
Замыкает в круг своих губерний
И татарина и латыша.

Ближние и дальние соседи
Знали, как скрипят ее возы.
Было все — от платины до меди,
Было все — от кедра до лозы.

Долгий век и рвала и метала,
Распирала обручи границ,
Как медведица — нору, меняла
Местоположение столиц.

И, мечась от Крыма до Китая
В лапищах двуглавого орла,
Желтого царева горностая
Чертовы хвосты разодрала.

И лежит теперь нага под небом,
Дважды опаленная грозой,
Бедная и золотом и хлебом,
Бедная и кедром и лозой,

Но полна значения иного,
Претерпевши некий страшный суд.
И настанет день — Россию снова
Первою из первых нарекут.

1922

* * *

Уж свою Францию
Не зову в тоске;
Выхожу на станцию
В ситцевом платке.

Фонари янтарные
Режут синеву,
Поезда товарные
Тянутся в Москву.

Тяжкой вереницею,
Гружены горой:
Южною пшеницею,
Северной рудой.

А не то, синеющий
Раздвигая лес,
Ураганом веющий
Пролетит экспресс.

Сгиньте, планы дерзкие,
На закате дня.
Поезда курьерские,
Вы не для меня.

Торные, окольные
Все пути кругом.
Ездила довольно я,
Похожу пешком.

Ярче изумруда
Месяца восход.
«Гражданка, откуда?» —
Спросит пешеход.

Путь мой не бесплоден,
Цель найду опять.
Только трудно родину,
Потеряв, сыскать.

1922
Москва

* * *

Поцелуй же напоследок
Руки и уста.
Ты уедешь, я уеду —
В разные места.

И меж нами (тем синее,
Чем далече ты)
Расползутся, точно змеи,
Горные хребты.

И за русской границей
Обрывая бег,
Разметаются косицы
Белокурых рек.

И, от северного быта
Устремляясь вниз,
Будешь есть не наше жито,
А чужой маис.

А когда, и сонный чуток,
Ты уснешь впотьмах,
Будет разница в полсутков
На моих часах.

Налетят москиты злые,
Зашумит гроза,
Поцелуешь ты косые
Черные глаза.

Но хотя бы обнял тыщи
Девушек, любя,
Ты второй такой не сыщешь
Пары для себя.

И, плывя в края иные
По морской воде,
Ты второй такой России
Не найдешь нигде.

1923

СЕТТЕР ДЖЕК

Собачье сердце устроено так:
Полюбило — значит, навек.
Был славный малый и не дурак
Ирландский сеттер Джек.

Как полагается, был он рыж,
По лапам оброс бахромой;
Коты и кошки окрестных крыш
Называли его чумой.

Клеенчатый нос рылся в траве,
Вынюхивал влажный грунт;
Уши висели, как замшевые,
И каждое весило фунт.

Касательно всяких собачьих дел
Совесть была чиста.
Хозяина Джек любил и жалел,
Что нет у него хвоста.

В первый раз на аэродром
Он пришел зимой, в снег.
Хозяин сказал: — Не теперь — потом
Полетишь и ты, Джек.

Биплан взметнул снежную пыль,
У Джека — ноги врозь:
«Если *это* автомобиль,
То как же оно поднялось?»

Но тут у Джека замер дух:
Хозяин взмыл над людьми.
Джек сказал: «Одно из двух:
Останься или возьми!»

Но его хозяин все выше лез,
Треща, как стрекоза.
Джек смотрел, и вода небес
Заливала ему глаза.

Люди, не заботясь о псе,
Возились у машин.
Джек думал: «Зачем все,
Если нужен один?»

Прошло бесконечно много лет
(По часам — пятнадцать минут).
Сел в снег летучий предмет.
Хозяин был снова тут...

Пришли весной. Воздушный причал
Был бессолнечно-сер.
Хозяин надел шлем и сказал:
— Сядьте и вы, сэр!

Джек вздохнул, почесал бок,
Сел, облизнулся и — в путь!
Взглянул вниз и больше не смог,—
Такая напала жуть.

«Земля бежит от меня так,
Будто я ее съем.
Люди — не крупнее собак,
А собак не видно совсем».

Хозяин смеется. Джек смущен
И думает: «Я — свинья.
Если это может он,
Значит, могу и я».

После чего спокойнее стал
И, повизгивая слегка,
Только судорожно зевал
И лаял на облака.

Солнце, скрытое до сих пор,
Согрело одно крыло.
Но почему задохнулся мотор?
Но что произошло?

Но почему земля опять
Стала так близка?
Но почему начала дрожать
Кожаная рука?

Ветер свистел, выл, сек
По полным слез глазам.
Хозяин крикнул: — Прыгай, Джек,
Потому что... ты видишь сам...

Но Джек, припав к нему головой
И сам дрожа весь,
Успел сказать: «Господин мой,
Я останусь здесь...»

На земле уже полумертвый нос
Положил на труп Джек.
И люди сказали: — Был пес,
А умер, как человек.

1923

РАССКАЗ О РУБАШКЕ

I

Утюг не спит уже давно,
Утюг свиреп. Он занят делом:
Жжет идолоподобным телом
Распластанное полотно.

Рубашка вся в поту, бледна,
Как жертва, руки распростерла,
Покорно отдавая горло
Прикосновенью чугуна.

Он не дает передохнуть,
Зато, под африканский морок,
Отливами жемчужных створок
Овальная сияет грудь.

И, наконец, ее несут,
Как лебедь белую, в корзине,
Сквозь сумеречный воздух синий
На строгий и пристрастный суд.

Приносят в комнату, в отель;
Там блещет бритва, воздух сладок,
Там на кровати беспорядок —
Простынь взметенная метель.

Там галстукам потерян счет,
Там туфель ряд, за парой пара,
Свистит сифон, дымит сигара,
Хозяин неодетый ждет.

Он спал покамест, как ручей,
Весенний полдень над Нью-Йорком
Стекал по каменным оборкам
Зернисто-серых этажей.

Теперь, не разжимая губ,
Он счел монеты и бумажки,
Недоставало лишь рубашки,
Чтобы немедленно ехать в клуб.

Но вот стучатся. «Кто?» — «Белье».
В больших очках, рябой, как терка,
Китаец-прачка смотрит зорко
И нежно подает ее.

И европейская рука
Пластрон, с его жемчужным лаком,
Небрежно мнет под черным фраком
И счет берет издалека.

Пока рубашку мчит мотор,
На заработанные центы
Китаец покупает ленты
И веер, веселящий взор.

И узкоглазой, как и он,
Отдав дары, ласкает пьяно
Ее плечо, желтей банана,
И цвета ласточки шиньон.

2

В Америке болотный яд
Губительнее, чем в Европе.
Вот карты на зеленой топи
Атласным веером лежат.

И, усеченная столом,
Все время чувствует рубашка,
Что бьется сердце зло и тяжко,
Как рыба, скованная льдом.

И каждый атом полотна
Трепещет на груди упрямой.
Но вот встают четыре дамы
Из недр болотного сукна.

И через несколько минут
Всю ночь молившие о чуде
Карманы, дряблые, как груди,
Тяжелым золотом текут.

3

Рассвет и влажная луна
Цилиндр нижут мелкой ртутью,
И накрахмаленною грудью
Овладевает тишина.

А тот, кто выиграл, идет,
Глотая воздух, точно птица,
И через полчаса стучится
У подозрительных ворот.

Там, извиваясь, как лоза,
Струится дым у изголовий.
Сосредоточенные брови...
Полузакрытые глаза...

И он ложится в свой черед,
В томлении раскинув руки,
Покамест курево в бамбуке
По-комариному поет.

Уже не курево поет —
Жужжит веретено вселенной,
Кудель дымится звездной пеной,
Клубки твердеют, словно плод.

Над белокурой гривой льна
Стрекочут ревностные пряжи:
Для человеческой рубахи
Как много нужно полотна.

Но недостаточно тонки
Полотна из ручной кудели,
И вот заныли и запели
Не прялки — ткацкие станки.

Нырлет месяца челнок
В тугие млечные основы,
И бел и тонок этот новый
Безукоризненный кусок.

Но грозовеет синева:
Уже полотнища льняные
Кромсают молнии стальные,
Выкраивая рукава.

И швеи звездного стола
Нетерпеливо ждут начала,
И вот серебряное жало
Вонзает первая игла.

И выстроченная по швам
Лежит на облачной подушке,
Одни алмазные катушки
Поблескивают здесь и там.

Вращающиеся следы
Сворачиваются пружиной
Над желтой лампой комариной
В четыре яркие звезды.

Их золотом полны до дна
Карманов шелковые ямы.
Не звезды, нет, четыре дамы,
И не четыре, а одна.

Косые брови на висок
Взлетели, как хвосты кометы.

Она тяжелые монеты
Пересыпает в свой чулок.

Но пара глаз, как два тире,
Уставилась змеиным взглядом
На то, что происходит рядом
На многоопытном ковре.

Там на изломанный пластрон
(От ревности вдвойне желанно)
Легло плечо, желтей банана,
И цвета ласточки шиньон.

И с шелестом змеиных кож,
В больших очках, рябой, как терка,
Китаец в глаженую корку
С хрустеньем погружает нож.

И, на дыру и полотно
Потом взглянув вполоборота,
Он говорит: «Моя работа»,—
И прыгает через окно.

1923

СОБЫТИЯ В КРАСНОМ МОРЕ

По радио зовя: «На помощь, друг!»,
Но в смерти сохраняя дисциплину,
Идя в Россию, наскочил на мину
Британский броненосец «Айрон Дюк».

А в глубине, среди медуз и звезд,
Была в тот час такая буря прений,
Что у царя морского от волнений
Затмился взор и подкосился хвост.

Он только что забылся первым сном,
Как вдруг, от страха зеленее ила,
Какая-то селедка доложила,
Что в Красном море — красный исполком,

Что рыбы, от акулы до ерша,
Под пение «Интернационала»,
Поплыли вдоль Суэцкого канала,
Сторонников правительства круша.

Что даже здесь, под сводами дворца,
Кораллы, состоящие в придворных,
На красных, белых, розовых и черных
Разбились в ожидании конца.

Царь стал бледнее устрицы. Но вдруг
К нему во двор, мощный жемчугами,
Глядит — идет железными шагами
Команда броненосца «Айрон Дюк».

«Я вижу флот. Откуда он и чей?» —
Промолвил царь, откашлявшись солидно,
Держа в руке, чтоб лучше было видно,
Светящуюся рыбу в сто свечей.

«Британский флот! Конец моей беде.
Он под водой поможет мне с восторгом,
Как и его величеству Георгу
Он помогал при жизни на воде.

Он успокоит рыбий мой народ,
Возьмет за жабры подлую ораву». —
Но слева из командного состава
Раздался низкий бас: «Наоборот!»

И, отмахнув царя, чтоб не мешал,
Пошли в Суэц, веселые как черти
(Они умнее стали после смерти),
Матросы, офицеры, адмирал.

Вот так произошел переворот.
И с этих пор (и это очень ясно)
И рыба лучшая зовется красной
И красным — наилучший в мире флот.



ПЯТЬ НОЧЕЙ И ДНЕЙ

На смерть Ленина

И прежде чем укрыть в могиле
Навеки от живых людей,
В Колонном зале положили
Его на пять ночей и дней...

И потекли людские толпы,
Неся знамена впереди,
Чтобы взглянуть на профиль желтый
И красный орден на груди.

Текли. А стужа над землею
Такая лютая была,
Как будто он увес с собою
Частицу нашего тепла.

И пять ночей в Москве не спали
Из-за того, что он уснул.
И был торжественно-печален
Луны почетный караул.

1924

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

На площади, под триумфальной аркой,
В тени наполеоновских знамен,
Горит огонь неугасимо-ярко,
Цветут цветы от матерей и жен.

Под пышной аркой вместо мавзолея,
На площади, где улицы — лучи,
Лежит солдат, и вечный ветер веет
На бронзовые лавры и мечи.

И лживый при дневном правдивом свете
Язык огня рассказ лепечет свой
О том, что за двадцатое столетье
Во Франции прибавился герой.

Я тоже брошу розу на могилу
И пожалею, как жена и мать,
Того, кто отдал молодость и силу
За тех, кто не достоин их отнять.

1924
Париж

ЕГИПЕТ

Сюда в музей меня влекут
Не мумии и не гробницы,
Но бедный глиняный сосуд
И горсть египетской пшеницы.

Она особенно чиста,
Она немного больше нашей.
Еще до рождества Христа
Она лежала в этой чаше.

А раньше набиралась сил,
Чтоб стать высокой и густою,
И дважды за год жирный Нил
Вскипал над желтой бороздою.

И наклонялась без конца
Над почвой глинистой и вязкой
Узкоголового жнеца
Клинообразная повязка.

А после, с помощью раба,
Пекли египетские жены
Простые пресные хлеба
С песком на корке обожженной.

И странно знать, что мы смогли
Замкнуть бы снова круг повторный,
В пределах северной земли
Смолов египетские зерна.

И мы узнали бы тогда
Отстой тысячелетних знаков
И вкус упорного труда,
Который всюду одинаков.

1924

СОБАЧИЙ ЭКЗАМЕН

Пришли на экзамен пять собак.
Сидят, не знакомясь;
Четыре овчарки, пятая так —
Помесь.

Полицейская служба — не шутка она.
Собаки, есть на то вы!
Собаки, вас призывает страна!
Будьте готовы.

Пять собак морщат лоб,
Стараются все припомнить.
Что ждет их? Диплом или стоп —
Опять в питомник.

Входит Главный, худой, как нож,
Длинный, как волос в супе.
«Вы уже здесь, говорит, ну, что ж,
Приступим».

И приступили. Выстроаясь в ряд,
Собаки, легче кошек,
Лезли на стену, прыгали в сад
Из окошек.

Вырыли воротничок
Из-под садовой скамейки,
И перед каждой реял значок
На званье ищейки.

Выследили преступника
В лесу, где тот сгинул.
Своим лаяли издалека:
«Приди, мол!»

Каждой в отдельности было дано
Задачи по две, по три.
Главный сказал: «Не плохо, но —
Посмотрим!»

И вот вынесли во двор
Болвана в брюках
И сказали: «Это вор,
Ну-ка!»

И каждая из пяти собак,
Молясь своему богу,
Зная, что это враг,
Впивалась в болванью ногу...

Вернулись в дом. Шепот утих.
Главный сделал стойку.
И сказал: «Двое из них
Усвоили курс на тройку.

Двоим не вполне ясна их цель,
Но зато, что видна сноровка,
Дается им через шесть недель
Переэкзаменовка.

А пятая — эта вот там —
Никуда не годится.
Настоящий гиппопотам.
Единица».

Но тут к столу, где лежала печать,
Подошел человек в хаки.
«Вы не правы, осмелюсь сказать,
Относительно этой собаки.

Глазомер у нее неплохой.
А зубы плохие, что ли?
И только болван, набитый трухой,
Мог не завять от боли.

«Штоо такое? Ступайте вон,
Папрошу без защиты,
Вы сами — тоже болван
И тоже — набитый!»

И Главный потряс было перстом,
Но тут же на пол
Был брошен на пять с крестом
Собачьей лапой.

И второй Главный, бывший при том,
Сказал человеку в хаки:
«Мы выдадим ей диплом —
Вашей собаке».

А первый Главный, щупая бок,
Который был красен,
Кивнул (говорить он не мог):
«Я согласен».

СОРОКОНОЖКИ

У Сороконожки
Народились крошки.
Что за восхищенье,
Радость без конца!

Дети эти — прямо
Вылитая мама:
То же выраженье
Милого лица.

И стоит пригожий
Дом сороконожий,
Сушатся пеленки,
Жарится пирог.

И стоят в порядке
Тридцать три кровати:
В каждой по ребенку,
В каждой сорок ног.

Папа с ними в дружбе.
Целый день на службе,
А когда вернется
В теплый уголок,

Все играют в прятки,
В куклы и лошадки,
Весело смеется
Сам Сороконог.

Все растет на свете —
Выросли и дети.
Носится орава
С самого утра.

Мать Сороконожка,
Погрустив немножко,
Говорит: «Пора вам
В школу, детвора».

Но ходить по школам
Невозможно голым;
Согласился с этим
Папа: «Ну и что ж?»

Мама же сказала:
«Сосчитай сначала,
Сколько нашим детям
Надобно калош».

Для такой работы
Папа вынул счеты.
«Тише, дети, тише!»
Папа снял сюртук.

Если каждой ножке
Нужно по калошке,
То для всех детишек
Сколько ж это штук?

Тридцать три на сорок —
Сосчитать не скоро.
Это надо множить,
Это долгий труд.

Захирела печка,
Догорела свечка,—
Папа с мамой тоже
Сразу не сочтут.

А когда же солнце
Глянуло в оконце,
Захотелось чаю,
Но сказала мать:

«Слишком много ножек
У сороконожек,
Я изнемогаю!»
И пошла гулять.

Видит — в луже тихо
Дремлет аистиха,
Рядом — аистенок
На одной ноге.

Мать сказала плача:
«Аистам удача,—
Вот какой ребенок
Нужен был бы мне!

Слишком много ножек
У сороконожек.
Ноги — это гадость,
Если много ног.

Аист — он хороший,
Он одной калошей,
Мамочке на радость,
Обойтись бы мог».

ПАРИЖ

Став на лапы вычурно и строго,
Эйфелева башня высока.
Площадей и улиц слишком много,
От Парижа по ночам тревога,
По утрам — тоска.

Утром, обтекая город старый,
Старая латинская река
Дышит нездоровым перегаром,
Как бедняк, которого задаром
Напоил хозяин кабака.

И река всю ночь, всю ночь без счета
Пившая стаканами туман,
Тяжело должна теперь работать,
Поднимать суда на поворотах
И снабжать водою горожан.

Вечером горят на небе черном
Стрелы, дуги, обручи реклам
Мечут молнии, пылают горном,
Затмевая голубые зерна
Нежных звезд, подверженных ветрам.

И Москва, где валенки и льдины,
Так в тот час безмерно далека,
Что луна и та как будто ближе:
До луны с любой из крыш в Париже
Доведут густые облака.

*Ноябрь 1924 г.
Москва*

ТАК БУДЕТ

Закономерно, чередою длинной
Пройдут года.
И в город-сад асфальтово-пчелиный
Сольются города.

В нем будут розы на стеклянных крышах,
Но мы — увы! —
Его уж не увидим, не услышим,
Ни я, ни вы.

Но все же так легко себе представить,
И вам и мне,
Зеленый город в солнечной оправе
В ничьей стране.

Там памятник на площади крылатой
Поставлен так,
Что солнце сыплет золото заката
На бронзовый пиджак.

Туда приходят маленькие дети,
Счастливые на вид.
И улыбаются в закатном свете
Тому, кто там стоит.

И мать, подняв ребенка на ступени
И за лучом следя,
Негромко произносит: «Это Ленин,
Мое дитя».

1925

О МАЛЬЧИКЕ С ВЕСНУШКАМИ

Бывают на свете
Несчастные дети:
Ребенок — ведь он человек.
Веснушек у Боба
Ужасно как много,
И ясно, что это навек.

Ресницы и брови
Краснее моркови,
Глаза как желток. А лицо —
Сплошная веснушка,
Как будто кукушка
Большое снесла яйцо.

Кто зло, кто без злобы
Смеется над Бобом;
Соседская лошадь — и та,
Впрягаясь в тележку,
Скрывает усмешку
Особым движеньем хвоста.

И Боб, это зная,
Робеет, хотя и
Ни в чем остальных не глупей:
Он первый из школы
Усвоил глаголы
И нрав десятичных дробей.

Ведь как бы иначе
Решал он задачи
Для девочки с ближней скамьи,
Для маленькой Дóроти
С бантом на ворота
Из строгой-престрогой семьи.

И Дóроти, ради
Ответа в тетради,
Сулит ему дружбу по гроб.
Но после урока
Домой одиноко
Уходит веснушчатый Боб.

И думает: кто же
К нему расположен,
Понятно, из тех, кто не слеп?
Как выбиться в люди
И как же он будет
Себе зарабатывать хлеб?

И, лежа в постели,
Грустит: неужели
Он так-таки в цирк не пойдет,
Где звери и маги,
Которые шпаги
Глощают, как мы бутерброд...

Но как-то на крыше
Прочел он афиши,
Что фирме Дринкоутер и Грей
Нужны для рекламы
Мужчины и дамы
С веснушками, и поскорей.

Пришел он последний;
Все стулья в передней —
Все занято было сплошь, но
Напрасная проба —
С веснушками Боба
Тягаться им было смешно.

Дринкоутер и Грей
Поглядел из дверей
На Боба и был восхищен.
Другие веснушки
Шепнули друг дружке,
Что, видно, прием прекращен.

Условия были:
Помесячно или
Полдоллара в день и еда
Из лучшей колбасной.
Спросили: «Согласны?»
И Боб им ответил, что да.

И профили Боба
По ниточке строго
В длину разделили, как флаг.
Один для контраста
Намазали пастой,
Другой же — оставили так.

И стало понятно,
Что рыжие пятна
Теперь уже снега белей.
«Лечение приятно.
Образчик бесплатно
На складе Дринкоутер и Грей!

Поверьте успеху!»
И вот на потеху
Всем людям и всем лошадям,
Решимости полон,
Двухцветный пошел он
По улицам и площадям.

Пускай посторонние
Люди и кони
Смеются. Ему нипочем.
Полдоллара — это
Такая монета,
Что в цирк он пройдет богачом.

Но даже в столице
Стотысячелицей —
Хотя и не часто, но ведь
Бывают же встречи
Такие, что лечь и —
Немедленно же умереть.

И Боб, как картофель,
Отрезавший профиль
И на день продавший купцу,
С тактичной, хорошей
Соседскою лошадыю
Встретился мордой к лицу.

И в сторону Бобью,
Взглянув исподлобья,
Та лошадь заржала, смеясь:
«Да это не Боб ли?»
И даже оглобли
Присели от хохота в грязь.

И Боб, уничтоженный,
Обмер до дрожи,
И профиль, не тот, а другой,
Стал розовым очень
От этой пощечины,
Данною честной ногой.

И, красный, толкая
Дома и трамваи,
Срывая с одежды плакат
С различными пломбами,
Пестрою бомбой
Влетел он в аптекарский склад.

«Дринкоутер и Грей!
Пред лицом лошадей
Позорно порочить людей!
Мне денег не надо,
Нужна мне помада,
Прощайте, Дринкоутер и Грей.

Я вынесу стойко
Хоть голод, какой кол-
басою меня ни корми!»
И с гордой осанкой,
Без денег, но с банкой
Боб вышел и хлопнул дверьми...

Судьба — лотерея:
Дринкоутер и Грея
Скосили плохие дела,
А Бобу не цирк, а
Веснушечья стирка
Гораздо важнее была.

И с этого часа
Он староста класса,
Он ставит спектакли зимой,
И девочку Дóроти,
Лучшую в городе,
Он провожает домой.

1925

УГОЛЬ

А. Ф.

В лучах и громах, над остывшей землей,
Из хаоса кольцеобразных паров
Потопом свергались дожди.
И первые корни, петля за петлей,
Сосали набухшие груди бугров
И влагой питали хвощи.

И день, не разбитый еще на часы,
Был медлен, как ящера выдох и вдох,—
Лишь слышался шорох и хруст:
То, потный от палеозойской росы,
Шуршал и шипел, продираясь сквозь мох,
Коленчато-перистый куст.

Был воздух моложе на тысячи лет.
И ночью от материков до небес
Такая была тишина,
Что как бы гудел оглушительный свет,
Который на каменноугольный лес
Лила меловая луна.

Покамест ссыхалась земная кора
Горбатыми складками гор и долин
И перемещались моря,

Леса уходили в морские нутра,
И смолы, под страшным давлением глубин,
Сжимались в куски янтаря.

Леса, уходя, залегли глубоко,
И, перерождаясь в подземном тепле,
Они, в непроглядной тиши,
Твердели под медленным прессом веков,
И каменный уголь рождался в земле
Для будущих наших машин.

Прямые травы запахи свежо,
И у водооя, на отмели рек
Оттиснулись кисть и ступня,
И зверь застонал под кремневым ножом,
И первый еще не вполне человек
На корточках сел у огня.

Но вот его крик не как прежде гортан,
И резко отличен квадратный кулак
От орангутанговых лап.
И в хижине тесной, как волчий капкан,
Из каменных ребер сложили очаг,
Чтоб голый детеныш не зяб.

И женщина звякнула бронзой колец.
И, выкатив угольно-черный зрачок
Из пламени красных орбит,
Железом железо ударил кузнец
И первый наткнулся, дыша горячо,
На камень, который горит.

Но гнется железо во время боев,
И, в щит упираясь тяжелым плечом,
В локтях и коленях гранен,
Пьянея от клетота римских орлов,
Впервые стальным замахнулся мечом
На варвара центурион.

Но надобны людям не только мечи,
Им надобны: плуг, и топор, и колун.

И вот, от огня посветлев,
Из доменной огнеупорной печи
Пудовой струей вытекает чугун
Сквозь тысячеградусный зев.

И в мощной реторте, под свист поддувал,
Такой, что не слышат рабочие слов,
Чугун превращается в сталь.
И вот уже первый котел задыхал,
И первых железнодорожных узлов
Стальная легла магистраль.

И ветер машинобиенье понес,
И в скобки моста заключили ручей,
И шпалы на гравий легли.
И рельсы, под речитативом колес,
Запели, как струны басовых ключей,
Сужаясь на деке земли.

И, движимый паром по водным путям,
Стремительный крейсер за каменный мол,
Ныряя, пошел на дозор,
Впервые стальным гребешком проводя
По гривам от века не чесанных воли
Дымящийся пеной пробор.

И все это: поршень, который блестящ,
И перистый пар, и коленчатый вал,
Шипенье, и шорох, и хруст —
В периоде каменноугольных чащ
В растительных клетках своих заключал
Коленчато-перистый куст.

И в шахте, где воздух тяжел, как вода,
Где свет фонаря, словно масло, течет
По мокрой резине плаща,
Забойщик, ударив киркой, иногда
Увидит, что трещины траурный лед
Хранит отпечаток хвоща.

И уголь в моторах гудит тяжело,
Стремит электричества взнузданный бег
И паром клокочет в котле
Затем, чтоб рождались и свет и тепло,
Затем, чтобы преуспевал человек
На светлой и теплой земле.

1925

ПО ТЕЛЕФОНУ

По телефону, сквозь метель и ветер,
Сквозь километры (велика Москва),
По телефону, лучшие на свете,
Летят слова.

В ночной метели, в телефонной дрожи
На миг погаснет голос. И опять
Дыханье... Губы близкие и все же,
Которые нельзя поцеловать.

Нас разделяет мрак, метель и тучи,
Но оттого, что я не вижу глаз,
Слова доходят во сто раз певучей,
Нежнее во сто раз.

Тревога сердца выше всякой меры,
И слуховая трубка у виска
Холодная, как дуло револьвера,
Как смерть близка.

1925

ТАК ВЫГЛЯДИТ...

Задолго до назначенного дня,
Бывало, рыцарь, трус или задира,
Равно готовит латы для турнира
И пестует атласного коня.

И, наконец, под медный рокот труб,
Из медленного зева черных башен
Он выезжает, перьями украшен,
Укрыв забралом легкий трепет губ.

Горит на солнце острие копья,
И вдалеке бела, как сахар, грива
Зеленых или синих волн залива,
Где плещется упругая ладья.

А на гербах узоры из полос,
А на трибуне, под крылом берета,
Глаза аквамаринового цвета
И золото средневековых кос.

И на закате солнца тень резка,
И каменные десны стен зубчатых
Отбрасывают черные квадраты
На желтую отчетливость песка.

И рыцари, с трепещущей губой,
Разят вперед, налево и направо.
И зачастую бранную забаву
Уже не шуточный сменяет бой.

И топчут кони смежные поля,
Из пехотинцев многие убиты,
И у ладьи должна искать защиты
Священная особа короля...

Теперь иные способы борьбы.
В эпоху не ладьи, а парохода,
Исчезли навсегда из обихода
И рыцари, и латы, и гербы.

Но зрелища, как прежде, любит мир,
Где требуется выдержка и воля,
И на квадратах шахматного поля
Вновь оживает рыцарский турнир.

И топчут кони смежные поля,
Из пехотинцев многие убиты,
И у ладьи должна искать защиты
Священная особа короля.

Но судьбами боев вершит сейчас
Не женский взгляд, восторженный и робкий,
А из-под лысой черепной коробки
Стеклянный блеск вооруженных глаз.

А улицы толпой наводнены.
Вверху экран и громкоговоритель...
Так выглядит обычно победитель
Международной шахматной войны.

1925

БУДУЩИМ О ПРОШЕДШИХ

Ведь придет и такая осень
В каждый город и каждый дом,
Когда нас наши внуки спросят
О былом.

Внуки скажут: «Молчать довольно.
Вспомните, что и как:
Дни, когда начинался Смольный
И когда угрожал Колчак.

И правда ли еще тоже,
Что Ленин ступал по ней,
По площади, где позже
Был выстроен Мавзолей?»

Внуки спросят о давней дали
Не отцов и матерей,—
Нас, последних, что видали
Первый из Октябрей.

Так будем же беречь их,
Эти перечни лет и зим,
И будущим о прошедших
Память передадим.

1926

ПЕСКИ ИСТОРИИ

Экспедиция Козлова открыла древнюю полусасыпанную песком дорогу.

(Из газет)

Кому охота
Шагать без счета,
Когда выдуман самолет?
Кому охота
Искать Хара-Хото —
Город, который мертв?
Казалось бы, что человеку надо,
Если он на склоне лет
Может вдыхать прохладу
Сада
По пути в университет.
Если книги к его услугам,
А рядом, недалеко,
Смех жены, и улыбка друга,
И трепет учеников?
Однако нет. И, в верблюжьем зобе
Храня следы
Воды,
Человек идет по пустыне Гоби
И ведет за собой других.

Человек идет ночи и утра,
Много утр и ночей подряд
Для того, чтоб найти старую утварь
И новый водопад.
Человек, щуря сожженные веки
Над зыбью верблюжьих спин,
Идет по пути, где в тринадцатом веке
Шли караваны в Пекин.
И путь, которым змеи и звери
Владели семь веков,
Быть может, в одну из торговых артерий
Опять превратиться готов.
И пойдут, в золотые пыли
Перемалывая песок,
Грузовые автомобили
С запада на восток.
Ибо, как бы ни злы были,
Как бы ни были глубоки,—
Пески истории не осият
Человеческой руки.

К О Н Е Ц Г О Д А

Весною весел крыш поток,
Светла стеклянная грязь.
Но в этот день декабрь потек,
Желтея и дымясь.

Река была нехороша
И в продолжение дня,
Потея, тяжело дыша,
Ходила в полыньях.

И в сердце города, в нутро,
Как в узкие реторты,
С трудом проталкивали кровь
Трамвайные аорты.

И светловолосого, в темном костюме,
Без памяти и без сил,
Хоронили поэта, который не умер,
А сам себя убил.

И на черных плечах, узок и мал,
Поплыл коричневый гроб.
И бронзовый Пушкин шляпу снял,
Смотря на свинцовый лоб.

А в это время у станка,
Быть может, и даже наверно,
Стальную гайку сверлила рука
Математически верно.

И полным голосом пел металл,
Что время его настало,
И как бы ни был один устал,
Другой начнет сначала.

День окончен. Завинчен. И тот,
Кто гайки сверлить привык,
Причесался, надел воротник,
Поглядел на часы. И вот
Кончился двадцать пятый год
И двадцать шестой возник.

1926

СОЛНЕЧНЫЕ КОНСЕРВЫ

Так как лета в Москве нету
И это очень скверно,
То хорошо бы иметь к обеду
Солнечные консервы.

И, хотя еще неизвестно,
Сколь они удобоваримы,
Все же я предлагаю трестам
Консервировать солнце Крыма.

В особых стеклянных гнездах,
В количестве тысяч калорий,
Будут спрессованы синий воздух
И золотое море.

Обойдутся на рубль дороже
Тем, кто не любит зноя,
Двести граммов лунной дрожи
На серебряной пене прибоя.

И на скромной московской даче,
Где нет ни гор, ни эха,
Где так часто небо плачет
Над теми, кто не уехал,

Где в июле топят голландку,
Тешась дровогореньем,
Встряхнем хорошенько банку
Перед употребленьем.

А вдруг сей продукт невкусен,
А вдруг эта банка шутит?
Но нет. Как зеленый усик,
Дрогнула ниточка ртути.

И, в сырой распорядок
Нашего дня вонзаясь,
В стеклянном сиянье радуг
Возник солнечный заяц.

И так ярок у шкафа
Столб золотых молекул,
Что, очевидно, шляпа
И впрямь нужна человеку.

И северные вещи
Полны уже южного гула.
И вот уже море плещет
Между столом и стулом...

Кончились консервы;
Ртуть в тот же миг упала.
Я говорила, во-первых,
Что банки одной мало.

А во-вторых и в-третьих,
Последние червонцы
Выброшу я не на ветер,
Выброшу я на солнце.

Ибо столько народа
Изводить ежегодно —
Со стороны природы
Просто неблагородно.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ О СЕРДЦЕ

Первое

Как тебе не встретиться со мною,
Если, убегая из-под ног,
Добела забрызганы луною
Полотенца черные дорог.

Пусть тебе не кажется помехой
То, что на предгорие легло,
Под луною отливая мехом,
Леса черно-бурое крыло.

То, что между мною и тобою
Ветер, морю дующий в упор,
Золотыми гребнями прибоя
Расчесал серебряный пробор.

Не беда, что, черные на синем,
Под луною жутко велики,
Белый шерстяной моток пустыни
Тянут пальцы пальмовой руки.

Что не нам гудят на перегоне,
Перед семафором впереди,
Четкие, как линии ладони,
Железнодорожные пути.

Через бездну сердце сердце тянет,
Сердца к сердцу путь предельно прост;
Пунктуальность звездных расписаний
И внезапность падающих звезд.

Второе

Мотор молчит. Станок шабашит.
Лобзик — и тот спит.
Простой сапог, поев каши,
Бывает весел и сыт.

Даже примус и тот мы лечим,
Есть для этого волоски.
А у сердца часто нечем
Заморить червячка тоски.

А человечьему сердцу плохо:
У него праздников нет,—
Стучит от вздоха до вздоха,
Даже в обед.

Из поколения в поколение,
Изредка только заныв,
Когда бывает сердцебиенье
Или разрыв.

У мозга ночью тихие волны —
Сонные чудеса,
А сердце работает в сутки полных
Двадцать четыре часа.

У глаз радости те или эти,
Зрелища эти и те,
А сердце — в полнейшей, заметьте,
Постоянно сидит темноте.

У носа — лесные ветки,
Запах травы степной,
А сердце заперто в клетке,
Хотя и грудной.

И все же, когда оно рядом с собою
Ощущает весну в упор,
Оно начинает давать перебои,
Как порою и лучший мотор.

Но даже минуты долю сотую
Помедлить не все вольны.
«Честное слово, я отработаю»,—
Говорит оно всем остальным.

Но в тот же миг остальные органы,
Становясь холоднее гирь,
Кричат, что они совершенно издерганы,
Особенно желчный пузырь.

И тогда сердце, до слез испугано,
Начинает работать опять:
Это же губительно, если вдруг оно
Тоже начнет отдыхать.

Это доказано. И оттого-то —
Тело ли, город, страна —
Сердце должно постоянно работать,
Даже во время сна.

1926

ПЕСНЯ

Как наденет майку голубую
Да расчешет кудри на пробор,
Так небось приворожит любую,—
Он на это скор.

Уж не знаю, по какой причине,
Видно, уродился он таков:
Светел, как серебряный полтинник
В шапке медяков.

На работу лих, на песню — тоже,
Закусить и выпить не дурак.
Только, вдруг, как будто занеможет:
Я, говорит, так...

— Что, говорю, сокол ты мой русский,
Вижу, мол, болит в тебе душа.
Али щи да каша не по вкусу?
Я ль не хороша?

Он как взглянет, сумрачный да темный,
Да в сердцах как головой тряхнет:
— Прямо будем говорить — никчемный
Женщины народ.

Думают, что кашами да щами
Человек бывает пьян да сыт.
Эх, благополучные мещане
Все вы, говорит.

Мне бы, говорит, коня в работу,
Маузер, говорит, или наган,
Вот когда бы я, говорит, в два счета
Был и сыт и пьян.

А теперь не то: стакан да блюдце,
Чай да сахар, тряпка да лоскут.
Негде человеку развернуться,
Да и не дают.

Всё, говорит, добро отдай да мало
За один денек такой, как наш...
Я уже и слушать перестала
Этакую блажь.

Но глядеть — гляжу: постель раскинет,
Зубы — сахар, волосы как шелк.
Светел, как серебряный полтинник,
Да какой в нем толк!

СЫНУ, КОТОРОГО НЕТ

(Колыбельная песня)

Ночь идет на мягких лапах,
Дышит, как медведь.
Мальчик создан, чтобы плакать,
Мама — чтобы петь.

Отгоню я сны плохие,
Чтобы спать могли
Мальчики мои родные,
Пальчики мои.

За окошком ветер млечный,
Лунная руда,
За окном пятиконечна
Синяя звезда.

Сын окрепнет, осмелеет,
Скажет: «Ухожу».
Красный галстучек на шею
Сыну повяжу.

Шибче барабанной дроби
Побегут года;
Приминая пыль дороги,
Лягут холода.

И прилаженную долю
Вскинет, как мешок,
Сероглазый комсомолец,
На губе пушок.

А пока, еще ни разу
Не ступив ногой,
Спи, мой мальчик сероглазый,
Зайчик дорогой...

Налепив цветные марки
Письмам на бока,
Сын мне снимки и подарки
Шлет издалека.

Заглянул в родную гавань
И уплыл опять.
Мальчик создан, чтобы плавать,
Мама — чтобы ждать.

Вновь пройдет годов немало...
Голова в снегу;
Сердце скажет: «Я устало,
Больше не могу».

Успокоится навеки,
И уже тогда
Весть помчится через реки,
Через города.

И, бледнея, как бумага,
Смутный, как печать,
Мальчик будет горько плакать,
Мама — будет спать.

А пока на самом деле
Все наоборот:
Мальчик спит в своей постели,
Мама же — поет.

И фланелевые брючки,
Первые свои,
Держат мальчишкины ручки,
Пальчики мои.

1926

ВАСЬКА СВИСТ В ПЕРЕПЛЕТЕ

1. Что происходило в пивной

Как ни странно, но вобла была
(И даже довольно долго)
Живой рыбой, которая плыла
Вниз по матушке по Волге.

А горох рос вдоль степных сел
И завитком каждым
Пил дождь, когда он шел,
А не то — умирал от жажды.

Непохожая жизнь у них,
И разно бы надо есть их,
А к пиву во всех пивных
Их подают вместе.

И вобла слушает — поют
О Волге, ее отчизне.
А горох смотрит — люди пьют,
Как сам он пил при жизни.

Воблу ест и горох жует
Васька Свист, молодец и хват.
Черные краги, в петлице «Добролет».
Во рту папираса «Дукат».

Вдруг гороховый стал ком
В горле у Васьки Свиста́:
В картузике с козырьком,
Картиночка, красота —

Вошла, как будто бы отдохнуть
(С нею никто не вошел),
И спокойно так говорит: «Кто-нибудь,
Вытрите мне этот стол».

«Кто-нибудь» в грязном фартуке стол обтер, —
Села она у стены.
Васька Свист глядит на нее в упор,
А она хоть бы хны.

На эстраду гитарный спец влез,
Дзинь-дзинькает так и так.
Разносят раков: деликатес, —
Сорок копеек рак.

Васька Свист на соседний стол глядит
И, опуган гитарной игрой,
Двух раков берет в кредит
(Один, между прочим, с икрой).

Васька Свист на вид хотя и прост,
Но он понимает людей.
Он берет рака за алый хвост
И, как розу, подносит ей.

Рвись, гитара, на тонкой ноте!
Васька Свист, любовь тая:
«Отчего ж, говорит, вы не пьете,
Гражданочка вы моя?»

И вот за столиком уже двое.
Ах, ручка — живой магнит.
Ах, картузик, зачем он так ловко скроен,
Зачем он так крепко спит?

И вобла, рыбы глаза сузив,
Слушает час подряд,
Что говорит шерстяной картузик
И что папироса «Дукат».

Картузик шепчет: «Решайся сразу.
Ты, видать, таков.
Вырезать стекло алмазом —
Пара пустяков.

Зашибешь, говорит, классно,
Кошелек готовь.
Ты, говорит, возьмешь, говорит, себе го-
ворит, кассу,
И, говорит, мою, говорит, любовь».

Звенит, рассыпается струнный лад,
Гороховый говорок.
Выходит за дверь папироса «Дукат»,
И рядом с ней козырек.

2. Что сказал милиционер своему начальнику

Нога шибко болит. За стул
Спасибо, товарищ начальник.
Стою это я на своем посту,
А пост у меня дальний.

Стою в порядке. Свисток в руке.
Происшествий нет. Луна тут.
(В эту пору в березняке
До чего соловьи поют!)

Вдруг вижу: идет с угла
(А я отродясь нё пил)
Женщина, в чем мать родила.
На голове кепи.

Годов примерно двадцати.
Ну, думаю, однако...
А она: «Яшенька, не свисти»,—
А я, как на грех, Яков.

Голос нежный. Глазища — вот.
Руку, товарищ начальник, жмет.
Девушка — первый сорт.
Эх, думаю, черт!

Делаю два шага,
Вдруг, слышу, стекло — звяк...
Бросил девку, схватил наган,
Эх, думаю, дурак!

Кинулся за дрова,
Здесь, думаю, где-нибудь.
Он — выстрел. Я — два.
Он мне в ногу. Я ему в грудь.

Дело его слабо.
Я же, хоть я и цел,
Виновен в том, что бабу
Я не предусмотрел.

3. Что сказал в больнице дежурный врач

Пульс сто двадцать.
Сердечная сумка задета.
Начнет задыхаться —
Впрыскивайте вот это.

Хоронить еще рано,
Лечить уже поздно.
Огнестрельная рана.
Положенье серьезно.

4. Что сказал перед смертью Васька Свист

Поглядела карим глазом:
«Ты, видать, таков:
Вырезать стекло алмазом —
Пара пустяков».

Что касается бокса —
Я, конечно, на ять...
Почему я разлегся,
Когда надо бежать?!

Потихоньку вылазьте,
Не споткнитесь, как я.
Дайте ручку на счастье,
Золотая моя.

Как ее имя?
Кто это?.. Стой!..
Восемь гривен
Я должен в пивной.

Крышка. Убили.
Главное — жжет.
В плохой ты, Василий,
Попал переплет...

5. Что было написано в газете

Ограбление склада (петит),
Обдуманное заранее.
Товар найден. Грабитель убит.
Милиционер ранен.

СЛУЧАЙ В ЗООПАРКЕ

Бывают дни, когда кукареку
И то звучит зловеще.
Бывают дни, когда с человеком
Случаются странные вещи.

Сижу на скамейке, смотрю на гравий,
Грустна по случаю денег,
И рассуждаю, что, кроме правил,
Должны же быть исключения.

Ведь существуют такие некто,
Которым везет на диво,
А у меня сегодня «Прожектор»,
А завтра — «Красная нива».

Я не спорю: прекрасный орган,
Конечно, и тот и этот,
Но все же я бы с восторгом
Отправилась вокруг света.

Хотя бы почтовой маркой,
Даже на Сахалин бы.
Вдруг в клетке кто-то каркнул:
«Здравствуйте, Вера Инбер».

Я вросла в землю, как столб,
И думаю: «Ловко!
Это какой-то не орел,
А радиоустановка».

А он: «Я ведь не тигр уссурийский
И не тибетский як;
Какая же, говорит, вы журналистка,
Если вас пугает пустяк».

«Нет, это я так, между прочим,
Дожди, говорю, надоело...»
А он: «У меня для вас очень
Интересное дело.

Времени у нас масса,
Все это мы устроим.
(Я мог бы вас угостить мясом,
Но, к сожаленью, оно сырое.)

Вы там хотели по почте
Куда-то такое царапать,
А я предлагаю вам вот что:
Летимте со мною на Запад—

На Вислу или на Марну,—
Ведь здесь я нищ и гол.
Поймите, что может быть бездарней,
Чем безработный орел!

Поймите: здесь глухо и немом,
Гибнет живой товар.
Поймите, на Западе я — эмблема,
А здесь я — экземпляр.

Не знаю, как другие звери,
Но всегда орлы и орлята
Предпочитали блеск империй
Диктатурам пролетариата.

Орел своим крылом резал
Воздух тугой и звонкий,
Когда еще Гай Юлий Цезарь
Пачкал свои пеленки.

Конечно, уже не то ныне,
Но еще не утратили сил
Ни Пилсудский, ни Муссолини,
Ни великий князь Кирилл.

Им еще нужен клеткот орлий,
Нужны орлиные гнезда.
Ведь не у всех же засели в горле
Пятиконечные звезды.

В Европе на каждой ветке
Нам уготован банкет.
Откройте же эту клетку».
Я сказала: «Конечно, нет...

Разговор мне надоел,
Объяснения излишни;
С вами — никаких дел,
Международный хищник.

Ко всем вашим словам
Присовокуплять надо ль,
Что типы, подобные вам,
Охотно едят падаль.

Ни на какой престол
Я вас сажать не берусь.
На вид — вы плохой орел,
Но в душе — вы хороший гусь.

Странно в аристократе
Наличие такого дефекта».
И я ушла... Кстати,
Мне нужно было в «Прожектор».

ОН ВЕЧНО ЗЕЛЕН

Кто знает, как, по какому плану
Создавалась земная гладь:
Тогда еще было слишком рано,
А теперь уже поздно знать.

Как жаль, что нам из глубин столетий
Не оставили даже крох
Доисторические дети
Географий своих эпох.

Когда плоскогорье Памира,
Желтое в голубом,
Быть может, было не «Крышей мира»,
А его, предположим, дном.

Когда в океане Сахарой
Колебала слоистый зной
Гренландия, что недаром
Называлась «Зеленой страной».

Но приказы идут: «Не все готово!
Тут стройся! Там рушь!»
И Гольфстрем отклоняется снова
В ледовитые бездны стуж.

И, пытаясь от этой стужи
Уберечь леса и поля,
Стягивает все туже
Свой умеренный пояс земля.

И все же стынет Европа,
Все глуше щебет лесной,
Все труднее лесные тропы
Оттаивают весной.

И, втаскивая салазки
В мае, например:
— Слыхали вы эти сказки? —
Крикнет пионер,—

Что люди и в самом деле,
Когда-то давно... ха-ха!..
Сбрасывали в апреле
Валенки и меха?

Но, и не снимая
Валенок и шуб,
Вдохнет он улыбку мая
Вместе со смехом губ.

И май, хоть и метелен,
Но на ощупь, на слух, на взгляд
Будет все так же зелен,
Как тысячи лет назад.

1927

НОЧЬ ПОД МОСКВОЙ

Там, где падали, травлей
Настигнуты, царские лоси,
Наша полночь оправлена
В черное золото сосен.

Подмосковная полночь
(Седая. Глухие огни в ней.)
Вычekanена, словно
Буква на старой гривне.

Старый, как лунь, поступью луночьею,
Сизый да синий,
Крадется вечер полуночи,
Пахнувший дымом.

Где-то у дальней сосны,
Под звон комариного лёта,
Горят лесные костры,
Торфяные болота.

Но так ли уж в полночь темно,
Как шушукает ветер старый?
Вот потекли из кино
Подмосковные пары.

А само-то кино состоит из помоста,
Щелей и тумана.
И смотрят небесные звезды
На звезды экрана.

Когда же замрет последняя часть
И блистанье экранных полотен
Полночи звездная часть
Равнодушно проглотит,—

Тогда-то по этим
По кочкам, по пням и по лужам
Зазвучат разговоры о свете,
Который нам нужен.

И тут-то, всех впереди,
Как борзая на волка,
В куртке, с ремнем на груди,
Ринется в бой комсомолка.

Скажет она с настоящей тревогой:
«Фонари — боевое задание.
Должно быть светло по дорогам,
Как в нашем сознание.

Мы победим окончательно, лишь
Внеся коррективы в природу.
Малярийный комар, гадюка и мышь
Не нужны трудовому народу».

Скажет и тронет рукою ремень,
Чтобы проверить: здесь ли.
И от этого голоса древняя темь
Просветлеет, словно от песни.

И звезды, вися в лесу,
Скажут в полночном холоде:
«Эта девушка, там, внизу,
Настоящее солнце в полдень».

* * *

Земля остывает. Исчезнет скоро
Животных пенистый пыл.
Его заменит холод мотора
И блеск алюминиевых крыл.

Вместо вола, чьи глазные пазы
Источали степную грусть,
Пройдет трактор, хоть и безглазый,
Но знающий все наизусть.

Вместо копыт, что бросали жарко
Брызги в лицо ветрам,
Резиношиновая марка
Оттиснет штампованный шрам.

Но наряду с пропеллера воем,
У которого все права,
Сохранится нечто вполне простое,
Древнее, как трава.

У него не в знании сила
(Вместо знания — нюх).
У него крылья из сухожилок
И под крыльями пух.

Он не выучен высшей школой.
Между точками по прямой,
Он просто — хохлатый голубь,
Летящий к себе домой.

Человек же теперь доволен,
Потому что равно учел
И поэтику птичьей воли,
И алгебру радиоволн.

1928

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНФЛИКТ

Через год ли, два ли
Или через век,
Свидимся едва ли,
Милый человек.

По различным тропам
Нас судьба ведет:
Ты — продукт Европы,
Я — наоборот.

У тебя завидный
Бритвенный прибор,
У тебя невиданной
Красоты прибор.

Вьешься вокруг да около,
Подымая пыль.
У тебя ль, у сокола,
Свой автомобиль.

У тебя ль, у молодца,
Загородный дом.
Солнечное золотце
Бегают по нем.

Позвонишь — и в горницу
Мчат во весь опор
Шелковая горничная,
Кожаный шофер.

Из-за каждой малости,
Из-за всех дверей.
Ты же им: «Пожалуйста,
Только поскорей».

И несут, не слушают,
Полно решето:
Тут тебе и кушанье,
Тут тебе и што.

А и крепку чарочку
Ты мне подаешь.
А и нежно за ручку
Ты меня берешь.

Погляжу на губы те,
На вино Абрау.
«Что ж вы не пригубите,
Meine liebe Frau?»

За весну немецкую,
Нежную весну!»
«Мне пора в Советскую,
Говорю, страну.

С ласковыми взорами,
В холе да в тепле,
Долго жить нездорово
На чужой земле.

По Европе бродишь, как
Призрак, взад-вперед,
У меня работишка,
Говорю, не ждет.

У меня угарище
Стало в голове,
У меня товарищи,
Говорю, в Москве».

И, услышав этакий
Деловой язык,
Как щегол на ветке,
Сокол мой поник.

Не сказал ни слова мне,
Обратился в бег,
Светский, образованный,
Любезный человек.

1929

Постепенно наступила
В мире тишина.
Спи спокойно,
Бесконечно милая
Моя величина.

1929

ВОЙНА И МИР

Здесь шли бои, здесь банды шли.
Качался на столбах
На каменные ландыши
Похожий телеграф.

«Товарищи, немедленно!
Товарищи, сюда!» —
Тянули из последнего
Степные провода.

И через срок немаленький
Летит ответ. И в нем:
«Пожалуйста, без паники,
Управимся — придем».

Ответу не поверили,
Но пала на ковыль
За легкой кавалерией
Несущаяся пыль.

И недруг уничтожен.
И у белого крыльца
Пасется конь стреноженный
Красного бойца...

Теперь на полустанке
Бои прошли, как дым.
И тучи-иностранки
Над топодем седым

Шумят листвою влажною,
Но тополь ни гугу
Про короткометражную
Бойцовую судьбу.

Но и сейчас по проводу,
Через поля и лес,
Летят слова по поводу,
А иногда и без.

До повода ли! Где уж тут!
Когда, про все забыв,
Своей подшефной девушке
Шлет юноша призыв.

«Любимая, немедленно!
Любимая, сюда!» —
Лепечут из последнего
Степные провода.

И через срок немаленький
Осьмушечка листа:
«Пожалуйста, без паники,
Сейчас я занята.

Я в «легкой кавалерии»,
Управлюсь — прикачу». —
Сначала не поверил он.
Но что это? Но — чу!

Не пронесется мимо ли?
Но смех... Но блик лица...
И вот она, любимая,
У белого крыльца.

Удары сердца чаще
В такие вечера.
И тополь над сидящими
Качает до утра

Папайкой серебристою,
Как старый командир,
Который перелистывает
Вновь «Войну и мир».

1930

ЯДОВИТЫЙ ГАЗ

Любочка, Любаша —
Это гордость наша,
Из себя картиночка
Притом.

Любочка, Любуся
Нашла себе гуся,
Желтые ботиночки
На нем.

У Любуси, Любки
Вздернутые губки, —
Лучше не рассказывай
При нас.

У Любуси, Любки,
Лучше не рассказывай,
Шарфик очень газовый,
Ядовитый газ.

Ходит по аллежке,
Бусины на шейке,
Хоть возьми да задуши.
«Эх, Любовь Петровна,
Это безусловно,
До чего вы хороши!»

Только слышим как-то,
Председатель жакта
Подарил ей мыло
«Лориган».
И за это мыло
Что ей только было!
Гусь-то оказался хулиган.

Сел он с нею рядом,
Хвать,— и пали градом
Бусины
Любусины
Под скамью.
Сам же он за спинкой
Заколотся финкой
До прихода гепеу.

И у крематория
Председатель Зорин
Произнес такую речь:
«Жалко, жалко, говорит, до дрожи,
Эдакую пару молодежи,
Словно мусор, бросить в печь.

Если человекозаготовки
Нам нужны,
Без них — мы никуды,
То, говорит, любовь без целеустановки —
Это как квартира без воды.

Парень мог учиться. Был не стар еще.
Люба эта — чем не счетовод.
А теперь, вы видите, товарищи,
Все наоборот.

Жалко, говорит, нам жалко
Нашей милой Любки,
Находящейся в гробу.
Но, говорит, подобные поступки
Я, говорит, одобрить не могу».

Выслушали мы. И загрустили.
Прав оратор. Нечем крыть.
Эх, Любовь Петровна,
Это безусловно,
Вам бы следовало жить!

1930

РАЗЛУКА

Все кончается вечером и вокзалом
Небольшой железнодорожной ветки.
Да и жить всего-то уж мне осталось
Две каких-нибудь пятилетки.

Нет ни мудрости, ни таланта,
Когда тело наше дряхлеет,
Когда впавшего в детство Канта
Кормят с ложки его лакеи.

Но никогда еще это жало
Увяданий, болей и вздохов
Не было так, я бы сказала,
Нейтрализовано эпохой.

Ведь это какая эпоха! Ведь
Это натиск такого племени,
Что не только что умереть,
Пообедать — и то нет времени.

Это утро страны. Столько дела кругом,
Что немислимо скрыться в тень.
Мы, конечно, умрем,
Но это потом,
Как-нибудь в выходной день.

Все окончится полыханьем
Дыма над необычной крышей.
Все окончится строгим зданьем,
Как вокзалом. Но только тише.

А там, за оградой сада,
Будет жизнь, голоса и стуки...
Милый, сердце мое, не надо
Так страшиться этой разлуки.

1930

ОПЫТ АНАЛИЗА РАЗЛУКИ

I

Со временем все тяжелое вымрет.
Все, что грохало глухо,
Что огнем и металлом
Угнетало
Наши года.
Все это так. Но вот, например, разлука.
Вымрет она или нет? И когда?

Наш теперешний поезд, в тишине зеленея,
Сохранится только в музее,
Экспонат
Для ребят.
И парнишка тридцатого века скажет:
«Продемонстрируйте, ну-ка,
Как такая тяжелая штука
Ходила вперед и назад».

Уверю тебя, что ходила. И даже как быстро!
Прощаньем себя не насытив,
Не успеешь опомниться, уж она (то есть он)
далеко.

А она (то есть я): «До свиданья. Пишите».
И сыплются искры,
И туманцем стекло
Затекло.

Ну, а в будущем? В невесомом вагоне,
В беспыльном качанье лонгшеза,
По аркам и сваям
Летящем с быстротою волчка,
Как *тогда* с расставаньем, которое, черт его знает,
Тяжелее железа
И черней чугуна.

Нет, конечно,
Все это не вечно,
Эти муки
Разлуки.
Пространство будет взнуздано туго.
И после работы, в сумерки, часиков в шесть
Мы по радио ¹ будем являться друг другу.
Это будет. Это есть.

И голубоватый, из мельчайших штрихов и
уколов,
Издающий магический шорох и треск,
На пластинке возникнет и голос знакомый.
И улыбка. И жест.

И даже (предвидеть и это надо),
Телефонные нравы исчезнут едва ли,
Возможно, что я воскликну с досадой:
«Гражданка, вы нас прервали!»
И гражданка, где-нибудь на Таити,
Ответит: «Говорите».

2

Нет, разлука серьезна. Ее социальные нервы
Уходят в прошлое. Сущность ее раскрыв,
Мы найдем, что она распадается: на ревность,
во-первых,
И дорожный тариф,
Во-вторых.

¹ Когда писалось это стихотворение, еще не было телевидения.

Дорожный тариф... Не пойдем это слишком
вulgарно,
Что вот, мол, плацкарты, и скорость,
И места перепутал кассир.
Нет, тариф — это шар нам
Земной подчиненный. Это степень, в которой
Человек покори́л себе мир.

Давно, на заре человечества, во времена Одиссея,
Который прощался с Итакой,
Было в накладные расходы разлук внесено
Неведенье суши и водных бассейнов,
Отсутствие денежных знаков
(Торговать было нечем),
Расставались без надежды на встречу,
На письмо.

Но с веками моря оживают: галеры, фелуки,
Торговый полощется флаг там,
И республика хищных купцов, Венеция,
Выступает как фактор,
Решающий судьбы разлуки.

Еще криво и косо,
Но летят уже вести
Вместе
С товаром.
Золотой уже звбнок,
Уже говорят «до свиданья» вместо «прощай».
И купец отмечает в отделе расходов:
Синьоре такой-то в подарок,
С матросом,
Один негритенок
И один попугай.

Усложняется быт. Человек
Феодальное детство свое перерос.
Девятнадцатый век
Порождает холодное племя колес.
В языке появляется новое слово
«Вокзал». Шипит паровая струя.

Но в разлуке не меньше горя, чем
Раньше. И ящик почтовый
Начинает глотать, не жуя,
Ежедневную порцию горечи.

Приходит время расти и расти городам.
И на выставку в Лондоне,
В парк,
С его вереницей кавалеров в цилиндрах и дам
В турнюрах и блондах
(Толпа ротозеев),
Является некий немец по фамилии Маркс
Поглядеть на прибор Фарадея.
Два подковообразных магнита,
Между ними, сокрытый
В медной обмотке,
Трепет молний. И пока еще очень короткий,
Но навек заарканенный
Громовый удар.
И сыплются искры,
Из которых когда-нибудь
Возникнет социальный пожар.

Атмосфера сгущается необычайно.
В Европе финансовых кризисов гул.
Америке душно от золота в слитках,
Электричества хватает с избытком
На электрочайник
И электростул.

И пролетарий, в пальтишке замыганном,
В третьем классе, на палубе считает гроши.
И разлука превращается в *классовый*
признак.

Ревет
Пароход.
Наступает минута.
И кто-то
Кому-то:
«До свиданья, товарищ! Если будет работа,—
Пиши».

Товарищи, эпоху любую раскройте,
 Еще никогда так
 Сердца не сжимались от боли,
 Но сжатые сердечных аорт —
 Всего лишь машинный придаток,
 Не более,
 В Детройте,
 Где Форд.

Нет, конечно,
 Все это не вечно,
 Эти муки
 Разлуки.
 В бесклассовом обществе
 Век человеческий будет продолжен,
 Сникнет кривая болезней
 И ранних смертей,
 И разлука, этот голод сердца, исчезнет,
 Как бывший голод Поволжья
 Или голод Голодных степей.

И когда-нибудь, в две тысячи сорок четвертом,
 Коммунар, седой, как весенний ковыль,
 Скажет: «Дед мой (теперь уже мертв он)
 Был свидетелем старой Москвы.
 Тогда, рассказывал он, с коммунарами было туго,
 Да иначе и быть не могло.
 Каждый старьем еще был исковеркан
 И жил в одиночку, соседа тесня.
 Еще говорили «Мой потолок»,
 «Моя этажерка»,
 И влюбленные звали друг друга:
 «Мой» и «Моя».

И даже однажды, всем этим задушен,
 Покончил с собою огромный поэт,
 Который был еще очень нужен.
 Так говорил мой дед».

Что касается нас, то и мы сами,
Над временем лишь немного привстав,
Увидим, прищурясь от яркого света,
Как рухнет разлуки старинное гетто,
И это
Уже навсегда.

Разлука останется только в романе, в рассказе.
Но, для того чтобы не разлучались
Влюбленные и друзья,
За новые формы счастья, чтобы создать их,
Должен бороться и забойщик в Донбассе,
И механик в колхозе, и писатель.
В частности — я.

1930

РОДОНАЧАЛЬНИЦА

Негаданно, нежданно
Берусь за твой портрет,
Далекая гражданочка
Одиннадцати лет.
Идет она по улице,—
Не улица, положим,
Тупичок, тупик.
За спиной сутулится
Из телячьей кожи
Ранец, полный книг.
Нежно облака опущены,
Дождик брызжет,
Круглый, как слеза.
На лице веснушчатом
Совершенно рыжие,
Вострые глаза.
Перепалка галочья,
Мартовские дали,
Южные края.
Рыжая гражданочка,
С перьями в пенале,—
Ясно, это я.
Я невероятно
Счастлива. Шутка ли:
В первый раз
Я на конке первую

Женщину-кондуктора
Видела сейчас.
Значит, это ложь,
Что только лишь мужчина
Для *всего* рожден.
И на тротуаре,
При участъе ранца,
Я изобразила
Нечто вроде танца
Под дождем...
Ранец. Танец. Дождь плеснул.
Станция по соседству.
Какое пустое, по существу,
Воспоминание детства.
Но и сейчас, годами шурша,
Мила мне эта кондукторша.
Она, сведя деловую бровь,
Властвует над трамваями.
Она, как первая любовь,
Просто незабываема.
Я гляжу на нее и думаю:
Как этот путь велик, —
От стряпни, от печной заслонки,
От кондукторши старой конки
До делегатки во ВЦИК.
О моя необычная муза,
Кондукторша детских лет!
В трамваях всего Союза
Я беру у тебя билет.
Я тебе улыбаюсь. Но ты
Не видишь из-за тесноты.

1931

СТАРОСТЬ

Еще жизнь в разгаре. Еще бодрость такая.
Ни одышки, ни дрожи в руке.
И все же ты стареешь, моя дорогая,—
Это я говорю о себе.

И этому горю нельзя помочь;
Юность была — и юности нет.
У меня уже имя, у меня уже дочь
Восемнадцать с лишним лет.

Уже седой ветерок подул,
Вестник далеких отплытий.
Уже мне иногда уступают стул:
«Сядьте, мол, отдохните».

И случается, я отдыхаю. Что ж,
Пусть постоит за меня молодежь!..
Естественное явление,
Очень грустное тем не менее.

Особенно грустно бывает весной,
Когда на закате шел дождь проливной,
Когда он щебетал, заливался и цокал
И после него мостовая блестит.

Когда распускается тополь,
Когда ты
Готов обратиться с прошеньем во ВЦИК
Об отмене весенних закатов.

Но я обойдусь безо всяких амнистий.
Я, почти без сердечных болей,
Слежу, как распускаются листья
У молодых тополей.

Как бы сердце мое ни болело,
Я за него отвечать не буду;
Старость — это личное дело
Моих кровеносных сосудов.

Не в них суть. Не они важны.
Важно, чтоб не пропала зря
Ни одна грусть, ни одна зоря
В хозяйстве моей страны.

И мы, пока в нас сила есть еще,
По закону контрастов, что ли,
Мы будем писать превосходные вещи,
Лишенные тени боли.

И ты, строфа моя, радостно лейся ты,
Если что велико, так это
Коэффициент полезного действия
Грусти на душу поэта.

Ты стареешь, мое поколение? Пусть.
По чертежам и эскизам
Можно заставить даже грусть
Работать на социализм.

1931

ХОЧУ В МОСКВУ!

Хочу в Москву!.. Великолепный город.
Мне никогда еще так мил и дорог
Он не был, как сейчас.
Как хорошо, что я расстанусь вскоре
С тобой, железнодорожный санаторий,
С тобой, Кавказ.

И потекут в обратном распорядке
Плоды и люди, станции, посадки,
Деревьев желтизна,
Дождя подготовительная доза,
Последний тополь, первая береза
И, наконец, сосна.

Вот-вот Москва. Но «минеральный» поезд
Ползет себе, ничуть не беспокоясь,
Как будто и не рад.
Сидеть на месте просто невозможно.
Вокзал. Перрон. «Носильщик, осторожно,
Здесь виноград».

Хочу в Москву!.. Меня тут истомило
Окружье гор, то синих, как чернила,
То серых, как асбест.
Хочу в иную, плоскостную зону,
К себе домой, к родному телефону,
Во Мхатовский проезд.

С Москвою расставались мы по-братски,
Но страсть растет в разлуке. И, как
Чайковский,

Я ей шепчу влюбленные слова:
«В семнадцать лет вы расцвели прелестно,
Неподражаемо. И это вам известно,
Не правда ли, Москва?»

Октябрь... Любимейшее время года,
Дожди, туман, прекрасная погода,—
Писать, писать, писать.
Машинка, мой помощник и подруга,
Мы славно отдохнули друг от друга,
Теперь начнем опять.

И потекут в привычном распорядке
Друзья и книги, гранки, опечатки,
Звонки, звонки, звонки.
И смутные, как в хаосе творенья,
Еще бесперого стихотворенья
Худые позвонки.

Повестка, заседание, поздний ужин.
Опять звонок (не тот, который нужен),
Трамваи при луне.
Все то, что в сердце впаяно и впето,
Все то, что составляет жизнь поэта,
Живущего в Москве.

1932

* * *

Обидно, что маленький птичий скелет
Прочнее, чем наш костяк.
Ворон живет полтысячи лет,
А человек шестьдесят.

Хорошо тебе, ворон. Столетний пяток
На земле ты летун-молодец.
А у нас, у людей, понимаешь, браток,
Раз-другой летанул и — конец.

Ворон, дружище, живи на здоровье,
Если тебе не скучно.
Главное — это не проворонить
Жизни самую сущность.

Главное — это не времени гладь,
Не этим наш мир хорош.
Главное — это... да что толковать,
Ты все равно не поймешь.

Жизнь коротка. Можно плакать, не плакать,
К сожалению, это так.
Но ощущать-то можно двояко
Сей невеселый факт.

1932

В ПОЛГОЛОСА

К годовщине Октября

I

Даже для самого красного слова
Не пытаюсь притворяться я.
Наша память — это суровая
Неподкупная организация.
Ведет учет без пера и чернила
Всему, что случилось когда-либо.
Помнит она только то, что было,
А не то, что желали бы.
Например, я хотела бы помнить о том,
Как я в Октябре защищала ревком
С револьвером в простреленной кожанке.
А я, о диван опершись локотком,
Писала стихи на Остоженке.
Я писала лирически-нежным пером,
Я дышала спокойно и ровненько,
А вокруг, отбиваясь от юнкеров,
Исходили боями Хамовники.
Я хотела бы помнить пороховой
Дым на улице Моховой
Возле университета.
Чуя смертный полет свинца,
Как боец и жена бойца,
Драться за власть Советов,

Невзирая на хлипкий рост,
 Ходить в разведку на Крымский мост.
 Но память твердит об одном лишь:
 «Ты этого, друг мой, не помнишь».
 История шла по стране напрямик,
 Был полон значения каждый миг,
 Такое не повторится.
 А я узнала об этом из книг
 Или со слов очевидцев.
 А я утопала во дни Октября
 В словесном шитье и кройке.
 Ну что же! Ошибка не только моя,
 Но моей социальной прослойки.
 Если б можно было, то я
 Перекроила бы наново
 Многие дни своего бытия
 Закономерно и планоно.
 Чтоб раз навсегда пробиться сквозь это
 Напластование фактов,
 Я бы дала объявление в газету,
 Если б позволил редактор:
 «Меняю уютное, светлое, теплое,
 Гармоничное прошлое с ванной —
 На тесный подвал с золотушными
 стеклами,
 На соседство гармоники пьяной.
 Меняю. Душевною болью плачú».

Но каждый, конечно, в ответ: «Не хочу».

2

Пафос мне несвойствен по природе.
 Буря жестов. Взмехренные волосы.
 У меня, по-моему, выходит
 Лучше то, что говорю вполголоса.
 И сейчас средь песенного цикла,
 Вызванного пафосом торжеств,
 К сожаленью, слаб, как я привыкла,
 Голос мой. И не широк мой жест.
 Но пускай не громко, неужели

Не скажу о том, что, может быть,
Есть и у поэта достижения,
О которых стоит говорить?
Он (поэт), который с неохотой
Оторвался от былой главы,
Он, который в дни переворота
С революциями был на «вы»,
Он, который, вырванный с размаху
Из своих ненарушимых стен,
Был подвержен страху смерти, страху
Жизни, страху перемен,—
Он теперь, хоть он уже не молод
И осталась жизни только треть,
Меньше ощущает жизни холод
И не так боится умереть.
И ему почти уже неведом
Страх перед последнею межой.
Это есть поэтова победа
Над своей старинною душой.
И, живя и ярче и полнее,
Тот, о ком сейчас я говорю,
Это лучшее, что он имеет,
Отдает сегодня Октябрю.

1932

40 ЛЕТ

*(К сорокалетию литературной деятельности
А. М. Горького)*

Сорок лет.... Огромнейший отрезок.
Колоссальный срок.
Ветер с Волги — он бывает резок
И жесток.

Грузчики некормлены, раздеты,
Непосилен груз.
Горьковские «университеты» —
Это крепкий вуз.

Но с тех пор уже неотделимо,
Неразрывно вплетены
Жизнь и книги Горького Максима
В летопись страны.

Сорок лет... Без малого полвека.
Самая пора
Чествовать большого человека,
Мощь его пера.

Он из тех, кому не страшен даже
И потомков строгий суд.
Про кого не только что расскажут,
Но и песни пропоют.

1932

СЕЛЬВИНСКОМУ

Много ли шуб на свете,
Не проеденных молью?
Много ли дружб на свете,
Не омраченных болью?

Много ли расставаний,
Чтобы примерно с год бы
Всё не переставали
Помнить того, кто отбыл?

Мы же, хоть и не ищем
Встреч иногда по году,
Чуем всегда, дружище,
Дружескую погоду.

Сердца температуры
Наши бывают схожи,
Хоть и в литературе
Мы не одно и то же.

1932

МИНУТА СЛАБОСТИ

Земли, реки, моря повернули по-своему,
На природу нажали со всех сторон.
Только область одну не совсем освоили,
Область сердца, ничтожный район.

Не желает. Не хочет. Не слышит. Не слушает.
Бьется чаще, чем нужно, раз в пять.
Я ему говорю: «Понимаешь ли,—
Чушь это».
А оно: «Не хочу понимать».

«Я прошу тебя раз навсегда это бросить.
Я тебя умоляю: не мучь.
Я свезу тебя в лес, в подмосковную осень,
В колыхание листьев и туч.

Поглядим на закат... И, в конечном итоге,
Что нам делать, вернемся назад.
Там, куда тебя тянет, по Курской дороге,
Нас с тобою и знать не хотят.

Ну, а впрочем, боли до последнего вздоха,
Изнывай от любой чепухи,
Потому что, когда нам как следует плохо,—
Мы хорошие пишем стихи».

1932

СЛАВНЫЙ ГОРОД МУРОМ

Ах ты, новая буза,
Ах вы, карие глаза
С золотым прищуром!
Не идет из головы
Близлежащий от Москвы
Город Муром.

Там былинный молодец
Много покори́л сердец
Силой стойкой.
Там командует один
Мне знакомый гражданин
Новостройкой.

Все уладь, за всем следи...
Не обедает поди
Золотой мой,
Устает в течение дня,
И на сердце у меня
Неспокойно.

Солнце стынет вдалеке,
Подмерзает на Оке
Синяя водица.
Поддувает ветерок,

Поддевай же свитерок,
Чтоб не простудиться.

Впрочем, я тебе опять
Не хочу надоедать
Всякой чертовщиной.
Знаешь сам, как надо жить,
Да и мне ль тебя учить,
Беспартийной?

Но, конечно, тяжело,
Когда спешное письмо
В Муром, точно в Азию,
Едет несколько недель.
Дорогой Наркомпочтель,
Это безобразие!

И однако, несмотря
На такие фортеля,
На печали эти,
Если уж на то пошло,—
До чего же хорошо
Жить на этом свете!

1932

ПЕРВОЕ МАЯ

Наилучшее солнце,
Без тумана и ветра,
Атмосфера
В шестьдесят километров
Вышиной,
Не сырая, не серая,
А голубая,—
Это Первое мая
Над Москвой.
Бродит тополь зеленый
От Басманной до Бронной,
И в столетних морщинах
Кремлевской стены
Появляется перворожденная травка,
Стопроцентная явка
Весны.
Что касается птиц, то... а шум-то, а крик-то!
Из тропических стран, из Египта
Они,
Возвратясь, предъявляют
Бульварам и рощам
Ордера на жилплощадь.
От птичьих РУНИ¹.

¹ РУНИ — районное управление недвижимым имуществом.

Впрочем, времени с ними терять мы не будем,
Со скворцами и солнцем,
Упавшим в траву.
Нам гораздо важнее
Первомайские люди,
Наводнившие город Москву.
От Басманной до Бронной
Полыхают знамена,
И, сжимая ручонкою
Красный флажок,
У отца на плече проплывает удалый
Годовалый
Большевичок.
Голубыми глазами
Он глядит, не мигая,
На огромные цифры 4 и 5.
Парень празднует первое Первое мая,—
Это надо понять.
Парень будет расти,
Парень на ноги встанет,
И когда ему минет четыре и пять,
Без сомнения, он сформулирует этак:
Хорошо пятилеткам
В стране пятилеток
Праздник Первого мая встречать.

1932

НЕОКОНЧЕННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Чего ты хочешь от меня, соната?

(«Русские ночи» Одоевского)

Он бурно шел по воздуху, как лев.
Густая грива. Лоб огромен.
Мой громкоговоритель, обомлев,
Мне доложил: «Идет Бетховен».

И рупора холодная гортань
Дохла, как живое тело.
И я хотела крикнуть: «Перестань»,—
Но не успела.

Уже вошла и захватила власть
Гармония. Уже каким-то чудом
Она проникла в сердце и оттуда
Звездой по пальцам растеклась.

И я, как птица, в час, когда ветра
Ее несут комком простого пуха,
Осталась я, писатель, без пера.

Как в «Гамлете» Гонзаго-королю,
Мне влили яд в доверчивое ухо,
И я сама себя не узнаю.

Что за мелодия! Какое разлито
В ней торжество над сердцем побежденным!
Подобным образом, подобным тоном
Со мной еще не говорил никто.

Какая пытка нежностью! Ведь я,
Мне кажется, ни в чем не виновата,
Чего ж ты хочешь от меня, соната?
Ты, как судья,—

Хотя и необычным, но ключом
Дверь отворив, не видимую глазом,
Ты каждой паузой и каждой фразой
Допытываешься... о чем?

1933

ПЕРЕУЛОК МОЕГО ИМЕНИ

I

Я вижу их, этот ряд
Улиц нашей столицы.
С днями великих дат
Связаны их таблицы.

Я говорю о нем,
Выбранном наудачу,
Скверике молодом,
Подстриженном по-ребячьи.

Он с важностью бородатой
Столетнего бульвара
Носит имя Марата,
Французского коммунара.

Подумают: вот те на,
Что юмором и сатирою
Лучшие имена
Я, мол, дискредитирую.

Это вы зря подумали,
Это уж слишком строго вы;
Я просто спасаюсь юмором,
Когда я до слез растрогана.

Когда так дорого мне,
При взгляде на эти меты,
Что есть среди них поэты
С Маратами наравне.

2

Как бы ни мечтать об этом чуде,
Как бы ни стараться и ни силиться,
Никогда, увы, тебя не будет,
Улица,
Моя однофамилица.

Твой асфальт с зеркальными протоками
Не запомнят даже старожилы,
Ибо я тебя, моя широкая,
Честно говорю, не заслужила.

Но на юге, там, где жарковато,
Где соленые ветра с Босфора
Овевают хлебный элеватор,
В городе, в котором по сю пору

Подворотен мраморные дула
Помнят имена богатых греков,
Есть один приморский переулочек
С мостовою каменного века.

Там теперь, вдыхая синий воздух
Над обрыва желтою громадой,
Детские дома висят, как гнезда,
За оградами
Из винограда.

Зацвели там молодые тополи,
Встряхивая шелковою гривой.
Маленькие тапочки
Затопали,
Трусики запрыгали
С обрыва.

Это он, столь близкий мне по духу,
Это он — мой будущий читатель,
Чье полумладенческое ухо
Серебрится персиковым пухом.

Как и он, я знаю эту местность,
Знаю все туземные проулки,
Ибо я, да будет всем известно,
Родилась в том самом переулке.

В нем жила вторично много позже,
Чуть не в девятнадцатом году я,
И теперь опять же на него же,
Честно говорю, я претендую.

Он так мал, по нем так редко ходят,
Он далек от центра и трамвая.
Он невесел при плохой погоде,
У него кривая мостовая.

Главное же в том, что новым словом
Он никак не переименован,
Носит он фамилию, с которой
Связаны банкирские конторы.

Имя коммерсанта из Пирея
Носит он, как носят эполеты.
Разве это звонче и бодрее
Имени советского поэта?

В этом смысле пафос мой отчасти
Я прошу рассматривать как просьбу.
Я прошу у тех, кто в этом властен,
Чтоб мое желание сбылось бы.

Чтоб примерно лет через пятнадцать,
Вслед за мной подвергшись перестройке.
Именем моим бы называться
Начал переулок не простой бы,

А просторный,
Радующий взор бы,
Крытый перламутровым асфальтом,
Где бы наши собственные форды
Запевали юношеским альтом.

Где бы листья тополя чертили
Солнечные эллипсы и ромбы.
Чтобы озабоченный партиец,
Проходя здесь, посветлел лицом бы.

Улыбнулся в общем бы и целом
И подумал: «Здесь всегда легко мне».
И при этом песню бы запел он,
Автора которой он не помнил.

1933

КНИГА И СЕРДЦЕ

Это я о вас, ребята,
Тех, что говорят:
«Дай-ка почитать что-либо»,—
И берут из рук завбиба
Небольшой формат.

И, держа заглавьем к сердцу
Малые тома,
Замечательным закатом
Вы расходитесь, ребята,
По своим домам.

Тихий вечер, скоро восемь.
Друг, придя домой,
Ты раскроешь наудачу
Книгу, ставшую горячей
Под твоей рукой.

Тихий вечер, скоро восемь.
Завтра выходной.

И под лампою настольной
В пятьдесят свечей
Вспыхнут синие, как порох,
Горные хребты, в которых
Гнезда басмачей.

Мчатся красные отряды,—
Искры от подков.
Вот боец метнул гранату
За испанскую Гренаду,
За родной Тамбов.

Город Киев замерзает:
Стужа. Снег. Январь.
Но спешат к нему на помощь
Комсомольцы молодчаги.
Павел их ведет Корчагин.
Он у них главарь.

Книг любимые герои,
Круг знакомых лиц.
Ты, читатель, с ними спаян.
На тебя герой Чапаев
Смотрит со страниц.

И об этом всем, товарищ,
За главой главу,
Ты читаешь в звездный вечер,
Шевеля, как теплый ветер,
Книжную листву.

Наполняется полночный
Город тишиной.
Ты же все читаешь, друже;
Ночь просторна. И к тому же
Завтра выходной.

Пред тобой проходят пашни,
Села, города.
Ты бормочешь: «Вот спасибо.
Благодарен я завбибу.
Книга — хоть куда!»

Ты на стройке, друг мой милый
(Кто — не назову),
Книжечку ты держишь, крепко,
Заложив сосновой щепкой
Нужную главу.

Ты кладешь заглавьем к сердцу
Книжечку на грудь,
В каждое вникаешь слово,
И читателя такого
Стыдно обмануть.

Это, говорю себе я,
Нам страшней всего.
Книга, говорю себе я,
Не должна быть холоднее
Сердца твоего:

Чтоб не сердце грело книгу,
А она его.

1934

ВЕСНА У НАС ВО ДВОРЕ

Красавицей и модницей
В жакетке шерстяной —
Домашнею работницей
Пленился я одной.

Пойду в распределитель,
Скажу, что я влюблен.
Мне счастье отпустите
На розовый талон.

Товарищи, скажу я,
Чтоб без очередей
Десяток поцелуев
Мне был, как у людей.

Скажу я так сурово
Об этом потому,
Что сорта никакого
Второго не возьму.

Что как угодно драться я,
Товарищи, готов
За в корне ликвидацию
Пониженных сортов...

Сиреневою веткой
Махая на меня,
Сидит в цветной жакетке
Красавица моя.

Но все же кто же именно —
Об этом ни гугу.
Назвать ее по имени,
Простите, не могу.

А может, и не надо
(Я тем и знаменит).
Вечерняя прохлада
Мне струны серебрит.

А дальше, разумеется,
Мечтай — кому не лень.
У каждой ведь имеется
Жакетка и сирень.

И каждой пусть представится
В домашней тишине:
«Ведь это я красавица,
Ведь это обо мне».

1934

ВЕСНА В САМАРКАНДЕ

Еще в домах горит сандал¹,
Еще урюк не зацвёл,
И спит, как зимний виноград,
Моя Зейнаб.

Над Самаркандом дышит ночь,
Еще почти не рассвело,
А мне все кажется — светло,
И я не сплю.

Над Самаркандом дышит март,
А мне все кажется — июль,
И зной и соловей, буль-буль,
Мне кажется, поэт.

Я улыбаюсь, я брожу.
Зейнаб проснется — расскажу,
Какой вчера был разговор
В моей семье.

Как мать сказала мне: «Беда,
Она уже не молода,
Ей скоро восемнадцать лет,
Твоей Зейнаб.

¹ С а н д а л — приспособление для обогрева жилища.

Не лучше ли, мой милый сын,—
Ведь ты же у меня один,—
Расцвет двенадцатой весны
Твоей жены?

И я берусь, лишь захоти,
Такой цветок тебе найти,
Какого краше не имел
И сам Тимур.

Цветок в тени чачвана¹ рос,
И будешь видеть только ты
Глаза и губы, ярче роз,
И рост груди.

А я, старуха, припасу
Шелков и пуха вороха,
Чтобы красавица сноха
Жила в шелку.

И это истина, как то,
Что в очаге дымит огонь,
Как то, что во дворе арык
Не перестанет течь».

Я матери ответил: «Нет,
Жену такую не возьму.
Пускай походит в ФЗУ
В свои двенадцать лет.

Когда ж ей минет тридцать пять,
Чтоб не была, как ты, о мать,
Старухой, скорбной от смертей
Девятерых детей.

А что касается шелков,
То их в подарок не взяла б
Мотальной фабрики «Худжум»
Ударница Зейнаб.

¹ Ч а ч в а н — густая сетка из конского волоса, закрывающая лицо.

И это истина, как то,
Что источать горчайший дым
Из очагов не будет тот,
Где сделан дымоход.

И это истина, как то,
Что отмирает твой арык,
Затем что в городе вот-вот
Пройдет водопровод.

Как то, что в первый выходной
Я назову своей женой
Зейнаб, которую люблю,
Мне кажется, навек.

Мы дети с ней одной страны:
Она узбечка, я узбек,
Инструктор фабрики «Худжум»,
Партийный человек».

1934

ВОСПОМИНАНИЕ ОБ УЗБЕКИСТАНЕ

Я узнала апрельскую прелесть твоей
Остроконечной листы.
Цветущие руки твоих ветвей
Касались моей головы.

Твои арыки поили меня,
Мне запомнилась их вода,
Средняя Азия, сердце мое
Не забудет тебя никогда.

Спроси меня, я знаю теперь,
Как, умно обходя углы,
Работает твой шелковичный червь,
Двоюродный брат пчелы.

Он, этот подлинно скромный герой,
Не бросает (была не была),
Как это делаем мы порой,
Задуманные дела.

И рождается кокон, прекрасный плод
Терпения и труда.
Средняя Азия, сердце мое
Не забудет тебя никогда.

Я видела твой виноградный рай.
Когда наступает срок,
Весной говорят ему: «Друг, вставай»,
И он отвечает: «Хоп»¹.

Я видела девушку: маковый рот,
Синеватые косы, пробор.
Эту девушку только вчера Грензавод
Посадил за научный прибор.

Что за ресницы! Они таковы,
Что мешают смотреть в микроскоп.
Я ей сказала: «Привет из Москвы».
И она мне ответила: «Хоп».

И длинные брови сомкнула опять,
Потому что была занята.
Средняя Азия, сердце мое
Не забудет тебя никогда.

Пусть легла между нами разлука-змея,
Ты мне дорога вдвойне.
Средняя Азия, карта твоя
Висит на моей стене.

Солнце и говор в далеких рядах
Колхозников и горожан.
По цветущей долине в плодовых садах
Протекает река Зеравшан.

Я слышу, звенит колокольцем верблюдов
Через равные доли секунд:
То пушистое золото — хлопок везут
На далекий приемочный пункт.

Чем дальше, тем больше полуденный зной,
Тем жарче в полях тишина.
У афганской границы стоит часовой,—
Там кончается наша страна.

¹ Х о п — хорошо, отлично (узбек.).

Там кончается мирная песня моя,
Жаркая песня труда.
Средняя Азия, сердце мое
Не забудет тебя никогда.

1934

МОСКВА В НОРВЕГИИ

Облаков колорит
О зиме говорит.
Пахнет влагой и хвоей,
Как у нас под Москвою.
Мох лежит под сосной,
Как у нас под Москвой.
Все, как дома,
И очень знакомо.
Только воздух не тот,
Атмосфера не та,
И от этого люди другие,
Только люди не те, что у нас,
И на вас
Непохожи, мои дорогие.
Дорогие друзья, я писала не раз,
Что разлука — большая обуза.
Что разлука — змея.
И действительно, я
Не должна уезжать из Союза.
За границей легко только первые дни,
В магазинах прилавков наряден.
(До чего хороши
Эти карандаши,
Эти перья и эти тетради!)
А какие здесь есть города! Например,
Старый Берген, который недаром

(Это скажет вам каждый порядочный гид)
Знаменит
Своим рыбным базаром.
Голубая макрель, золотая треска
На холодном рассвете багровом.
Я взглянула на рыбу — и в сердце тоска
Вдруг впилась мне крючком рыболовным.
Я припомнила ясно: в корзине, в ведре ль,
Распластав плавников острия,
Та же белая в синих полосках макрель,
Только звали ее «скумбрия».
И какая чудесная юность была
В те часы на песке под горой!
И какая огромная жизнь пролегла
Между этой и той скумбрией!
И печаль об исчезнувшей прелести дней
Полоснула меня, как ножом.
И подумала я: «Ничего нет грустней
Одиночества за рубежом».
Только вижу: у рыбного ряда стоит,
Упершись рукавицей в бедро,
В сапогах и брезенте, назад козырек,
Ну, точь-в-точь паренек
Из метро.
Я невольно воскликнула: — Ах ты,
Из какой-же это вылез он шахты?—
Он ко мне по-норвежски (а я ни гугу),
По-иному он, вижу, не слишком.
Неужели же, думаю, я не смогу
Побеседовать с этим парнишкой?
И, доставши блокнот, так, чтоб он увидал,
На прилавке под рыбным навесом
Я рисую родимого моря овал
И пишу по-латински «Odessa».
И тогда паренек на чужом берегу
Улыбается мне, как рыбак рыбаку.
Паренек улыбается мне от души,
Он берет у меня карандаш.
(До чего хороши
Эти карандаши,
Если держит их кто-нибудь наш!)

Он выводит знакомое слово «Moskwa»,
И от этого слова — лучи.
(До чего хорошо, что иные слова
Даже в дальних краях горячи!)
Он приветствует в эту минуту Союз,
Он глядит хорошо и всерьез.
И, содрав рукавицу и сбросив картуз,
Он трясет мою руку до слез.
Хорошо, что на грусть мы теряем права
И что, как бы он ни был далек,
Человек с удивительным словом «Москва
Не бывает нигде одинок.

1934

ЕЩЕ ОДНА РАЗЛУКА

Над лесными берегами
Ночи нет и нет.
Как вода с вином, на Каме
Северный рассвет.

И на золоте глубинном
До чего легки —
Точно крови голубиной
Светлые мазки.

А в Москве об эту пору,
Меж квадратных стен,
Говорят по телефону,
Слушают «Кармен».

И не знают, занятые,
Сидя за дверьми,
Что за ночи золотые
Водятся в Перми.

Сяду я в зеленый «пульман»:
«Не грусти, дружок».
Неожиданно, как пуля,
Вылетит гудок.

Жадно глядя в одну точку,
Я прильну к окну.
Я батистовым платочком
Из окна махну.

И колеса (вот работа)
Забормочут в такт:
«Что-то, что-то, что-то, что-то,
Что-то тут не так».

Ну, прощай! Прошло и будет.
Что нам до колес.
Не такие же мы люди,
Чтоб грустить до слез.

Мы с тобою знаем оба
(В этом вся и суть),
Что у каждого особый,
Свой отдельный путь.

Ну, прощай! Махну платочком,
Тише стук сердец.
Все туманней, меньше точка.
Точка. И конец.

1934

НАША ДЕВУШКА

Из военного архива
Девятнадцатого года
Вы встаете из тумана.
После долгой канонады
Вас трепещущий фотограф
Шепетовки или Минска
Снял на фоне древнеримской
Колоннады.

Вы сидите полукругом,
Ярусами друг за другом,
Человек пятнадцать.
В центре — славные комбриги,
Раненные многократно,
А внизу, у их подножий,
Возлежат бойцы, понятно,
Помоложе.

А меж них в большой шинели
(Видно, не по мерке шили),
По уши в папахе,
Девушка из той породы,
Что ружье держать умели,
Хоть на вид они и были
Не сильнее птахи.

И соратник по отряду
Над рекой, на снеге талом,
В предвесенней гари,
Скажет на ее могиле:
«С белой пулей в сердце алом,—
Скажет он,— тебя, товарищ,
Мы похоронили».

Так он выразится пышно
У порога ночи.
А потом, когда зарюют,
Он прибавит еле слышно:
«Спи, деваха»,—
И утрет степные очи
Пасмурной папахой.

Нету времени для горя,
Долго чтобы ахать.
Так и мы за ним повторим:
«Спи, деваха».

Ты зарыта у обрыва,
Марусенька чернобрива,
Или Таня, или Рива,
Или как еще иначе
Называлась.
Как разведочный костер,
Ты сгорела. Но зато
Сколько у тебя сестер
В живых осталось.

В городах всего Союза,
Под зеленой лампой втуза,
На торфянке,
Где сочатся воды,
На полянке,
Где раскрыт
Зонтик и теодолит
(Так обычно
начинаются заводы),—

Стрижка на пробор косой,
Тюбетейка ли с косой,
С виноградною лозой
Или колосом,
Наша девушка повсюду,
Мы всегда ее узнаем
По осанке, по походке,
По неповторимой нотке
В голосе.

Стянет ли под самым ухом
Джемпер кроличьего пуха
В лыжном беге
Зимних сосен,
Устремится ли весною
Вслед обрызганному зноем
Ласточкиному скольженью
Острых весел,—
Мы всегда ее узнаем,
Нашу девушку. И даже
Имени не спросим.

И когда в начале мая
Дождь пролепетал над садом,
Миллионом малых капель
Солнце отражая,
И когда в тени кудрявой
Мать и дочь мы видим вместе,
Как два яблока, две песни,
Маленькая
И большая,—

То тогда, как этот ясень,
Их анкетный лист нам ясен:
Их страна и год рожденья,
Их происхождение.
Ибо где еще на свете
Водятся такие дети,
Яблочные, в ямках,
Чьи весенние глаза бы
Так прозрачно голубели.

Мы ее всегда узнаем,
Нашу девушку. Хотя бы
Даже в колыбели.

1935

ПРИРОДА

Порой чурались мы ее красот,
Мы принижали смысл ее творений.
И легкие ряды пчелиных сот
Казались нам нехитрым повтореньем
Патронных гильз, когда их штук пятьсот.

Воспользоваться лунной полосой
Мечтали, как полотнищем, под лозунг.
Казалось нам, что бархатистый розан —
Анахронизм, обрызганный росой,
Хотя и привлекателен для взгляда,
Но революции его не надо.

Зато теперь, когда наступит час,
Мы слушаем (я тайну нашу выдам),
Как соловей, щебечущий алмаз,
Колдует над мичуринским гибридом.
И ландыш, с лилию величиной,
Наполнен соловьиною луной.

Зато теперь, на Праздник урожая,
Когда соседи съедутся в колхоз,
То никого из них не поражает,
Что на столах стоят букеты роз.

И дед Левко, семидесяти лет:
— Ох, не легко,— он скажет,— съесть обед,
Где я от теста одного устану.—
И передвинет розовый букет,
Чтоб лепестки не падали в сметану.

И даже на столе у нарсудья,
Направо от чернильного прибора,
Согласно неуказанной статьи,
Ютится невзыскательная флора.

И нарсудья, прервав на миг допрос
Свидетеля, агента наркомфина,
Поит цветок водою из графина
И дует на него, чтоб лучше рос.

1937

АШУГ

Он песню при себе всегда носил.
Он, как поток, то гневен был, то весел.
Один певец — а сколько было песен!
Один старик, а сколько было сил.

1937

ТИХАЯ НАТАША

Муж мрачно ест. Он склонен помолчать.
На всем: на радио, на книгах, на газетах —
Лежит, вот именно, молчания печать,
Как выражаются поэты.

Жена уехала на совещанье жен:
Он очень рад, он даже потекает.
Но он, вот именно, немного поражен...
Жена. Наташа. Тихая такая.

И вдруг он тронул седоватый ус
И поперхнулся гречневою кашей:
На всю Советскую страну, на весь Союз,
Транслировали тихую Наташу.

И он, как мальчик, опустил глаза.
И на салфетку (скажем и об этом)
Скатилась вдруг, вот именно, слеза,
Как выражаются поэты.

1938

БЕССОНИЦА

Ох, бессонницы... Кто их, как я, испытал!
Я — магистр бессонниц. Я — мастер.
Все скользишь мимо сна, как корабль

мимо скал,

А пристать все не можешь. Несчастье!
Океан беспокойства огромен, угрюм.
Берег дик, и к нему не причалишь.
Длится ночь. Почему-то приходят на ум
Всё ошибки, печали.
Настоящий клубок. Натворила делов,
Не распутаешь: тут не до шуток.
Зря любила. Ухлопала десять годов
На ничтожество, ну его к шуту!
Написала комедию в прошлом году,
А она мне трагедией вышла.
И теперь я — за что ни возьмусь — не могу.
Расцвели неудачи так пышно!
Книга прозы лежит: разрослась, как бурьян,
Где, возможно, сокровища скрыты.
Но пока доберешься... А век-то ведь дан
Не на вечность. Не медли, спеши ты.
Год работы!.. Успела уже в этот срок
Обернуться земля вокруг солнца.
Наступила весна. Опахнул ветерок
Гиацинтов медовые донца.
Раскудрявилось лето зеленым дождем,

Осень выслала первую сливу,
Ну, а книга созрела? Скорее, мы ждем.
Мы, читатели, нетерпеливы.
Снег лежит на полях. Заклепала зима
Швы-пазы ледяного настила,
И у нас на листах, где должна быть глава,
Все бело. Ни словечка. Застыло.

Два часа. Уже поздно. А сон-то, а сон
Все нейдет. Но бог с ним, погодите:
Что такое писатель? Ведь ясно, что он
Не простой регистратор событий.
Он — участник всего. И в огне он гори,
И в воде он тони. Он и ветер
В десять баллов. И оттепель. (Пробило три.)
Он и мать, и дитя, все на свете.
Утомительно это. А что, коли я
(Разве мало на свете профессий!)
Перестану писать? Пусть моя колея
Переменится. Мир — он не тесен.
Можно стать агрономом. Деревья, кусты...
(Подучиться для этого надо.)
Научусь. И сменяю бумаги листы
Я на листья плодового сада.
У меня есть приятельница — агроном.
У нее на особом подвое
Персик рос. И она хлопотала о нем,
Приучала, чтоб жил под Москвою.
И уже он почти расцвести был готов,
Если б только не вышла заминка.
Среди яблочных бело-лебяжьих снегов
Он уже розовел, как фламिंगо.
Только вдруг среди ночи — мороз. Да какой!
А участок велик. И притом же,
Как назло, ни рогож, ничего под рукой;
Заметалась моя агрономша.
Груши-яблони терпят. Стоят нагишом,
Стиснув зубы, с морозом по коже.
Ну, а персик-бедняга еще не нашел
В себе силы. Он гибнет. Не может.
И чудачка моя, чтоб спасти деревцо,

Эту юность под розовым флагом,
Торопливо снимает с себя пальтецо,
Надевает его на беднягу,
А сама на какой-то скамейке, рядком,
Тоже дремлет, укрывшись полою.
В старой кадке вода зарастает ледком.
Звезды искрятся. Но рассвело, и
Сразу стало тепло. Льда исчез окоем.
Девушка и деревцо не поблекли,
И весеннее утро нашло их вдвоем —
Юных, розовых, свежих и теплых.

Или стать архитектором. Множество тем
Интереснейших. Мыслей, заданий.
Возводить не воздушные замки — зачем,
А земные прекрасные зданья.
Никогда не забуду (об этой поре
Постараюсь сказать я особо),
Как на улице Горького, в нашем дворе,
Из железных и каменных скобок,
Из наметок, помарок и черновиков,
Днем и вечером, утром и ночью,
В шуме сверл, экскаваторов и молотков
Раскрывал нам свой замысел зодчий.
И в три тысячи градусов, как метеор
С ароматом озона и серы,
Электрической сварки, железу в упор,
Полыхало сиянье без меры.
И железо стонало, визжало: «Пусти,
Ты меня превращаешь в калеку!»
Но зато как теперь оно крепко в кости
И как служит оно человеку.

Дом готов. Заселенье уже началось.
И уже я видала комбрига:
Освещенный закатом, он по двору нес
Куст сирени, ребенка и книгу.
Книга милая! Чья ты? Создание чье?
Сколько мук у тебя за плечами?
Кто терзался, тебя разрывая в клочье
И опять создавая ночами?

А потом, наконец, когда вышла ты в свет,
Кто был, милая, счастлив тобою?
Отойти, отказаться от этого? Нет.
Я ни с кем не меняюсь судьбою.

Пять часов. Розовеет, как жемчуг, стекло,
Небо видимо, ясно и чисто.
И по шторе (она из батиста)
Тенью чиркнуло птичье крыло.
Рассвело.

1938

ЗВЕЗДА НАД МИРОМ

1

Она владычит над земною осью —
Рабочая, крестьянская звезда.
Она колышет океан колосьев
И разворот газетного листа.
Она прохладой веет утром рано
На человека и его труды.
Она свежа в полях Узбекистана,
Над жарким снегом хлопковой гряды
Она тепла над полюсом, где страшен,
Весь в ледяных созвездьях, небосвод.
Она и там. Она везде, где наши.
Она не Орион. Наоборот.
Она земная, теплая звезда,
Но без нее вселенная пуста.

2

Она горит, отражена огнисто,
В Крыму, у пионера, у горниста.
Закат над морем. Горный полукруг.
И медь сияет в бронзе детских рук.
Так хорошо, что даже сердцу тесно,
Так хорошо, что даже неизвестно —
То луч поет или лучится звук.

3

Над Городком научных институтов,
Где окна до утра освещены,
Где ощутимы, явственны как будто
Стеклянные песчинки тишины, —
Она вскипает пламенем зеленым.
И новый Фауст, физик молодой,
Бедняцкий сын и мировой ученый,
Работает под эту звездой.

4

Зимой, в родильном доме, на заре,
Весь в сахарном снегу и серебре,
Больничный сад стоит у изголовья;
И роженица (ей кормить пора)
Уже не спит, томимая любовью
И радостью. Сын родился вчера.
Он хочет есть. Спеленут, как челнок,
Он плачет, малый, как начать, не зная.
А мать ему: — Сейчас, сейчас, сынок,
Голубонька, головонька родная.—
И вот он ест. В окне уже рассвет
(Нет ничего прекраснее денницы).
Лучи звезды, которым бездны лет,
Нежны, как материнские ресницы.
Проходит няня с теплым молоком,
Синеет небо, наливаясь утром.
А сын — его присыплют детской пудрой,
И он уснет за белым номерком.
Не беспокойтесь о его судьбе:
Счастливая звезда в его гербе.

5

А где-нибудь в Европе наш полпред,
Немолодой, скорее даже старый,
Пыхнет дипломатической сигарой,

Международный высидев обед.
Найдет машину с рдеющим флажком,
Шоферу скажет: — Нет, товарищ Лапин,
Я не поеду.— И пойдет пешком,
По-летнему, в жемчужно-серой шляпе.
И почему-то вспомнит на ходу,
Как молод был в двадцатом он году,
Под Перекопом, под дождем и ветром.
Вот и сейчас за светло-серым фетром
Рубец прощупать можно на виске,—
От гибели он был на волоске,
И он, полпред, порядком поседелый,
Подернутый морозцем и зимой,
Припомнит вдруг звезду над Негорелым
И вспыхнет, как юнец: «Хочу домой!»

6

И вот сейчас, у тихого окна,
В Москве, на высоте семиэтажной,
Я слышу Спасской башни голос важный
И вижу алую звезду. Она
(Какой бы сумрак ночь ни нагнетала)
Всегда горит рубиновым накалом.
И я в Москве, и ты в Караганде,
И вы от Беломорья до Памира,
И вы, друзья, повсюду и везде
Упорно вкрапленные в толщу мира,
В песках Сахары (велика земля!),
В снегах Канады, в мексиканской
штольне,—
Вам всем сияет с высоты Кремля
Рубиновый огонь пятиугольный.
Земная, не небесная звезда,
Но без нее вселенная пуста.

П Р О В О Д Ы

По очертанью облаков,
По золоту листвы
Осенний этот день таков,
Что краше дня весны.
На пять километров окрест
Прозрачен каждый звук.
Как симфонический оркестр,
Москва звучит вокруг.
И в этот звон мажорных гамм
Вплетается напев,
Один из тех, что сердце нам
Пленяет, пролетев.
То Моцарт Вольфганг Амедей,
Старик. Сто сорок лет.
Но совершенный чародей,
Такого больше нет...
Из золотых осенних чаш
Струится синева.
И старый марш, «Турецкий марш»,
Звучит: раз-два, раз-два!
То парень в армию идет,
Знакомое лицо.
Вокруг него звенит-поет
Садовое кольцо.
Они идут шеренгой в ряд
По новой мостовой,

И парню каждый из ребят
Несет подарок свой:
Тот книгу, тот футбольный мяч,
Тот сотню папирос.
А тот — он музыкант, скрипач,
Он музыку принес.
И скрипка — нежное дитя,
Плод камерных теплиц,
Теперь по воздуху летя,
Поет звучнее птиц...
Кому увидеть довелось
И парня самого,
И слиток золотых волос
У девушки его,
И этот окрыленный шаг,
Которым парень шел,—
Кто видел, тот подумал так:
«Как это хорошо!»

1938

ГЕЛАТИ

С каждым часом, с каждой минутой
(Очевидно, жребий наш таков)
Вы все ближе к вашим институтам,
Я все дальше в глубину веков.

И вчера в жемчужный час заката,
В час, когда был розов горный снег,
Я вступила в храм царя Баграта,
В сумерки богов. В десятый век.

Это было ощущение Рима...
Тишина. Молчание. Трава.
Сводов нет. Взамен — необозримый
Свод небес. Кружится голова.

Здесь стихают все любые бури,
Все, о чем мы грезим, трепеща,
Вот возникла в рваной амбразуре
Первая звезда поверх плюща.

Эту же звезду, и очень скоро,
Я увижу точно же такой,
В час, когда вернусь в любимый город,
В современность над Москвой-рекой.

Но боюсь (и, о как это плохо!),
Что, вернувшись к ней издалека,
Буду, как Багратова эпоха,
Милый друг, от вас я далека.

1938

Кутаиси

ИСПАНСКИЙ ПОДРОСТОК

Испанский подросток двенадцати лет,
О, как он печален на вид:
На черные брови надвинут берет,
Он на море молча глядит.

Он видел, как смерть бушевала над ним,
Подростком двенадцати лет.
Он брата надеялся видеть живым,
Но пуля ответила: «Нет».

Зачем он поехал? Он мрачен и дик,
Он сам умереть был бы рад.
Ему непонятен ни русский язык,
Ни те, что на нем говорят.

Но вот наконец осветила заря
И каменный мол, и причал.
На палубе все закричали: «Ура!»
Но он, как и прежде, молчал.

И вдруг пионерчик, собой невелик,
Ему улыбнулся, как брат.
Он, видимо, знал и испанский язык,
И тех, что на нем говорят.

И эта улыбка была такова,
Что тут не нужны уже были слова.
И он улыбнулся в ответ.

И он улыбнулся, и крикнул привет,
И в воздух подбросил свой черный берет,
Подросток двенадцати лет.

1938

ПЕРО И ЖИЗНЬ

О Родина! Твоя рука
Ведет советского поэта.
И каждая его строка
Теплом руки твоей согрета.
 И нет на свете ничего,
 Что я могла б сравнить с тобою.
 И нет на свете никого,
 С кем поменялась бы судьбою.
О Родина! Тобой ведòма,
Я жизнь тебе отдать готова,
Не только что перо. Оно
Принадлежит тебе давно.

1939

* * *

«Ты дай мне погоду, синоптик,—
Мне летчик знакомый сказал.—
Я завтра лечу на рассвете,
Я почту везу на Урал.

А главное, девушке милой
(Милей я не видел лица)
Себя самого я в подарок
Доставлю взамен письмеца».

Я дал ему сводки погоды,
И были они хороши.
«Попутного ветра, товарищ!» —
Ему пожелал от души.

И я, чтобы был он спокоен,
Конечно, ему не сказал,
Что я эту девушку знаю
И тоже хочу на Урал.

И я, чтобы был он спокоен,
Воздушную службу неся,
Ему не сказал ни полслова:
Ему волноваться нельзя.

1939

ТАК И НАДО!

Десять градусов мороза,
Снег в лесу голубоват,
Солнце, алое, как роза,
Покатилось на закат.
Хороша погода! Ну-ка,
Выйду, погляжу на внука —
То-то счастлив он и рад!
Шапочка на нем с помпоном,
Рядом с ним собака Рекс.
Нынче он у нас в зеленом,
Весь — от шапочки до пьекс.
Он, как маленькая елка,
Зеленеет на снегу,
И каштановая челка
Серебрится на бегу.
Добежал до склона. Вижу:
Потерял одну он лыжу
И другую. Вот так стыд!
Внук мой кубарем летит!
«Что такое? Что случилось?»
Он себе коленку трет,
Говорит: «Не получилось», —
И торопится вперед.
Я в ответ ему ни слова.
А у нас такой закон:
Раз не вышло, надо снова.

Уж и так и этак он
Все юлил. А я молчала,
Любовалась на зарю.
Вижу: начал все сначала.
«Так и надо!» — говорю.

1940

СДАЕТСЯ КВАРТИРА

Однажды дала объявление
Улитка:
«Сдается квартира с отдельной
Калиткой.
Покой. Тишина. Огород.
И гараж.
Вода. Освещение.
Первый этаж».
Едва появилось в лесу
Объявление,
Тотчас же вокруг началось
Оживление.
Откликнулись многие:
С вышки своей
В рабочем костюме сошел
Муравей.
Нарядная, в перьях, явилась
Кукушка.
Амфибия (это такая
Лягушка)
Пришла с головастиком
(Юркий малыш!).
Потом прилетела
Летучая мышь.
А там и светляк —
Уже час был не ранний —

Приполз на квартирное
Это собрание
И даже принес, чтоб не сбиться
В ночи,
Зеленую лампочку в четверть
Свечи.
Уселись в кружок. Посредине
Улитка.
И тут началась настоящая
Пытка.
Что, дескать, и комната
Только одна.
И как это так:
Почему без окна?
«И где же вода?» —
Удивилась лягушка.
«А детская где же?» —
Спросила кукушка.
«А где освещение?» —
Вспыхнул светляк. —
Я ночью гуляю,
Мне нужен маяк».
Летучая мышь
Покачала головкой:
«Мне нужен чердак,
На земле мне неловко».
«Нам нужен подвал, —
Возразил муравей, —
Подвал или погреб
С десятком дверей».

И каждый, вернувшись
В родное жилище,
Подумал: «Второго такого
Не сыщешь!»
И даже улитка —
Ей стало свежо —
Воскликнула:
«Как у меня хорошо!»

И только кукушка,
Бездомная птица,
По-прежнему в гнезда чужие
Стучится.
Она и к тебе постучит
В твою дверь:
«Нужна, мол, квартира!»
Но ты ей не верь.

1940

ТОВАРИЩ ВИНОГРАД

У апельсина кожура
Красней гусиных лап.
На родине была жара,
А нынче он озяб.
Такой тут ветер ледяной,
Что стынут даже сосны,
А он, подумайте, в одной
Обертке папиросной.
Впервые снежных звездочек
Он увидал полет.
Промерз до самых косточек
И превратился в лед.
Покрыт пупырышками весь
Бедняга апельсин.
Он люто замерзает здесь,
Да и не он один.
Вот персик. Он тепло одет,
На нем пушистый ворс,
На нем фланелевый жилет,
И все же он замерз.
А золотистый виноград,
Приехав ночью в Ленинград,
Увидел утром Летний сад —
И кинулся к нему.
Он видел — статуи стоят,
И думал: «Я — в Крыму.

Пройдет еще немного дней,—
Загар покроет их».
Раздетых мраморных людей
Он принял за живых.
Но скоро бедный южный гость
Лежал в опилках, весь дрожа.
А холод резал без ножа,
Терзал за гроздью гроздь.

Но в эту же погоду,
На этом же лотке
Антоновские яблоки
Лежали налегке.
Их обнаженной коже
Морозец не мешал.
И было непохоже,
Чтоб кто-нибудь дрожал.
И самое большое
И крепкое из всех
Сказало апельсинам
И винограду: «Эх!
Укрыть бы вас покрепче
От наших снегов,
Да ведь не напасешься
На вас пуховиков.
Но вот что я скажу вам,
Товарищ Виноград:
На свете жил ученый,
И у него был сад.
Там изучал замашки он
Фисташки и айвы.
Там, главное, заботился
Он о таких, как вы:
Чтоб вы росли и крепили
Под ветром ледяным,
Чтобы суровый север
Казался вам родным.
Чтоб было вам, как яблокам,
Не страшно ничего.
Зовут его Мичуриным,
Ученого того.

Ему поставлен памятник
В Москве, мои друзья,
И там он держит яблоко
Такое же, как я...»
И в эту же минуту,
Когда умолкла речь,
У апельсинов будто
Упала тяжесть с плеч.
И сразу встрепенулся,
И, видимо, был рад,
И сладко улыбнулся
Товарищ Виноград.

1940



ЗАБОТЛИВАЯ ЖЕНСКАЯ РУКА

На вид она не очень-то крепка,
Когда дитя качает в колыбели.
Но как, друзья, сильна она на деле —
Заботливая женская рука!

Она не только пестует свой дом,
Не только нежность к детям ей знакома, —
В родной стране она везде как дома,
Она в беде прикроет, как щитом.

Когда от бомб в стропилах чердака —
Мгновенье — и строенье загорится,
Она уже в пожарной рукавице,
Заботливая женская рука.

Под градом пуль, под орудийный гром,
Под гул артиллерийского приboя,
Она бесстрашно вынесет из боя
И раны перевяжет под огнем.

Ей ведомы лопата и кирка,
Она копает рвы, кладет настилы,
Она работает с неженской силой,
Заботливая женская рука.

За родину, за свой родной очаг,
За детскую каштановую челку,
За детский голос, чтобы не умолк он,
За город, чтоб в него не вторгся враг,

За благородство жизненных путей —
Бестрепетно она любого гада
За горло схватит, если это надо...
Попробуй вырвись из ее когтей!

Открытая, все жилки в ней видны,
Бесхитростная, вся как на ладони...
Но горе тем, кто честь ее затронет,
Кто посягнет на мир ее страны.

Она ответит щелканьем курка,
Движением затвора... чем придется.
Враг не уйдет. Она не промахнется —
Заботливая женская рука.

*Сентябрь 1941 г.
Ленинград*

ДНЕВНОЙ КОНЦЕРТ

В теченье концерта дневного,
В звучанье Чайковского вдруг
Ворвался из мира иного
Какой-то непрошенный звук.

То подняли голос сирены,
И следом за ними, в упор,
С воздушной донесся арены
Зениток отчетливый хор...

По правым и левым пролетам
Спустились мы в первый этаж,
Мы слушали тон самолетов,
Мы знали его: это наш.

Могучие летные звенья...
Мелодия их все быстрее,
Мы жадно ловили вступление
Зенитных морских батарей.

Басовым гудением полон
Был весь небосвод над Невой.
И вдруг — серебристое соло:
Пропели фанфары отбой.

И поднялись снова тогда мы,
И снова увидели свет,
И снова из «Пиковой дамы»
Любимый раздался дуэт,

Созданье родного поэта,
Сумевшее музыкой стать...
И только подумать, что это
Хотели фашисты отнять!

Так нет же! Далек или близок,
Он грянет, громовый раскат,
Чтоб русскую девушку Лизу
Спасти от немецких солдат.

Советские танки и пушки —
Грядущей победы залог,
Чтоб жили Чайковский, и Пушкин,
И Глинка, и Гоголь, и Блок,

Затем, чтоб созвездие башен
Кремлевских — поверх облаков —
Сияло над родиной нашей,
Как солнце, во веки веков.

*Октябрь 1941 г.
Ленинград*

ЖЕНЩИНЕ!

Ты можешь быть с ним связанной судьбой.
На всех меридианах и широтах
Делить с ним кров и пищу, труд и отдых,
В любой беде прикрыть его собой.

Ты можешь им гордиться без конца;
Растить ему желаннейшего сына,
С единым чувством, с мыслию единой:
«Как он похож на своего отца!»

Ты можешь для него забыть весь мир,
Сгорать от зноя, леденеть от стужи.
Но если ты случайно обнаружишь,
Что твой любимый — трус и дезертир,

Что он затрепетал при слове «враг»,
Что он бежал позорно с поля боя,—
Тогда ты вспыхнешь: «Что ж это такое?»
Ты побледнеешь: «Как же это так?»

И ты, его подруга с давних пор,
Ему легко отдавшая полжизни,—
Его измену матери-отчизне
Воспримешь ты как собственный позор.

Когда ж он вступит на твое крыльцо,
Безмолвный, смутный, мучимый тревогой, —
О женщина! Ты встанешь у порога
И ненависть швырнешь ему в лицо.

И с этого мгновенья ты начнешь
За сыном наблюдать с ревнивой страстью
И думать про себя: «Какое счастье,
Он на отца как будто не похож!»

*Октябрь 1941 г.
Ленинград*

РОДИНА, ОТОМСТИМ!

От хвойных камчатских сопок
До персиковых садов,
От поля, где зреет хлопок,
До моря, где бьют китов,
От снежных высот Памира
До недр, где блестит руда.
Мы были страной мира,
Мы были страной труда.
Теперь города и села,
В которые вторгся враг,
Зияют мертвó и голо:
Развалины, гибель, мрак.
Разгромленные в Полесье,
Разграбленные в степи,
Они вопиют о мести,
Требуют: «Отомсти!»
Взорванные плотины,
Вздыбленные пути,—
Все взывают единым
Возгласом: «Отомсти!»
Что это: гул несется?
Гром ли гремит вдали?
Нет, то страна клянется,
Каждая пядь земли,
Тем, что всего дороже,
Тем, чем она горда:

Волга клянется рожью,
Медью — Караганда,
Нефтью клянется Каспий,
Золотом — Енисей,
Школьник в пожарной каске —
Молодостью своей.
Старая мать — любовью,
Тем, что на фронте сын.
Воин — свою кровью:
«Родина, отомстим!»

*Ноябрь 1941 г.
Ленинград*

ЕДИНЫЙ ПУТЬ

Можайск, Калинин, Малоярославец...
Какие это русские места!
Еще был молод Петербург-красавец,
Еще Нева была полупуста,

А там уже раздвинулись простором
Тверские и можайские леса,
А там, в Москве, уже являлась взорам
Кремлевских башен древняя краса.

Когда, внезапно перешедши Неман,
Приблизился к Москве Наполеон,
Он встречен был огнем, пожаром гнева,
Он ненавистью был испепелен.

И вот опять истории страница
Покрыта кровью подмосковных битв.
Тремя путями враг к Москве стремится,
Путем единым будет он отбит.

И этот путь — такая жажда мести,
Когда тебе и жизнь не дорога,
Когда ты сам хотел бы с пулей вместе
Войти летучей смертью в грудь врага.

Его живую силу уничтожить!
Движение вражьи танков задержать!
Москва... Она не русской быть не может,
Как человек не может не дышать.

*Ноябрь 1941 г.
Ленинград*

ТРАМВАЙ ИДЕТ НА ФРОНТ

Холодный, цвета стали,
Суровый горизонт...
Трамвай идет к заставе,
Трамвай идет на фронт.
Фанера вместо стекол,
Но это ничего,
И граждане потоком
Вливаются в него.
Немолодой рабочий —
Он едет на завод,
Который дни и ночи
Оружие кует.
Старушку убаюкал
Ритмичный шум колес:
Она танкисту-внуку
Достала папирос.
Беседуя с сестрою
И полковым врачом,
Дружинницы — их трое —
Сидят к плечу плечом.
У пояса граната,
У пояса наган,
Высокий, бородатый —
Похоже, партизан,
Пришел помыться в баньке,

Побыть с семьей своей,
Принес сынишке Саньке
Немецкий шлем-трофей —
И снова в путь-дорогу,
В дремучие снега,
Выслеживать берлогу
Жестокого врага,
Огнем своей винтовки
Вести фашистам счет...
Мелькают остановки,
Трамвай на фронт идет.
Везут домохозяйки
Нещедрый свой паек,
Грудной ребенок — в байке
Откинут уголок —
Глядит (ему все ново).
Гляди, не забывай
Крещенья боевого, —
На фронт идет трамвай.
Дитя! Твоя квартира
В обломках. Ты — в бою
За обновленье мира,
За будущность твою.

*Ноябрь 1941 г.
Ленинград*

БЕССМЕРТИЕ

К плеяде столь прославленных имен,
Как Измаил, Полтава, Севастополь,
Прибавится теперь еще и он,
Град Ленина, о чей гранитный цоколь
Разбилась боевая мощь врага,
Зарывшегося в русские снега.

О, этот город! Как его пытали...
С земли и с неба. Стужей и огнем.
Он голодал. Бледнее лица стали,
Румянец мы не сразу им вернем.
Но даже и потом, на много лет,
Останется на них особый след.

Какая-то необщая повадка,
Небудничное выраженье глаз.
И собеседник, может быть, не раз
Внезапно спросит, озарен догадкой:
«Вы, вероятно, были там... тогда?»
И человек ему ответит: «Да».

И ежели отныне захотят,
Найдя слова с понятиями вровень,

Сказать о пролитой бесценной крови.
О мужестве, проверенном стократ,
О доблести, то скажут — Ленинград,—
И все сольется в этом слове.

*Декабрь 1941 г.
Ленинград*

ГОВОРЯТ ЗЕНИТКИ

На Выборгской опять — ого! —
Зенитки наши бьют.
Они добьются своего:
Машины вражьи ничего
Уже не сбросят тут...
Нам дорог каждый уголок,
Невидимый глазам,
Где скрыт зенитки хоботок,
Воздетый к небесам.
Невидимый, укрытый весь,
Он как бы говорит: «Я здесь».
«Мы здесь,— зенитки говорят.—
Мы охраняем вас,
Уж много месяцев подряд
Мы не смыкаем глаз.
Грознее молний и громов
Растет день ото дня
Искусство наших мастеров
Зенитного огня.
Врагу мы гибелью грозим, —
Он только тратит зря бензин...
Мечтаем мы по временам,
Что, врезанный в гранит,

Поставят, может быть, и нам
Мемориальный щит.
И будут лучшей из наград
Слова: «Дрались за Ленинград».

1942
Ленинград

ОБРАЩЕНИЕ К ОДЕССЕ

Овеянная черноморским ветром,
Оправленная в пенистый прибой,
Две тысячи... нет, больше километров,
Одесса, разделяют нас с тобой.

Степная воля и морская сила,
Простор, влекущий в дальние края,—
Таким тебя мне память сохранила,
Чудесный город, родина моя.

Сейчас, под небом севера угрюмым,
Твои я вижу южные черты:
Твой ясный кругозор, твой светлый юмор,
Твой горизонт высокой красоты.

Ты слышишь ли меня? Из Ленинграда
Я шлю тебе дочерний свой привет.
Вокруг тебя пальба и канонада,
И так же, как и здесь, погашен свет.

И так же, как и здесь, горит отвага,
Которую ничем не погасить,
И так же, как и здесь, под алым стягом
Одессу защищает одессит.

Одной и той же доблестью гордиться
Дано сейчас обоим городам.
Один и тот же блеск морских традиций:
Балтийцы здесь и черноморцы там...

Не так давно, вдоль Невки, в час заката,
В количестве примерно двадцати,
Шла группа бескозырок и бушлатов
С красавцем гармонистом впереди.

Вдруг — вой сирены. Началась тревога.
И бомба, словно выследив их путь,
Бабахнула, — ошиблась ненамного...
И что же, гармонист умолк? Ничуть.

И что же, песня дрогнула? Нимало.
Вот точно так, не дорожа собой,
Как будто вылитые из металла,
Один в один, идут балтийцы в бой.

Вот точно так же, распахнувши ворот,
Вдыхая ветер моря, не реки,
С фашистами за свой родимый город
Одесские дерутся моряки.

Вот точно так, в Одессе напряженной,
Вливая бодрость в мужа и отца,
Сильны душою матери и жены,
Мужской закалки женские сердца.

На этих женщин, с воинами рядом,
Глядит страна, дыханье затая.
Привет тебе! Привет от Ленинграда,
Чудесный город, родина моя!

1942
Ленинград

ДУША ЛЕНИНГРАДА

Их было много, матерей и жен,
Во дни Коммуны, в месяцы Мадрида,
Чьим мужеством весь мир был поражен,
Когда в очередях был хлеб не выдан,
Когда снаряды сотнями смертей
Рвались над колыбелями детей.

Но в час, когда неспешною походкой
В историю вошла, вступила ты,—
Раздвинулись геройские ряды
Перед тобой, советской патриоткой,
Ни разу не склонившей головы
Во дни блокады берегов Невы.

Жилье без света, печи без тепла,
Труды, лишения, горести, утраты,—
Все вынесла и все перенесла ты.
Душою Ленинграда ты была,
Его великой материнской силой,
Которую ничто не подкосило.

Не лаврами увенчан, не в венке
Передо мной твой образ, ленинградка.
Тебя я вижу в шерстяном платке,
В морозный день, когда ты лишь украдкой,
Чтобы не стыла на ветру слеза,
Утрешь, бывало, варежкой глаза.

*Март 1942 г.
Ленинград*

**ТАМ, ГДЕ ВЫ, —
ТАМ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ**

Говорят партизаны: «С волнением
Мы глядим на тебя, Ленинград.
Увезем мы в родные селенья
Образ твой, наш товарищ и брат.

Грозным полымем, огненным ветром
Отвечая на вражеский дым,
Много сот фронтовых километров
Держим мы под контролем своим».

Говорит Ленинград: «Честь и слава
Сердцу русскому, русской душе.
Это родина силы дала вам
Устоять на своем рубеже.

Стать грозой немецкого тыла,
Стать надеждой родного села.
Это родина вас окрылила
На великие ваши дела.

В вашей пуле особая сила,
В цель не может она не попасть.
Там, где вы, — там фашистам могила,
Там, где вы, — там Советская власть».

*Апрель 1942 г.
Ленинград*

СПАСИБО ВАМ!

Спасибо вам, товарищи и братья!
За все, что вы привозите ему,
Наш город заключает вас в объятия,
Вас прижимает к сердцу своему.

Он вас благодарит, великий город,
В гранитные одетый берега.
Спасибо вам! И хлеб ему ваш дорог,
И, главное, забота дорога

Подарки ваши — мы их не забудем;
Вы жизнью рисковали, их везя.
Спасибо вам! Где есть такие люди,—
Такую землю покорить нельзя.

*Апрель 1942 г.
Ленинград*

БЕЙ ВРАГА!

Сын, тебя я под сердцем носила,
Я тобою гордилась, любя,
И со всей материнскою силой
Я теперь заклинаю тебя:

Бей врага! Над твоей головою
Вьется русского знамени шелк.
Каждый недруг, убитый тобою,—
Это родине отданный долг.

Бей врага раскаленным металлом,
Обращай его в пепел и дым,
Чтобы с гордостью я восклицала:
«Это сделано сыном моим!»

Бей врага, чтобы он обессилел,
Чтобы он захлебнулся в крови,
Чтоб удар твой был равен по силе
Всей моей материнской любви!

*Август 1942 г.
Ленинград*

ЭНСКАЯ ВЫСОТКА

Возле полустанка
Травы шелестят,
Гусеницы танка
Мертвые лежат.

Черную машину
Лютого врага
Насмерть сокрушила
Русская рука.

Смелостью и сметкой
Кто тебя сберег,
Энская высотка,
Малый бугорок?

Пламенной любовью
Родину любя,
Кто свою кровью
Защитил тебя?

О тебе лишь сводка
Скажет между строк,
Энская высотка,
Малый бугорок.

Чуть заметный холмик...
Но зато весной
О тебе напомним
Аромат лесной.

О тебе кузнечик
Меж высоких трав
Простучит далече,
Точно телеграф.

Девушка-красотка
О тебе поет,
Энская высотка,
Малый эпизод.

Песнями, цветами
Век отчизна-мать
Все не перестанет
Сына поминать.

*Сентябрь 1942 г.
Ленинград*

ОН — НАШ

Есть люди-светочи. Их имена
Навек вошли в сокровищницу мира.
Их ясным пламенем озарена
Не только родина... Таков был Киров.

«Да, это так, — ответят ленинградцы, —
Но, главное, Сергей Мироныч — наш». —
Он в памяти встает, как горный кряж,
Которым даже издали гордятся.

Столь многим Ленинград ему обязан,
Что даже и не вспомнишь обо всем.
Он видел все своим хозяйским глазом,
И даже то, что в сердце мы несем.

Был город у него как на ладони.
Музеи, верфи, школа и завод, —
За что мы ни возьмемся, что ни тронем, —
На всем следы его забот.

Он ведал всем, вплоть до окраски тканей;
Металлы знал, как плавщик и кузнец.
На выступленьях юных дарований
Гордился ими, как отец.

С его улыбкой, поступью и взглядом —
Он жив. И ленинградские бойцы
Порой как будто слышат голос рядом,
Им говорящий: «Молодцы!»

Как воплощенье мужества и долга —
Он жив для нас. Навек сроднились мы...
Так неразрывны Сталинград и Волга,
Так Ленинград немислим без Невы.

*Декабрь 1942 г.
Ленинград*

ЛЕНИН

Он не украшен свежими цветами,
Ни флагов, ни знамен вокруг него,—
Укрытый деревянными щитами,
Стоит сегодня памятник его.

Он мог бы даже показаться мрачным,
Но и сквозь деревянные щиты,
Как будто стало дерево прозрачным,
Мы видим дорогие нам черты.

И ленинских бессмертных выступлений
Знакомый жест руки, такой живой,
Что хочется сказать: «Товарищ Ленин,
Мы здесь, мы отстояли город твой».

Лавиною огня и русской стали
Враг будет и отброшен и разбит.
Мы твой великий город отстояли,—
Мы сами встали перед ним, как щит.

И близится желанное событие,
Когда тебя опять со всех сторон,
Взамен глухого, темного укрытья,
Овеет полыхание знамен.

Ты будешь вновь приветствиями встречен,
Как возвратившийся издалека.
И вновь, товарищ Ленин, с краткой речью
Ты обратишься к нам с броневика.

Все захотят на площади собраться.
И все увидят жест руки живой,
И все услышат: «Слава ленинградцам
За то, что отстояли город свой!»

*Январь 1943 г.
Ленинград*

ЦАРИЦА ПОЛЕЙ

Задолго до танка и до самолета
Ты славилась силой своей.
Ты битвы решала, пехота, пехота,
Пехота, царица полей.

Препятствия все на пути ты сметала,
Спасая Россию от бед.
С великим Петром ты была под Полтавой,
Суворову шла ты вослед.

По гирлам Дуная, болотам Стохода,
Без бродов и без переправ,
По горло в воде, ты шагала, пехота,
Винтовки высоко подняв.

По горным дорогам, по зимним Карпатам
Ты шла по колено в снегу.
Но духом никто из идущих не падал,
Никто не сказал: «Не могу».

Навстречу тебе выходили с поклоном,
Махали с деревьев и крыш.
Пехота, пехота, твои батальоны
Входили в Берлин и Париж.

Хвала кавалерии и самолетам,
И танкам и пушкам хвала!
Но все они любят, пехота, пехота,
Чтоб с ними ты рядом была.

Чем больше тебя и чем ближе ты рядом,
Тем вражеский натиск слабей.
Ты насмерть стояла у стен Сталинграда,
На кромке приволжских степей.

Была ты на Пулковских наших высотах,
И неколебимый гранит
Священную память, пехота, пехота,
Навек о тебе сохранит.

*Февраль 1943 г.
Ленинград*

НА ВРАГА!

Все серебристей, все короче
Ночная майская пора.
И скоро станут наши ночи
Светлей лебяжьего пера.

И Летний сад, на радость птицам.
Весь, точно облако, стоит,
Готовое вот-вот пролиться
Потоком листьев молодых.

Осколок, найденный случайно,
Полуразбитое стекло...
Какое грозное звучанье
Сегодня все приобрело.

Эмблемы на Адмиралтействе,
Колонна, арка, водоем,—
Все в полосе военных действий,
Все — соучастники боев.

Биенье сердца, каждый мускул,
Ручья лепечущий хрусталь,
Нева, с ее красотою русской,
И огнедышащая сталь,

Произведения искусства,
Природа, личная судьба,—
Все взвихрено единым чувством,
Одним движеньем: на врага!

29 апреля 1943 г.
Ленинград

ДЕВУШКА РОДНАЯ

Прекрасен, юн, сосредоточен, собран,
В огне войны, в пороховом дыму,
Он вырастает, этот женский образ,—
Дочь, верная народу своему.

Так молода... Лет двадцать, даже меньше,
Но ей по силам мужественный труд.
Она из тех как будто слабых женщин,
Которые так редко устают.

Под пулями, не дорожа собою,
Она бойцу накладывает жгут.
Недаром раненый на поле боя
Зовет: «Товарищ девушка, ты тут?»

Он бледен. Рана у него сквозная;
Хотел подняться и упал опять.
Он стиснул зубы: «Девушка, родная,
Тяжелый я. Тебе и не поднять».

Но та его подымет, повторяя:
«Я, знаешь, только слабая на вид».
И снова в битве на переднем крае,
И снова эту фразу говорит.

1943 г.
Ленинград

НА МОТИВ НАРОДНОЙ ПЕСНИ

Всю-то я вселенную проехал,
Любовался блеском всех светил.
Мне и тучи были не помехой,
Мне и гром препятствий не чинил.

Молния однажды между пальцев
У меня скользнула невзначай.
И кометы, вечные скитальцы,
Мне кричали: «Здравствуй и прощай!»

Я гостил у радуги под кровом,
Подходил я к солнца рубежам.
Видел я, как в облаке пуховом
Месяц вновь родившийся лежал.

Из конца в конец, по звездным вехам,
Даже Млечный Путь я обошел...
Всю-то я вселенную проехал,
Но второй России не нашел.

*Май 1943 г.
Ленинград*

РОЖДЕН ПЕТРОМ И ЛЕНИНЫМ ВОСПИТАН

По городу, на мраморе Растрелли,
На кирпиче,— мы видим иногда
Черту и надпись: «Здесь была вода».
И думаем с волнением: «Неужели?»

Как, вероятно, грозно бушевал
И бил по зданиям, как по мишеням,
Привыкший к морю, разъяренный вал,
Какие произвел он разрушенья!

Потомок наш, увидевший стрелу
И надпись на каком-нибудь углу:
«Здесь были укрепления и щели»,
Подумает с волнением: «Неужели?..»

Взрывной волны неистовый бросок
Размыл до основанья этот угол.
Да, *уровень беды* здесь был высок.
Но для того, чтоб враг пошел на убыль,—

Чтобы разбить, отбросить вражий вал,
Такие вынес город испытанья,

Каких еще ни разу не знавал
За двести сорок лет существованья.

И он величьем духа своего
Достоин тех, кто созидал его.

Май 1943 г.

Ленинград

ПУШКИН ЖИВ

От бомбы дрогнули в огне
Стропила мирной комнатушки,
А человек стоял в окне,
А человек взывал: «Кто мне!
Тут книги у меня. Тут Пушкин!»

Ему кричали: «Выходи!»
Но книг оставить не хотел он.
И крепко прижимал к груди
Он томик полуобгорелый.

Когда ж произошел обвал
И рухнул человек при этом,
То и тогда он прижимал
К груди создание поэта.

В больнице долго он без сил
Лежал как мертвый, на подушке.
И первое, что он спросил,
Придя в сознание: «А Пушкин?»

И голос друга, поспешив,
Ему ответил: «Пушкин жив».

*5 июля 1943 г.
Ленинград*

ВЕСНА

Сдаёт зима свои твердыни...
По синеве речной воды,
Шурша осколками седыми,
Проходят ладожские льды.

Похолоданье, ветер бурный,
Упорный дождь заморосил,—
Но это только перед штурмом
Накапливанье новых сил.

И вновь весна неотразимый,
Гигантский делает рывок
И в окопавшуюся зиму
Вонзает солнечный клинок.

Стремительный, готовый к бою,
Гоня перед собой снега,
Май наступил, неся с собою
Огонь, сжигающий врага.

*1 мая 1944 г.
Ленинград*

1945 *
1964

ДОМОЙ, ДОМОЙ!

!

Скворец-отец,
Скворчиха-мать
И молодые скворушки
Сидели как-то вечером
И оправляли перышки.
Склонялись головы берез
Над зеркалом пруда,
Воздушный хоровод стрекоз
Был весел, как всегда.
И белка огненным хвостом
Мелькала в ельнике густом.
— А не пора ли детям спать? —
Сказал скворец жене.—
Нам надобно потолковать
С тобой наедине.—
И самый старший из птенцов
Затеял было спор:
— Хотим и мы в конце концов
Послушать разговор.—
А младшие за ним: — Да, да,
Вот так всегда, вот так всегда!—

Но мать ответила на то:
— Мыть лапки — и в гнездо!.. —
Когда утихло все кругом,
Скворец спросил жену:
— Ты слышала сегодня гром? —
Жена сказала: — Ну?
— Так знай, что это не гроза,
А что — я не пойму.
Горят зеленые леса,
Река — и та в дыму.
Взгляни, вон там, из-за ветвей,
Уже огонь и дым.
На юг, чтобы спасти детей,
Мы завтра же летим.—
Жена сказала: — Как на юг?
Они же только в школе,
Они под крыльями, мой друг,
Натрут себе мозоли.
Они летали, ну, раз пять,
И только до ворот.
Я начала лишь объяснять
Им левый поворот.
Не торопи их, подожди,
Мы полетим на юг,
Когда осенние дожди
Начнут свое «тук-тук».—
И все же утром, будь что будь,
Скворец решил: — Пора! —
Махнула белка: — В добрый путь,
Ни пуха ни пера!

2

И вот на крылышках своих
Птенцы уже в пути.
Отец подбадривает их:
— Лети, сынок, лети!
И ничего, что ветер крут,
И море не беда:
Оно — как наш любимый пруд,

Такая же вода.
Смелее, дочка, шире грудь!
— Ах, папа, нам бы отдохнуть! —
Вмешалась мать:
— Не плачьте,
Мы отдохнем на мачте.
Снижайтесь. Левый поворот!
Как раз под нами пароход,
Его я узнаю.—
Но это был военный бот,
Он вел огонь в бою.
Он бил по вражеским судам
Без отдыха и сна,
За ним бурлила по пятам
Горячая волна.
— Горю, спасайте же меня! —
Вскричал один птенец.
Его лизнул язык огня,
И это был конец.
— Мой мальчик! — зарыдала мать.
— Мой сын! — шепнул отец.
И снова летное звено
В разрывах огневых
Летит, утратив одного,
Спасая остальных.

3

И, наконец, навстречу им
Раскинулся дугой
За побережьем золотым
Оазис голубой.
Туда слетелись птицы
Со всех концов земли:
Французские синицы,
Бельгийские щеглы,
Норвежские гагары,
Голландские нырки.
Трещат сорочьи пары,
Воркуют голубки.

Успели отдышаться
От пушек и бойниц.
Глядят — не наглядятся
На здешних райских птиц.
Одна с жемчужным хохолком,
Со шпорой на ноге,
Вся отразилась целиком
В лазоревой воде.
Другая в воздухе парит,
Готовая нырнуть,
И чистым золотом горит
Оранжевая грудь.
А третья, легкая, как пух,
И синяя, как ночь,
Передразнила этих двух
И улетела прочь.
Плоды, их пряный аромат,
Обилие сластей —
Все это настоящий клад
Для северных гостей.
Но с каждым днем все тише
Их щебет, все слабей.
По черепичной крыше
Тоскует воробей.
Исплакалась сорока,
Что ей невоготу,
Что ветер тут — сирокко —
Разводит духоту.
Ей зимородок вторит:
— Я к зною не привык.
И до чего же горек
Мне сахарный тростник! —
А ласточки-касатки
Летают без посадки,
Всё ищут целый день
Колодец и плетень.
И стал благословенный юг
Казаться всем тюрьмой.
Все чаще слышалось вокруг:
«Хотим домой, домой!»
— Домой, всем хищникам назло! —

Журавль провозгласил.—
Кто «за», прошу поднять крыло.—
И, точно ветром их взмело,
Взлетели сотни крыл.

4

И в сторону родных границ,
Дорогою прямой,
Под облаками туча птиц
Легла на курс — домой.
А подмосковные скворцы,
Знакомая семья,
Какие стали молодцы
И дочь и сыновья!
Как им легко одолевать
И ветер и мокреть.
Как чтут они отца и мать,
Успевших постареть.
— Гляди-ка, мама, вон корабль,
И папа отдохнет.
— Вниманье! — приказал журавль.—
Разведчики, вперед! —
И донесли кукушки:
Спокоен рулевой
И что чехлами пушки
Укрыты с головой.
Противник незаметен,
Повсюду тишина.
И, видимо, на свете
Окончилась война.
И начали садиться
На плотные чехлы
Французские синицы,
Бельгийские щеглы.
Счастливых щебетаний
И возгласов не счесть.
Щебечут на прощанье
Друг другу обещанье:
«Напишем. Перья есть!»

И разлетелся птичий хор
По множеству дорог.
Но долго боевой линкор
Забуть его не мог.
Все слушал, напрягая слух,
Глядел на облака,
И все садился легкий пух
На куртку моряка.

5

Еще стояли холода
Во всей своей красе,
Еще белели провода
Можайского шоссе.
Один подснежник-новичок
Задумал было встать,
Уже приподнял колпачок
И спрятался опять.
В мохнатом инее седом
Столетняя сосна.
И все же где-то подо льдом
Уже журчит весна.
С деревьев белые чепцы
Вот-вот уже спадут.
— Мы дома, — говорят скворцы, —
Мы не замерзнем тут! —
Летят над зеркалом пруда,
Где отражен рассвет.
«А вдруг скворечня занята?
А вдруг скворечни нет?»
Но белка голубым хвостом
Махнула в ельнике густом:
— Привет, друзья, привет!
Как долетели? Как дела?
Я вам квартиру сберегла,
Я там ремонт произвела,
Живите в ней сто лет...

Умывшись с головы до ног,
Уселись старики скворцы

В скворечне на порог.
Сказали: — Мы уж не певцы,
А ты вот спой, сынок.—
Еще застенчивый, юнец
Сначала все робел,
Насвистывал. И наконец,
Настроившись, запел
О том, какие бы пути
Куда бы ни вели,
Но в целом свете не найти
Милей родной земли.
Он разливался ручейком,
Как будто был апрель,
Как будто маленьким смычком
Выделявая трель.
Она из глубины души
Легко лилась в эфир.
Как эти песни хороши
И как прекрасен мир!

1945

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОСУЛЬКИ

До того как стать сосулькой
За твоим окном,
Я лежала, точно в люльке,
В облаке одном.
И представь себе, была я
Дождевой водой.
Я видала Гималаи
И Памир седой.
Со слезами я прощалась
С облаком родным
И опять в него сгущалась
Паром водяным.
Сколько раз, когда ты бегал
По двору у вас,
Я была пушистым снегом,
Радующим глаз.
Если изморозь на травке,
Точно кисея,
Если лужица в канавке —
Это тоже я.
Возвожу я с солнцем вместе
Радуги дугу.
Оставаться я на месте
Долго не могу.
Только у меня и мысли:
Живо, не ленись!

Как ведрце в коромысле,
Я то вверх, то вниз.
И теперь уже сосулькой
Быть мне невтерпеж.
Я хочу водой забулькать
У твоих калош.
Чуть оттаяла слегка я,
А мороз — как хватать!
«Ты, сосулька, кто такая,
Чтобы оплывать?»
И скрутил меня до боли
Чуть ли не в торос.
Ты сегодня не был в школе,
Вот какой мороз.
Двадцать градусов. И все же,
Хоть и белизна,
Но мороз уже встревожен,—
Близится весна.
Скоро утеку я с крыши,
Каплями звеня.
До свидания! Смотри же,
Узнавай меня.

1945

ОТТЕПЕЛЬ

Оттепель, оттепель. Тает, течет.
Снежные звездочки наперечет.
Стоило южному ветру подуть,
Градусник ожил и дрогнула ртуть.
Тонкий ее стебелек шевеля,
Оттепель шлет его выше нуля.
В речке пошли подо льдом пузыри,
Начали снега искать снегири.
Глянула верба из почки тугой:
«Что это? Что это? Месяц какой?»
В эту минуту слышался гул:
Северный ветер как щеки надул!
Ртуть побежала по лесенке вниз,
Снежные хлопья опять понеслись,
Встали сугробы такой белизны,
Что далеко еще нам до весны.

1945

НАША БИОГРАФИЯ

Лошадка добрая моя,
По имени Пегас,
Ты тут как тут, чуть только я
Отдам тебе приказ.
Не будь бы этого, беда —
Ходить бы мне пешком.
И только редко, иногда,
Ты молвишь мне тишком:
«Хозяюшка, повремени,
Дозволь передохнуть.
Невыносимые ремни
Мне натрудили грудь.
Путей-дорог не разузнав,
Я попадал в затор.
Карабкаюсь по крутизнам,
Я ноги поистер».
Пегашка, верный мой конек,
Друг сердца моего,
Чтоб ты чего-нибудь не мог,—
Не может быть того.
Твоя испытанная прыть
Другим коням пример.
А ну-ка... надо повторить
И взять вон тот барьер...
Но надо думать, как-никак
Настанет день такой,

Когда удастся, мой бедняк,
Уйти нам на покой.
Оставив небогатый кров,
Неприхотливый скарб,
Возьмем с тобой последний ров,
Последний наш эскарп.
Перемахнем через плато,
А там — ручей и луг,
Где будет нами испытó
Спокойствие, мой друг.
Старинный рыцарский пейзаж,
Приют усталых душ;
Кому придет такая блажь —
Искать такую глушь!
Живем мы, дней не торопя,
Спокойные душой.
Тревожу редко я тебя
Прогулкой небольшой.
Но, чу!.. Из-за кольца лесов
Донесся в наш приют
Какой-то звук, какой-то зов —
И ты уж тут как тут.
«Хозяюшка, поторопись!
Темнеет. Путь далек.
Попробуем сначала рысь,
А там пойдем в галоп».
И снова, юные, как встарь,
Летим, барьер беря.
Горит над нами, как янтарь,
Закатная заря...
И так, покуда не погас
Вечерний этот свет,
Мы неразлучны, мой Пегас,
И нам покоя нет.
Все тот же путь, все тот же кров,
На радости скупой.
И так — пока могильный ров
Нас не возьмет с тобой.

ПАМЯТЬ О ЛЕНИНЕ

Год тому назад об эту пору
Были в зоне мы военных лет.
Но уже сквозь затемненья штору
Проникали к нам огни побед.

А теперь, во дни восстановления,
В мирную столицу, в город свой,
В Мавзолей опять вернулся Ленин,
На подушке спящий, как живой.

Чтоб на страже, сон его лелея,
Встали все республики страны,
Мрамор и гранит для Мавзолея
Отовсюду были свезены.

И на Красной площади стоит он,
В простоте величья своего,
Столь же нерушимым монолитом,
Как и те, что строили его.

1945

ЕСТЬ ТАКИЕ ЛЮДИ...

Есть такие печи:
Хороши дрова,
А согреться нечем,—
Топится едва.

Дымоходы ль сужены,
Вьюшка ли мала,
Только из отдушины
Не видать тепла.

Есть такие спички:
Обещают свет,—
Веришь по привычке,
А огня-то нет.

Чиркнешь двадцать, сорок,
Смотришь — вот те на:
Спичек целый короб,
А горит одна.

Есть такие люди:
Сумрачный народ,
А на деле будет
Все наоборот.

Смело к ним иди ты
С горем и бедой.
Из души открытой
Тянет теплотой.

Как, друзья, мы любим
Свет их ясных глаз.
Есть такие люди,—
Много их у нас.

1945
Рига

1945 — 1946

Два года — старый, весь седой,
И новый, молодой,
В снега и вьюги облачась,
Сошлись в полночный час.

— Осталось несколько минут
Мне жить,— сказал старик.—
Все смотрят на часы и ждут,
Чтоб ты, дитя, возник.

И вот, покуда цифра пять
Идет в небытие,
Хочу тебе я передать
Наследие мое.

Я был необычайный год,
Вместительный, как век.
Моих событий бурный ход
Запомнит человек.

Полжизни я провел в бою:
В горах, лесах, степи.
Я победил. А ты мою
Победу закрепи.

Не только молнию и гром
Носил я в кобуре,—
Ударил атомным ядром
Я по земной коре.

То был космический удар,
И вихри и смерчи.
На благо людям грозный дар
Природы изучи.

Смотри — перед тобой плывет
Туманный шар земной.
Вот темные моря, а вот —
Сиянье над страной.

То величайшая из стран,
Народ ее богат.
Там есть и уголь, и уран,
И рожь, и виноград.

Там продвижением вперед
Отмечены года.
Там в новом качестве встает
Величие труда.

Иди же, Новый год, иди!
Работай, радуй всех.
Ты будешь славного пути
Одной из важных вех.

Послевоенному труду
Отдашь свой юный рост
У всей планеты на виду,
При свете алых звезд.

31 декабря 1945 г.

БАЯН В БЕРЛИНЕ

По широким, как море, равнинам,
По лесным и озерным краям,
Ты от Курской дуги до Берлина
Шел с боями, солдатский баян.

Ты форсировал речки и реки,
Отвоевывал каждую пядь;
И всегда в боевом человеке
Настроенье умел ты поднять.

И на самом коротком привале,
В наступившей на миг тишине,
Пехотинцы тебя обнимали,
Ты у танка сидел на броне.

Ты однажды был ранен осколком,
Старшина наложил тебе шов,
И, слегка застонав втихомолку,
Ты с повязкой в сраженье пошел.

Но не зря с пехотинцами рядом
Ты всегда воевать был мастак.
И в рядах штурмового отряда
Ты ворвался в берлинский рейхстаг.

Совладавши с недавнею болью,
Ты, баян, золотая душа,
Заиграл на широком раздолье,
Долгожданной победой дыша.

1946

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

Снег, бездорожье, горячая пыль, суховей.
Минное поле, атака, свинцовая вьюга,—
Все испытала, в походной шинели своей,
Ты, боевая подруга.

Ты уезжала с заводом своим на Урал.
Бросила дом свой, ни разу о нем не заплакав.
Женским рукам удивлялся горячий металл,
Но покорялся, однако.

Мы — победители. Пушечный грохот утих.
Минуло время тяжелой военной заботы.
Вспомнила ты, что, помимо профессий мужских,
Женщина прежде всего ты.

Мартовский солнечный день. Голубая капель
Точит под крышей себе ледяную лазейку.
В комнате тихо, светло. У стены — колыбель
Под белоснежной кисейкой.

Мягкую обнял подушечку сонный малыш,
Нежное солнце сквозит в золотых волосенках.
Руку поднявши, ты шепчешь:

«Пожалуйста... тшш,
Не разбудите ребенка».

1946

МОСКВА НАВЕКИ!

Есть города. Столетия, как волны,
Над ними протекли за рядом ряд,
О них красноречиво, но безмолвно
Седые камни с нами говорят.

Но вечность не во мраморных громадах,
Она не только в прошлое влечет.
Она живет и дышит с нами рядом
И в будущее держит свой полет.

Мы чтим веков великое наследье,
Его история для нас жива.
Мы празднуем твое восьмисотлетье,
Столица нашей Родины, Москва.

Для нас — навеки в солнечном сиянье
Твои, на взгорье, первые шаги,
Твое возникновение при слиянье
Реки Неглинки и Москвы-реки.

Народными питаюсь родниками,
Как ствол древесный, соками полна,
Из века в век ты кольцами, кругами
Росла вокруг Кремлевского холма.

И этот холм в своей красе былинной,
Стоящий средь народов и племен,
Перерастает горных исполинов,
Настолько отовсюду виден он.

Чем он светлее в росте неустанном,
Тем ниже и черней его враги.
Он виден даже из-за океана,
Оптическим законам вопреки.

Любовно мы храним безвестный терем
И здание, что строил Казаков,
Но мы, Москва, твое величье мерим
Не только лишь количеством веков.

Твои рубиновые звезды значат,
Что Русь теперь уже не та, что встарь,
Что тридцать лет назад в России начат
Историей был новый календарь.

1947

РУССКИЙ ГЕНИЙ

(К 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина)

Уже он с детства нам знаком,
И, в первый класс идя,
Читает ясным голоском
Его стихи дитя.

Биенья сердца каждый звук
В нем повторен стократ;
Он Отрочества пылкий друг,
Он Юности собрат.

Кто из поэтов так, как он,
Влюбленного поймет:
Свиданья первого огонь
И расставанья лед.

Он рано встретил смертный час,
До седины кудрей.
Но Зрелость, у него учась,
Становится мудрей.

А Старость молодой опять
Себя вдруг ощутит.
И станет без очков читать,
Хотя бы и петит...

Неправда, будто на войне
Смолкает голос муз.
На фронте с Пушкиным вдвойне
Был крепок наш союз.

Без типографского свинца
И там не обошлось,
Он, спаян с пулею бойца,
Разил врага насквозь.

О, русский гений! Он велик.
Всем близкий, дорогой,
Переведенный на язык
Республики любой.

Над ним Советская страна
Зажгла свою звезду.
Возьмем славнейших имена:
Он первый в их ряду.

Вошел бессмертно-молодой
Он в наше бытие,
Прославив лирой золотой
Отечество свое.

1949

С О В Е Т С К И Х Ж Е Н Щ И Н Г О Л О С А

Хотя снега еще лежат
И воздух не теплой,
Хотя в земле еще зажат
Зеленый блеск полей,—
Но голубеют небеса,
Весенний воздух свеж;
Советских женщин голоса
Несет он за рубеж...
Подруги, там, за рубежом,
Примите наш привет!
Мы нашу дружбу бережем
От вражеских клевет.
Ни океаны, ни Памир
Нас не разъединят.
Мы вместе боремся за мир,
За звонкий смех ребят.
Чтоб затемненного окна
Не знал никто из них,
Чтоб смерти черная волна
Не поглотила их.

1949

ПУТЬ ВОДЫ

I

ПУТЬ ВОДЫ

Парк нашего посольства в Тегеране
В июле пуст. Наполнен тишиной.
Все в летней резиденции, где зной,
Смягченный близлежащими горами,

Не так мучителен. Там по ночам
Прохлада, точно вылетев из клетки,
Коснется противомоскитной сетки,
Под окнами чинарой покачив,

Под лампой в кабинете у посла
Прошелестит листками бюллетеней.
Тут все, что за день пресса принесла,
Тут нити всех ее хитросплетений.

Тут местный хор газетных голосов
Разложен на отдельные звучанья.
Тут весь он, от фальцетов до басов,
Под лампой у посла звучит ночами.

Оркестр, в котором дерево, и медь,
И шелк, и шерсть, сработанная грубо,
И нефть (ей предназначено греметь
Рапсодию свою по нефтетрубам).

Диктуя убыстренья и длинноты,
То громогласно, то исподтишка,
Звучат американские банкноты
И песенка английского рожка.

Тут вся дипломатическая гамма,
Вся эта музыка «кругов» и «сфер» —
Все, что хотя бы косвенно, не прямо,
Но адресовано СССР.

Как редко различаешь в этой гамме
Правдивую и чистую струну.
Как много подголосков в этом гамме
Клевещет на Советскую страну.

Дует англо-иранский нефтяной
Сюда летит с Персидского залива.
И только очень тихо, боязливо
Звучит здесь голос Персии самой.

Той Персии, которая в чадре,
Как в черном коконе, под пыльной пальмой
Ребенка монотонно и печально
Баюкает на знойном пустыре.

Пески подходят к самому жилью,
Пустыня дышит раскаленной пастью.
А где-то там (какое это счастье!)
Ручей свое лепечет: «Лью-лью-лью».

Но зародившийся в горах поток
И сразу же разобранный на пряди,
Широкою струей чего бы ради
Он к бедняку крестьянину потек?

Нет, он едва сочится: кап да кап.
И если отпускал бы щедрый кто-то
Полкапли водяной за каплю пота,
То тут река давно уже текла б.

Но долгод, ох, как долгод путь воды!
У самых гор ее сначала встретят
Запрятанные в дивные сады
Колодцы шаха. Вот он на портрете.

Потом, бегущую легко и быстро,
Приводят воду с гор, издалека,
Силком во мраморный бассейн министра,
Как девочку на ложе старика.

Уж не дано по-прежнему лететь ей
С первокристалльной свежестью ключа.
Она влачится по дворам мечетей,
Беззвучные молитвы бормоча.

В глубокой тегеранской котловине
Вода меняет даже цвет лица,
В очесах шерстяных и анилине
Застаиваясь в чане у купца.

Сановному доставшись феодалу,
Вода на пашне трудится как вол.
И лишь потом (как терпеливо ждал он!)
Ее крестьянин-перс к себе отвел.

По каменистой лестнице сословий
Вода как бы спустилась сверху вниз.
Она кипела и в богатом плове,
И в котелке, куда не брошен рис.

Была ее дорога далека —
От снеговой вершины Демавенда
До хлопковой полоски бедняка,
Закабалившего себя арендой,

До старой ковроткацкой мастерской
Без воздуха, с подстилкою блошиной,
Где триста человек глядят с тоской
На горлышко щербатого кувшина.

Один на всех, наполненный с утра,—
К полудню из него уже не пить им.
И огненная жажда красной нитью
Вплетается в орнаменты ковра.

Где маленькие дети, лет семи,
Не видевшие ничего иного,
В чахотке, из чахоточной семьи,
Сидят перед натянутой основой.

Ручонками, окрашенными хной,
Проворно вяжут узелки узора
И трут глаза, где на ресницах гной,—
Но кончится ковер еще не скоро.

(Бывает, что узорный завиток
Посмертно как бы молит о защите:
Ведь это чья-то жизнь у ваших ног,
Так вы ее теперь уж не топчите.)

Молчит об этом музыка газет.
Но в день, когда, особенно промучась,
Ребенок умирает в десять лет,
Когда рабочего Ирана участь

Становится особенно тяжка,—
Прорвется вдруг, как грозное рыданье,
Народных инструментов рокотанье
Сквозь партию английского рожка.

Кипучим гневом, пламенем суровым
Порою полыхнет то тут, то там.
Так Демавенд под снеговым покровом
Не может скрыть того, что он вулкан.

ДИТЯ СВОЕЙ СТРАНЫ

Жена посла баюкает младенца,
Который (вот бедняжка!) все не спит.
Она уже и машет полотенцем,
Чтоб не пробрался ни один москит.

Но, как тут ни старайся, что ни делай,
У комнаты не хватит глубины,
Чтоб скрыться от неимоверно белой,
Как парашют раскрывшийся, луны.

В который раз из колыбельки вынут,
Не спит ребенок, криком исходя.
Как плохо переносит здешний климат
Рожденное на севере дитя!

Там, на закате, радуга цветная
Уходит в освеженные луга,
А тут в течение лета мы не знаем,
Бывают ли на свете облака.

Как сладко ты уснул бы на здоровье,
Горячий, весь в испарине, малыш,
В бревенчатой прохладе Подмосковья!
А тут ты, мой хороший, все не спишь.

Да нет же! Это только с непривычки.
Не плачь, сынок, не вешай головы.
Гляди, тебе какие рукавички
С оказией прислали из Москвы.

Две бабушки вязали их на спицах,
Достали голубой гагачий пух.
Все думали — авось он пригодится,
Подарочек от бабушек от двух.

Гляди, сынок, какие рукавички
(Хотя они не пригодятся тут)
Пушистые, веселые, как птички,
Всегда вдвоем — иначе пропадут.

И бабушки-то оказались правы:
Подарок пригодился. Внук затих,
Как будто подмосковные дубравы
И впрямь сюда прислали птиц своих,

Как будто крылышками русской сказки
Сюда родной был воздух принесен.
И вот уже дитя смыкает глазки,
А мать баюкает его сквозь сон.

В лунной охваченном, уснувшем доме,
Покачивая колыбельку в такт,
Она поет тихонько в полудреме.
Поет без слов. А чувствует вот так:

«Это трудно знать заранее,
Как тут ни гадай.
Мы сегодня в Тегеране —
Завтра мы в Китай.

Где бы мне тебя ни нянчить
И не спать ночей,
Ты везде советский мальчик,
Больше ты ничей.

И дорогою люблю
И в любом краю —
Мы везде везем с собою
Родину свою».

ГРИБОЕДОВ В ТЕГЕРАНЕ

Мы — в посольском парке. Перед нами
Неподвижной зелени массив.
Торжествует солнечное пламя,
Шевеленье листьев погасив.

Только слышно, как жужжит, вползая,
Шмель в полураскрытый львиный зев
Да метнется рыбка золотая,
Водяную лилию задев.

И, стараясь быть как можно тише,
С тишиной нерасторжимо слит,
Под плакучим деревом, как в нише,
Грибоедов бронзовый сидит...

Александр Сергеич, в Тегеране
Вы теперь от шума в стороне.
Перед вами розы и герани
Расцветают в знойном полусне.

В кресле вы задумались о чем-то,
Словно память снова обрели.
Может быть, Москву за горизонтом
Вы хотите разглядеть вдали.

За Каспийским морем и Эльбурсом¹
Снова те, о ком забыть нельзя.
Старые товарищи по курсу,
Университетские друзья.

Вновь Москва. Успенье-на-Овражках.
Споры, повторенные стократ.
Юноши в студенческих фуражках
Снова дискутируют, кипят.

Снова над страницами Плутарха
Ночи, проведенные без сна.
Вновь соизволением монарха
Участь декабристов решена.

Мысль, движенье сердца — все под спудом.
Неотступно, как судьба сама,
Вам опять сопутствует повсюду
Боль души и горе от ума.

Вновь Москва. Знакомые дома в ней...
Александр Сергеевич, нынче вы
Не узнали б вашей стародавней,
Вашей грибоедовской Москвы.

Думается, было бы вам любо
В день любой, когда ни захоти,
В бывшем доме Английского клуба
Медленно по комнатам пройти.

Поглядеть на стенды и витрины,
Влиться в посетителей поток.
Здесь, в музее, облик ваш старинный
Мало чье вниманье бы привлек.

О, как много эти экспонаты
Нам расскажут — только попроси!
О, как далеко ушла, страна ты,
От Расеи, от былой Руси!..

¹ Эльбурс — горы, окаймляющие южный берег Каспийского моря и образующие часть окраины Иранского нагорья.

А наступит вечер — уж пора нам
На большой концерт в Колонный зал.
Высшему сословию, дворянам,
В ваше время он принадлежал.

Мы войдем. Подыдемся на хоры.
И когда на сцену свет дадут,
Мы дебют увидим Терпсихоры,
Свежий, как подснежника дебют.

Мы услышим юную певицу,
В лентах и кисейных рукавах.
Раньше б ей к искусству не пробиться,
В бедности бы дар ее зачах.

А когда она уйдет со сцены,
Поясной отвесивши поклон,
Вальс как бы раздвинет эти стены,
Отражаясь в белизне колонн.

Это дети нынешней России,
Это школьный бал их выпускной.
Было время: бегали босые
Деды их в деревне крепостной.

А не то рабочие казармы
С люльки замыкали их по гроб.
И вот этот праздник лучезарный
Детям и присниться бы не мог.

А теперь им все открыто. Ждут их,
Творческую радость им суля,
Университеты, институты,
Опытные станции, поля.

Поиски, дерзанья, достиженья —
Подлинный поток воды живой.
Все, что вытекает из решенья
Жизненной задачи ключевой...

Мы очнулись. Те же голубые
Небеса персидской бирюзы.
Тот же полдень. Стрелки часовые
Замерли, как крылья стрекозы.

Миг прошел. Но миг обогащенный
Обнимает целые года,
И отчизна сделалась еще нам
Ближе и дороже, чем всегда.

МИРАЖ

Он воду из тыквенной выпил бутылки,
Устал. Изнемог наконец.
И тут же уснул возле камнедробилки,
Бескровный, сухой, как мертвец.

Раздробленный, грубо наваленный щебень
Подушкой служит ему.
Июльское солнце в пылающем небе
К зениту идет своему.

Он спит на дороге, иранский рабочий,
Он к этому ложу привык.
И снится ему, что течет вдоль обочин
Холодный и чистый арык.

Он чувствует ясно, как слева и справа
Потоки прохлады несут.
И водоначальник дает ему право
Наполнить водою сосуд.

И думает спящий: «Ее сохраню я,
Ту воду не выпью зараз». —
А солнце в далекую точку земную
Вперило свой огненный глаз.

Бедняк отдыхает душою и телом,
Он грезит, не чуя беды.
А солнце тем временем выпить успело
Из тыквы остаток воды.

И снова шоссе, где о влаге забыли,
Где зона пустыни близка,
Где знают одно только облако — пыли,
Одну только тучу — песка.

Но что это? Там, на дороге блескучей,
Пробился прозрачный родник.
Мгновенье — и тот, кто устал и измучен,
К нему бы губами приник.

Белеют дворцы над водою зеркальной,
Воздушно синеют сады,
Колышутся листья кокосовой пальмы,
А может быть, даже плоды.

И снова у горла сухое рыданье,
И сердце сгорает в тоске.
Увы! Это марево. Дивное зданье
Построено все на песке.

И снова седая, как пепел, дорога,
Пустынный, безводный пейзаж.
Но что это? Там, на равнине пологой,
Опять возникает мираж.

Чудесное зданье белеет, как пена
(Войти бы в него хоть разок!),
Поодаль британская мачта-антенна
Уверенно врылась в песок.

Фонтан перед домом: водою клокочет
Дракона разверстая пасть.
И пьет эту воду глазами рабочий,
От жажды готовый упасть.

Вода!.. Но у входа застыл непреклонно
Одетый в военное страж.
Но злобно оскалены зубы дракона —
И это, увы, не мираж!

ПЕРСÉПОЛЬ

Здесь некогда вода была,
Бурлила жизненным потоком.
Теперь — пустыня все смела
В своем вторжении жестоком.

И солнце, огненным скачком
Достигнув неба половины,
Глядит расширенным зрачком
На колоссальные руины.

Персéполь — скопище дворцов
К юго-востоку от Шираза.
Истлели кости их творцов —
Каменотесов-верхолазов.

Но славу Дария Гистаспа
Затмил рабочий, чьей рукой
По-царски, с щедростью такой
Холодный камень был обласкан.

Тот мастер, что с таким искусством
Дал поединок двух начал,
Кто торжествующим Ормуздом
Персидский мрамор увенчал.

Ормузд — бог света, тьму разящий,
И Ариман — исчадь тьмы,
Полугиена, полуящер,
Зверь, помрачающий умы.

Теперь он мистер Ариман
(Он принял форму лишь иную).
Ища плутоний и уран,
Готов содрать кору земную.

На вылощенных лапах кровь
У господина Аримана.
Заводы Рура, нефть Ирана,
Сталь, уголь — все ему готовь.

Он мирные поля страны
Бросал под гусеницы танков.
И снова факелы войны
Горят над капищами банков.

Грозит он зонами пустынь
Полям и рощам многолистным.
Но людям честным и простым
Война враждебна. Ненавистна.

Не бронированный кулак
(Им не удержишь и мотыги),
Не он лелеет хлебный знак,
Возводит зданья, пишет книги.

Не он, давая жизнь росткам,
Таким беспомощным и малым,
Ведет все дальше по пескам
Сеть оросительных каналов...

Минует срок военной службы,
Но сохранится навсегда
Рука, разжатая для дружбы
И собранная для труда,

Чтоб на любой из параллелей
Глубоким миром осенен
Был лепет детских колыбелей
И стариков дремотный сон,

Чтобы на выставке игрушек,
Глядим, — а их уж нет как нет, —
Ни сабель, ни штыков, ни пушек,
Окрашенных в защитный цвет.

Дышать мы будем полной грудью
Прозрачным воздухом высот.
И ласточка гнездо совет
В стволе последнего орудья.

Но успокаиваться рано,
Еще не кончен, длится бой.
И мы, читатель-друг, с тобой
С Ормуздом — против Аримана.

Нас ждет победа. Но пока —
И кистью, и резцом, и лирой
Пусть нами славится рука,
Вооруженная для мира.

ПЕРСИДСКАЯ МИНИАТЮРА

О Персия! Ты — горная коза.
Еще мгновение — и тебя не станет,
Смертельное отчаянье туманит
Твои миндалевидные глаза.

Но золотой, с короною на гриве,
Вдруг замер на малиновом шелку
Британский лев, увидя в перспективе
Америку, готовую к прыжку.

ВОДА И НЕФТЬ

Благовонье лилий, роз, левкоев,
Запах померанцев и гранатов,
Мускус, амбра — все это пустое
По сравненью с нефти ароматом.

То он издали, как бы в укрытье,
То в тумане, то как на ладони;
Он и в Лондоне на Даунинг-стрите,
Он и в Белом доме в Вашингтоне.

Нефть повсюду. Ею набухают
Акция капитальные пакеты.
Ею сквозь духи благоухают
Деловые встречи и банкеты.

О, как опьяняет, как манит он,
Аромат бензиновой цистерны!
Тянутся за ним, как за магнитом,
Биржи, банки, тресты и концерны.

Как трепещут малые деньжата,
Чуя, что на них идет Рокфеллер!
Сколько маленьких надежд зажато
В крокодиловом его портфеле.

Сколько стран, приговоренных к смерти,
Скрыто в этой лязгающей пасти!
Чем она глотнула больше нефти —
Тем она становится зубастей.

Нефть в Иране хороша на диво.
Там неистощим ее запас, но
В секторе Персидского залива
Есть акулы. Там небезопасно.

К этим берегам через пустыню
Тянется змея нефтепровода.
В эти берега выросла твердыня
Нефтеперегонного завода.

Танкеры стоят у Абадана,
Ладится работа грузовая.
Нефть плывет по трубам неустанно,
Темная, как туча грозовая.

Нефть уходит под британским флагом,
Уплывает в Северное море:
Великобритании — на благо,
Родине — на нищету и горе.

Но американский хищник тоже
Зарится на жирную добычу.
Он уже доходы подытожил,
Пот и кровь из общей суммы вычел.

Скроены везде по той же мерке
Нефтяные короли и принцы.
Рядышком дымят их канонерки
И взаимодействуют эсминцы.

И на Абадан они совместно
Направляют пушечные дула.
Но недолговечна, как известно,
Дружба крокодила и акулы...

А Иран исходит нищетою,
Терпит бедствие, изнемогая.
В недрах скрыто море золотое,
А земля — голодная, нагая.

А живет как пария, как нищий
Кадровый рабочий в Тегеране.
Яма у него взамен жилища,
Точно он в могилу лег заране.

На больных детей садятся мухи,
Копошится пелена живая.
Здесь ни старика и ни старухи:
Здесь до старости не доживают.

Земляные щели вместо окон,
В каждой яме человек по триста...
Столь неэкзотическим Востоком
Мало занимаются туристы.

Но совсем недавно (не вчера ли?),
В эти ямы заглянув зачем-то,
Потрясенные ретировались
Иностранные корреспонденты.

Одному так даже было худо:
Попросил воды, но пить не стал он.
Бледный, он бегом бежал отсюда,
За пределы этого квартала.

Он исколесил все части света
Со своим блокнотом легковесным,
Но нигде воды такого цвета
Ни соленой не видал, ни пресной.

Показать ее бы: «Посмотрите...»
Предложить ее бы на приеме
Выпить в Лондоне на Даунинг-стрите
Или в Вашингтоне в Белом доме.

Да, еще вчера... Зато сегодня
В Абадане, на зубце фронтальном,
Над заводом с ликованием поднят
Был иранский флаг национальный.

Как ни развернулись бы события,
Но вернется поздно или рано
Нефть к народу. Под замком не быть ей
У поработителей Ирана.

Нефть — народу! Чтобы он спокойно
Жил без феодала и банкира,
Чтобы нефть не разжигала войны,
А питала двигатели мира.

Жить не так, как хочется магнатам,
Не с соизволения англосаксов,
А свободно, счастливо, богато,
Как живут соседи за Араксом,

Где людей одаривает щедро
Ими обновленная природа,
Где вода, земля, земные недра —
Достоянье самого народа,

Где прозрачный воздух свеж и молод —
Человек вдохнул его впервые, —
Где на алом флаге серп и молот,
Мирные эмблемы трудовые.

2

« ПОЗДРАВЛЯЮ С ВОДОЙ! »

Из Киргизии в Узбекистан,
Опьяневший от дикой свободы,
По безлюдным, пустынным местам
Кассансай проносил свои воды.

Никому не подвластный, он тек,
Но явились советские люди
И сказали: «Послушай, поток,
Ты здесь водохранилищем будешь.

Аммонала четыреста тонн
Потрясут вековые устои.
Мы тебя возмутим, а потом
Возмущенье твое успокоим.

Мы течение твое изогнем,
Не твое оно будет, а наше.
Для тебя мы с порфировым дном
Приспособили горную чашу.

Ты в нее постепенно входи,
Станешь озером сине-зеленым,
Где число кубометров воды
Доведем мы до ста миллионов.

Будешь ею полно до краев
(Мы для этого строим плотину),
Будешь гордостью этих краев,
Но за все это ты отплати нам.

Ты на ветер воды не бросай,
Безрассудно не трать ее даром,
Жаждают влаги твоей, Кассансай,
Хлопка семьдесят тысяч гектаров.

Отвоевывай каждый росток
На просторах земли раскаленной
И из озера дальше, поток,
Уходи к Сыр-Дарье отдаленной».

Люди были упорны. И вот
Завершилось и это заданье.
В горной впадине зеркало вод
Заблестело, как в дни мирозданья.

Ожидаемый праздник настал:
На плотине торжественный митинг.
Среди буро-коричневых скал,
Многолюдный, он издали виден.

Это в первую очередь те,
Кто построили эту плотину.
Рядом с ними, в живой пестроте,
Жены, дети семьею единой.

По уступам крутых берегов,
Расположенных амфитеатром,
Выделяются женских шелков
Голубые и алые пятна.

Подъезжают на грузовиках
Казаны и бараны для плова.
От жары не укрыться никак,
Но зато наконец все готово.

И, дождавшись воды наконец,
Появился с ликующим кликом
В новом озере первый пловец,
Еле видимый в солнечных бликах.

На трибуне — вода для гостей,
Тоже взятая в озере этом.
На плотине — портреты вождей,
Освещенные солнечным светом.

Секретарь выступает ЦК,
И на голос его микрофона
Откликаются и берега,
И окрестные горные склоны.

— Дорогие друзья! — он сказал
В тишине, как струна напряженной. —
Поздравляю с водой, — он сказал, —
И с богатством, водою рожденным!

Я коротким сравненьем одним
Вас займу, а не долгим рассказом.
Если землю с казною сравним,
То вода в ней подобна алмазу.

Без алмаза — казна не казна.
Такова эта старая притча...
Где вода — там задача ясна,
Там и хлопковый клин увеличен.

Там деревья плодами полны,
Там колхозные клубы мы строим.
Там — расцвет. И за все это мы
Благодарны советскому строю.

Так пускай же вода все идет
По республике нашей цветущей.
И да здравствует русский народ,
За собой все народы ведущий!

Тут оваций такие грома
Были отданы горному эху,
Что казалось, природа сама
Рукоплещет сейчас человеку.

После митинга — сразу концерт,
Состязанье народных талантов.
Наманган, Фергана и Ташкент
Отбирали сюда музыкантов.

Инструменты — сурнай и дутар,
До бамбуковой флейточки малой,
Принесли сюда музыку в дар
Через горы, пески и каналы.

Словно быстрые фазы луны,
Ходит бубен в руках у артиста:
То края на секунду видны,
То мелькнет полнолуние диска.

Разостлали ковер для нее,
Для танцовщицы, для чародейки.
Вьется в танце она, как шитье
Самаркандской ее тибетейки.

То любитесь хлопком, то шьет,
Уколола иголкою палец,
Смотрит в зеркало, милого ждет,
Шелк мотает. И все это танец.

Как звучат у актера-чтеца
Навои вдохновенные строфы!
Как ему отвечают сердца
Глубиной восхищенного вдоха!

А вокруг — очертания гор,
Отраженные синей водою,
И восточного неба шатер,
Как бы поднятый первой звездюю.

БОЛЬШОЙ ФЕРГАНСКИЙ КАНАЛ

Знойный час заката...
Входим в сельсовет.
Множество плакатов,
А народу нет.

На газетной стопке
Недопитый чай:
Весь народ на хлопке,—
Бой за урожай.

Все на поле битвы.
Здесь — обычный быт.
В клеточке из тыквы
Перепел свистит.

Одинок и весел,
В клетке прыг да прыг,—
Он за этот месяц
От людей отвык.

Сторож, убеленный
Лунной сединой,
Сыплет чай зеленый
В чайник расписной.

Пьем его степенно
В красном уголке.
Там цветы на стенах,
Сад на потолке,

Там везде пейзажи
И везде вода.
Лебедь будоражит
Зеркало пруда.

Со скалы отвесной
Льется водопад...
Живописец местный
Красками богат.

Сторож из окошка
Смотрит на шоссе.
— Вот еще немножко —
И вернутся все.

Правнука послал я:
«Побеги, Ахмет.
Гости тут, — сказал я, —
А хозяев нет».

Пыльное возникло
Облачко вдали.
Звуки мотоцикла
Слышатся в пыли.

Это — председатель.
Он Герой Труда.
На его халате
Светится Звезда.

Он рукой нам машет:
— Здравствуйте! Селям!
Тут со мною наших
Несколько селян.

Мы вас приглашаем
С дорогой душой.
Нам не помешает
Ужин небольшой.

И уже разостлан
Нам в саду ковер.
И — помимо тостов —
Льется разговор.

От луны квадратный
Светел водоем.
Пловом ароматным
Воздух напоен.

Председатель молвил:
— Десять лет назад
Тут не то что полный
Фруктами был сад.

— Там, где та аллея,
Был шакала вой,
Были только змеи,—
Молвил звеньевой.—

А теперь детей мы
Посылаем в класс.
А теперь в бассейне
Лебеди у нас.

Мы раздобывали
Камень и цемент.
Мы за лебедями
Ездили в Ташкент.

— Мы послали тару,—
Вставил счетовод,—
Мы купили пару —
Вот один плывет.

(По воде скользил он
В лунном серебре,
Белый, как корзина
Хлопка в сентябре.)

— Ведь по существу-то, —
Произнес москвич, —
Совершилось чудо.
Не могу постичь...

— Чудо? Что за чудо? —
Повар произнес,
Лакомое блюдо
Ставя на поднос. —

Дело тут не в чуде.
Школы и сады —
Это наши люди,
Это их труды.

— Стала эта почва
Золотым руном, —
Образно и точно
Молвил агроном.

Выступил механик:
— Водяной поток
Важен тем, что тянет
Нам электроток.

Нынче вся округа
В зареве огней.
Люди друг для друга
Сделались видней.

Сам я из Тамбова,
Но Узбекистан
Мне родней родного
В эти годы стал.

И, поевши плова,
Стар, седобород,
Огородник слово
И себе берет:

— Жил бедняк печальный
При царе одном.
(В чайхане-читальне
Книги есть о нем.)

Он твердил народу:
«Без воды сгорим».
Думал взять он воду
У реки Нарын.

Но народ не верил,
Отвечал: «Молчи».
И смотрели зверем
Беки-богачи.

Всюду неудача.
И тогда он рыть
В одиночку начал
Отводной арык.

Руки искалечил
(Жалости — ни в ком),
Стал он сумасшедшим,
Нищим стариком.

Стал он, как ребенок,
Слабым и больным.
Злой сизоворонок
Хохотал над ним.

Потерял он силу,
Не помог судьбе,
Лишь одну могилу
Вырыл он себе.

Что́ один дехканин
Даст в рабочий день?
Лишь одно дыханье,
Лишь один кетмень.

У народной стройки
Сотни тысяч рук.
У народной стройки
Все друзья вокруг...

Голос у парторга
Звучный был, живой.
Был на гимнастерке
Орден боевой.

Он себя прославил
В битвах как боец.
Он себе оставил
Слово под конец:

— Мертвую долину
Превратить в цветок?!
Кто из исполинов
Сделать это мог?

Кто с энтузиазмом
Принял этот план?
Надо, чтоб был назван
Этот великан.

Кто канал построил,
Землю оживив?
Этому герою
Имя — *коллектив*.

Коллектив, который
Устремлен вперед,
Коллектив, который
Партия ведет.

А теперь кончать нам
Надо перерыв:
Нас зовет хлопчатник —
Начался полив.

Герб Узбекистана —
С хлопковым цветком.
Надо неустанно
Помнить нам о том...

И у водоема
Снова тишина.
И гостям готово
Все уже для сна.

Стеганных атласных
Горка одеял...
Было так прекрасно,
Что никто не спал.

Соловей, укрытый
Тутовым листом,
Под его защитой
Долго пел потом,

Будто пил живую
Воду не спеша,
Каплю звуковую
В горлышке держа.

Столько в этой капле
Отразилось вдруг,
Что в нее был вкраплен
Целый мир вокруг.

КОЛХОЗНЫЙ АРЫЧОК

Меня почти не видно,
Я — малая вода,
Но это не обидно,
Но это не беда.

Себе в разгаре зноя
Я слышу похвалы.
Наполненные мною,
Я вижу пиалы.

Не мот и не транжира,
Я счет веду воде:
Для яблонь и инжира,
Чтоб пили те и те.

То прямо, то как скобка
Теку я вдоль рядов.
Но главное — для хлопка
Я должен быть готов.

О, если бы вы знали,
Какой за ним уход!
Он принимает калий,
Ему дают азот.

Он пьет. Но я не сразу
Водой его пою.
Ему четыре раза
Я по ночам пою.

В часы ночных поливов,
Обычно молчаливый,
Я голос подаю.

Чтоб к середине лета
Развился бы бутон,
Чтоб солнечного цвета
Раскрылся он потом,

Чтоб спелая коробочка
Сверкала белизной,
Как молодое облачко,
Рожденное землей,

И, всеми уважаем,
Утер бы потный лоб
Колхозным урожаем
Довольный хлопкороб.

Водица поливная,
Рабочий арычок,
Возможности я знаю
Свои наперечет.

Зеленым коридором
Мой старший брат-арык
Проносится с напором,
А я так не привык.

Как детскую игрушку,
Он вертит на бегу
Большую рисоружку,
А я так не могу.

В бетонном белом панцире
Мой самый старший брат,
Огни электростанции
В воде его горят.

Сияют оба берега.
Но так же и нужна
Мельчайшая артерийка
Ферганского канала,
Как обо мне сказала
Комиссия одна.

ДЕТСКИЙ САД

Отвоеванный у пустыни,
Скрытый зеленью детский сад.
Над верандою, в небе синем
Грозди розовые висят.

С пятимесячного ребенка
Весом будет иная гроздь.
— Ну и райская же сторонка!—
Восклицает заезжий гость.

Не природа наколдовала
Красоту этих дивных лоз,
А Ферганским Большим каналом
Щедро был орошен колхоз.

И колхозники первым делом
Детям отдали лучший дом.
Алебастровый аист белый
Охраняет их водоем.

И с восторгом глядят ребята,
Головенки свои пригнув,
Как в водице голубоватой
Отражается красный клюв.

Сколько длительных нужно было,
Сколько огненных дней труда,
Чтобы в этой прохладе милой
Заиграла с детьми вода,

Чтобы в маленькой тюбетейке
Пятилетняя Сабохат,
Поливая цветы из лейки,
Лепетала с водою в лад,

Чтобы радости полной мерой
Пил, как свежесть речной струи,
Мальчик, названный Алишером
В честь великого Навои.

А пока еще невелик он,
Не справляется с буквой «р»,
Он шалун еще.— Подойди-ка
Поздоровайся, Алишер...

Осень, осень в Узбекистане:
Ночью — холодно, днем — жара.
Хлопок спит еще. Но местами
Просыпаться ему пора.

Прихотливый, теплолюбивый,
Неуступчивый, как алмаз,
Многokrатно он ждет полива:
Поливай его много раз,

Чтобы был этот куст прилежен,
Чтобы он без иных забот
Был коробочками обвешан,
Словно елка под Новый год.

Помогай ему распушиться,
Не жалея для него труда.
Наша северная пшеница
Обходительнее куда.

Но когда он добром ответил
На труды человеческих рук —
Белый хлопок, — и сам он светел,
И светло от него вокруг.

Меж полей, на колхозном стане,
Стол, скамья, небольшой навес.
Хлопок держит здесь испытанье
И на качество и на вес.

Утрамбованная площадка
До соринки подметена.
В небе — тоненькая, как прядка,
Молодая стоит луна,

Точно втайне облюбовала
Это место на небесах,
Под которым уже немало
Хлопка взвешено на весах.

Белым золотом серебрится
За день собранная гора.
Удивительный свет на лицах
В эти ясные вечера.

Но ведь хлопок не только житель
Андижана и Ферганы,
Он выходит как победитель
На великий простор страны.

Все сорта его и оттенки
У отечества на счету.
Хлопок с хлебом в одной шеренге,
Он с металлом в одном ряду.

И батиста и целлюлозы
В нем основы заключены.
Он для города и колхоза,
Он для мира и для войны.

Он в коробочке силу прячет,
Чтобы громом взрывных работ
Был еще один, новый начат
Путь, которым вода пойдет,

Чтоб, отторгнутый у пустыни,
Вырос в зелени новый сад,
Где в безоблачном небе синем
Грозди розовые висят.

ПЕРСИК

Был тонок, тоньше тросточки,
И ростом невысок
Из персиковой косточки
Поднявшийся росток.

От засухи едва живой,
Карабкался юнец.
И все, качая головой,
Решили: «Не жилец».

Еще врага широкий клин
Над Волгой нависал,
Еще фон Паулюс в Берлин
Реляции писал,

А был решен уже в Кремле
Проект Фархадской ГЭС.
Уже на кальке, на столе,
Был дан ее разрез.

Изображен был путь воды:
Край изменил лицо.
Здесь были целые сады,
Не то что деревцо.

Их окаймляли тополя
Зеленою стеной.
Хлопчатник покрывал поля
Роскошной сединой.

Завод там вырос, Беговат,
Где, совершая труд,
Десятки тысяч киловатт
По проводам бегут,

Где излучает сталь в ковше
Солнцеподобный свет
И сталевар, с огнем в душе,
Сияет ей в ответ.

Голодная лежала степь,
Как слезы, солона.
Теперь довольно ей пустеть,
Ей будет жизнь дана.

Большие, новые места,
Расти им и расти!
Их надо было в жизнь с листа
Теперь перенести.

И приступает Фархадстрой
К Большой Фархадской ГЭС,
Но трудности росли порой,
Казалось, до небес:

То лютый ветер валит с ног,
На все кладет запрет,
Не выпускает за порог,
Да и порога нет.

Землянок временный приют,
Не греют очаги,
Оконца света не дают,
Несладко — хоть беги.

В пещере, где встречал Фархад
Красавицу Ширин,
С трудом был размещен отряд
Строителей плотин.

Не делается эта быль
От времени бледней.
Легенды золотая пыль
Тускнеет перед ней.

То сорок градусов в тени,
Змеиный блеск песка.
В арыках — трещины одни,
Казалось, смерть близка,

То превращается вода
Из друга во врага:
Минута каждая тогда,
Секунда — дорога.

Миг — и плотину бы снесло,
Гнев Сыр-Дарьи велик,
Не хочет в новое русло,
А человек велит.

Заклокотала Сыр-Дарья:
«Сейчас я упрядню
И человека-муравья,
И всю его возню».

Но над Большой Фархадской ГЭС
Встал человек-титан.
Пошел реке наперерез,
Ответил ей: «Не дам!»

С лопатой, кетменем, киркой,
Под гул, и плеск, и свист
Рванулись на борьбу с рекой,
И первым — коммунист.

И был повернут вековой
Реки могучий ствол.
И, разъяренный, грозовой,
Стихает ропот волн.

Уже они бегут, стремясь
Свой обновить приют,
Уже, воркуя и смеясь,
Свои воронки выют.

А у плотины головной
Они, как водопад,
Дымятся радугой двойной
И жемчугом кипят.

Вспоенные Фархадской ГЭС,
Селенья зацвели.
То был не мнимый рай небес,
А зримый рай земли.

*

Корзину персиков в Москву
В подарок шлет колхоз.
Их погрузили в синеву,
Их самолет унес.

Они извлечены на свет
И в вазе голубой
Дипломатический обед
Украшили собой.

И зарубежный дипломат,
Галантный, как всегда,
Отметил вкус и аромат
Советского плода.

И дипломат, подняв бокал,
На персик поглядел:
Плод был наполовину ал,
Наполовину бел.

Оратор молвил: — Шар земной
Напоминает он,
Который надвое одной
Чертою разделен.

Но дипломат был близорук,
Он несколько косил,
Благодаря чему не вдруг
Он персик раскусил.

Лишь поднеся его ко рту,
Он понял наконец,
Что заповедную черту
Перешагнул багрец,

Что пурпур, обтекая шар,
Повсюду проступал.
И гость, утратив речи дар,
Не допил свой бокал.

И был смущен, как никогда,
Тот мистер или лорд.
Хозяин улыбнулся: — Да.
Такой уж это сорт...

Воскликнем же и мы вослед:
— Такой уж это сорт!
С лица планеты алый цвет
Вовек не будет стерт,

Чтобы алеющий Восток
Все далее стремил
Всепобеждающий поток
Животворящих сил!

БУДУЩАЯ ТРАССА

Нас встречает влагой и прохладой
Ирригационный институт.
Реки здесь за каменной оградой
Среднеазиатские текут.

Во дворе обширном института
Изучают их режим и быт.
Этот двор на склоны и уступы,
На речные профили разбит.

Реки тут струятся, как в природе:
Каждая на свой особый лад.
Мелкими чешуйками лазури
Крошечные волны их блестят.

Перед нами устья и верховья,
Самых разных рек живой макет:
Эта льется, словно слезы вдовьи,
Та смеется, как в семнадцать лет.

В стороне от основных артерий,
Возле небольшого флигелька,
Неширокая, у самой двери,
Протекает горная река.

То она журчит скороговоркой,
То едва лепечет, как во сне,
И за нею пристально и зорко
Наблюдает женщина в пенсне.

Здесь Аму-Дарья бурлит и ропщет,
Медлит, устремляется вперед.
И за ней следит проектировщик
И модель плотины создает.

И в полметра малая плотина,
Видимая словно с высоты,
В небольшом масштабе воплотила
Стройки исполинские черты.

Вот пришел с экскурсией из школы
Маленький ташкентский пионер.
В шляпе он своей широкополой
Здесь стоит, как в книжке Гулливер.

Красный галстук. Белая рубашка.
(Руки до локтей обнажены.)
Пояс. Металлическая пряжка.
Бархатные, до колен, штаны.

Праздничный, как яркий полдень мая,
Наш советский мальчик в этот миг
Ощущает, сам того не зная,
До чего же человек велик!

Он — как в сказке после этой яви.
Дома соберет он всю семью;
Дедушке он первому объявит:
— Я сейчас видал Аму-Дарью.

— Э, дитя, тобой я недоволен.
Ты уже большой, почти студент.
Разве вам не показали в школе,
Где Аму-Дарья и где Ташкент?

Но опишет мальчик всю картину,
Как стоял он, глядя сверху вниз,
На тахиа-ташскую плотину,
Даже нарисует этот мыс.

На столе при помощи пенала,
Чтобы понял даже младший брат,
Он изобразит разрез канала.
Дважды он расскажет все подряд.

И поздней, в саду, под старым грабом,
Скажет дед про внука: «Молодец!
Может быть, он вырастет мирабом».
— Инженером,— уточнит отец...

Спит он, ученик второго класса,
А в пустыне в этот час ночной
Так рельефна будущая трасса,
Ярко освещенная луной.

Там Аму-Дарья, песков царица,
Русской Волги младшая сестра,
Грозно, по-тигриному, ярится,
Бешеными струями пестря.

С Гиндукуша взяв свое начало,
С ледяного горного чела,
Сколько пажитей она умчала,
Сколько жизней в дюнах погребла!

Шли к воде, отыскивали знаки,
Но, бывало,— еле добредут,
А колодец — как погасший факел:
Он песком давно уже задут.

И еще откроет не однажды
Археолог в спекшихся буграх
Города, погибшие от жажды,
Царства, измельченные во прах...

Замела, засыпала песками,
Потеряла прежнее русло,
Заметалась резкими бросками,—
Но уже и это не спасло.

Так порою, сам себя измучив,
Человек, преодолевая стыд,
Увязает в омутах зыбучих
И ошибок груды громоздит.

Но на помощь друг приходит мудрый,
Чтоб заблудший, сбившийся с пути
Снова мог однажды ранним утром
Чистоту и молодость найти.

И Аму-Дарья польется в Каспий.
И уже отныне навсегда
В Кара-Кумах будут без опаски
Сеять хлопок и пасти стада.

И, обогащаемая илом,
Зона зноя превратится в рай,
И по плодородью дельту Нила
Позади оставит этот край.

Между двух морей канал Суэцкий
Ощутимо делается мал
В день, когда родится наш, советский,
Величайший на земле канал.

Не для барышей, не для агрессий,
Не для атомных военных баз,—
Для народа предназначен весь он,
Для труда он строится у нас.

Шесть морей Советского Союза
Он соединит между собой,
Сделает их для людей и грузов
Улицей зелено-голубой.

И Москва, великая столица,
Превратится
В Порт Шести морей.
У ее причала разместится
Не один десяток кораблей.

А на высоте кремлевских башен,
Видимый не только моряку,
Светит кораблям не только нашим
Алый свет, подобно маяку.

1946 Тегеран — 1951 Москва

РАЗЛИВ

Нева течет расплавленным металлом,
У Зимнего дворца фасад в огне.
Закатный пламень полукружьем алым
Мерцает у «Авроры» на броне.

Июльский день семнадцатого года...
На многолюдной площади — вокзал.
В густой толпе один из пешеходов
Ничье внимание не привлекал.

Рабочий. Сестрорецкий оружейник.
По пропуску — Иванов Константин.
По внешности — отнюдь не исполин,
Рост невысокий. Хваткие движенья.

Мотаает, видно, все себе на ус,
Хотя усы он сбрил, да и бородку.
На нем потертое пальто, картуз,
На белых пуговках косоворотка.

Гудок. Зажегся семафора свет,
Ушел по расписанью поезд дачный.
И, сыщиков не наведя на след,
Иванов едет: все сошло удачно.

Полным-полно. Вагон разноголос.
Здесь как бы вся страна в ее разрезе:
Сидит матрос, в скамью как будто врос,
Чиновник (очевидно, скоро слезет).

Солдат, надолго выбывший из строя,
В вагон на костылях с трудом вошел,
Какой-то гражданин, в проходе стоя,
Читает Блока (времечко нашел!).

Больной ребенок мается, не спит он,
Мать дремлет, ночью, видно, не спалось.
Отец погиб на фронте от иприта,
А дома ждут — вернется он авось.

Старик крестьянин малоговорливый,
А рядом — седовласый красобай:
«Константинополь... Нам нужны проливы...»
— Ты не водицу нам,— землю дай.

Но седовласый все журчит водой,
Слова текут, как из худого крана.
Рабочий достает немолодой
Листок газеты — «Правда» — из кармана.

Все разные. На каждом пассажире
Лежит своя особая печать.
В вагоне разговор идет о мире.
Солдат сказал: — Войну пора кончать.

— Пора! — вздохнула вдовая солдатка.
— Пора! — сказал рабочий, сжав кулак.
Крестьянин молвил: — Людям, ох, не сладко.
Царь обезврежен. А война — никак.

— Вести войну, — воскликнул седовласый, —
Должны мы до победного конца.
Должны, не разделенные на классы,
Спасти Россию русские сердца...

Иванов так был спором увлечен,
Что чуть было не принял в нем участия.
Однако тут же спохватился, к счастью,
И лишь досадливо повел плечом.

А в это время разговор в вагоне
Особо жгучий приобрел накал.
Кой-кто шипел, что Ленин на балконе
Не даром у Кшесинской выступал.

Что, захватив роскошное палаццо,
Не даром он кричал: «Долой войну».
— Ты что это про Ленина? А ну! —
Сказал матрос. И стал приподыматься.

— П...позвольте, ведь доказано, да-да,
Что связан с немцами Ульянов-Ленин.
Он их агент. Он уличен в измене,
И явится на суд он, господа.

Для большевистского для главаря
Исход, конечно, будет очень грустен. —
Рабочий глянул, будто говоря:
«Не явится. Не ждите. Не допустим».

Был вражий голос, как пила, визглив...
Иванов слез на станции Разлив.

Удостоверясь в том, что это можно,
Он снял картуз, а заодно — парик.
И воздух дуновеньем осторожным
Ко лбу его высокому приник.

Здесь ночи не такие, как на юге.
Здесь сумерки, прохладой бодря,
Почти до половины сентября
Напоминают о Полярном круге.

Как будто наше солнце дорогое,
Светя балтийским водам и лесам,
Не рвется в полушарие другое,
К чужим, американским небесам.

Вот и сейчас, на диво хороша,
Никак не гасла северная ночь.
Потрескивал костер у шалаша,
В воде двоилась рдеющая точка.

Лежало озеро в зеркальном блеске,
И, словно кто сюда его позвал,
Вдруг поздний соловей в густом подлеске
Запел, как и весной не певал.

Он сыпал трели, щелканье и свист.
Так пел, что сердцу становилось тесно.
Ильич вздохнул: «Не до тебя, солист,
Хотя ты и поешь архичудесно».

Не до него! Он сыпал серебром,
Пылил жемчужно-капельным дождем,
Но Ленин был уже не им захвачен.
Сейчас не до него.

 Перед вождем
Стояли исполинские задачи:
Стоял июль,
 чреватый Октябрем.

1953

АПРЕЛЬ

Спокоен, гневен, весел, озабочен.
В труде, в быту,— был Ленин прост во всем.
«Он прост, как Правда» — так сказал о нем
В беседе с Горьким сормовский рабочий.

На вечере ли в молодежном зале,
В дневной ли встрече с ходоком седым,—
В его присутствии не возникали
Дым почестей и славословий дым.

Был Ленин ясен. Каждому доступна,
Неоспорима мысль его была.
Иною быть, казалось, не могла
В твореньях Ленина любая буква.

На митингах, среди толпы кипенья,
С такой стихийной силой, без конца,
К нему влеклись простых людей сердца,
С какой к весне устремлены растенья...

Зима еще окапывалась в Зимнем.
Но был уже в броню ее стены
Сверкающий нацелен штык весны,
Уже сливались волны в грозном гимне.

Уже бои грядущие гремели...
То Ленин на матросский броневик
Взошел в семнадцатом году в апреле,
Как Правда, прост.
 Как Истина, велик.

1954

ОВЕЯННАЯ СЛОВОЙ

Что снится кораблям на вечной их стоянке,
Когда им плаванья уже не суждены?
Они опять плывут. Опять морские склянки
Сливаются с ударами волны.

Что в памяти встает? Бескрайные просторы.
Экватор. Океан. Дыхание его.
Широты юга. Но таких, как у «Авроры»,
Воспоминаний нет ни у кого.

Противные ветра ее не утрашали,
Она знавала бури, видела весь мир.
Прошелся по морям обоих полушарий
Ее путей синеющий пунктир.

Она едва спаслась от ужасов Цусимы,
За нею по пятам кровавый след вскипал.
Ее трехтрубый дым, ветрами уносимый,
Летел, как черный бедствия сигнал.

«Аврора» прорвалась. Она ушла в Манилу.
Но в бухте голубой, в лазурной глубине,
Ей все мерещилась цусимская могила
И русская эскадра там, на дне.

Прощайте, моряки! На смертном на причале
Да будут вам легки глубинные слои.
Пусть вам безветрие дарит свое молчанье,
А буря — песнопения свои.

Прощайте, моряки! Покоитесь на дне вы.
Но даже и туда, где мрак и тишина,
Соленая от слез и горькая от горя
К вам доплеснет народная волна.

Вы пали жертвою преступных адмиралов.
Но будет и за вас в тот день отомщено,
Когда последний русский царь пойдет на
Дно ¹
Когда «Аврора» флаг подымет алый...

Идут, идут года. Но можно ли забыть их,
Когда творил тех лет историю ты сам?
И у «Авроры» в прошлом хроника событий
Записана по дням и по часам.

Шестое ноября. Срок близок. В Смольный скоро
Прибудет Ленин. Ждут сигнала. Флот готов.
Работает радиостанция «Авроры»:
Ее создатель Александр Попов.

У Николаевского моста, бросив якорь,
«Аврора» в семь утра, когда клубилась мгла,
Орудия свои на Зимний навела,
На сумрачный дворец, одетый мраком.

А в девять вечера седьмого ноября
Громовый грянул залп шестидюймовой силы.
Штурм начался. О том весь мир оповестила
«Аврора», на бессмертье курс беря.

На целый шар земной раскаты прогремели...
Как флагманский корабль, Советская страна

¹ Станция Дно, на которой Николай II подписал отречение от престола.

Уверенно идет к своей великой цели,
Ученьем Ленина оснащена.

Искрится океан. Друг другу шлет на смену
Величественных волн лазурные гряды.
И все они цветут черемуховой пеной,
Напоминая русские сады.

«Аврора» же стоит спокойно, величаво,
На Балтике своей то синей, то седой,—
Любимая страной, оваянная славой,
Лелеемая невскою водой.

И каждое из вновь идущих поколений
При взгляде на нее воскликнет: «Вот! Смотри —
Живая летопись, в которой имя *Ленин*
Слилось навечно с пламенем зари».

1954

ВЫСОКАЯ ТРИБУНА

Трибуна Двадцатого съезда
Не только в московском Кремле,—
Достойных почетного места
Немало у нас на земле.

Трибуна высокая эта
Везде, где высок человек,
Где, верный великим заветам,
Он с партией спаян навек.

Задачи труднейшие в мире
Тому человеку под стать:
Должны будут реки Сибири
Ему свою силу отдать.

Спокойна, тверда его поступь,
Идет он подъемом крутым;
Металлы дают ему доступ
К подземным своим кладовым.

Он в Арктике пламенем воли
Взрывает барьер ледяной,
Хлеб сеет в бесплодной дотоле
Восточной пустыне степной...

Когда им взлелеянный колос,
Пройдя сквозь пургу и метель,
Вздымает решающий голос
С трибуны целинных земель,

Когда несговорчивый атом
В работу для мира включен
И мирная мощь эта рядом
С конструктором или врачом,—

Счастливым тогда результатом
Так горд человек этих мест,
Как будто он стал делегатом,
Как будто он выбран на съезд.

1956

ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА

Мы Красной Пресне слово предоставим,
Продлим регламент Ленинским горам,
Откуда вся Москва, в красе и славе,
Открыта солнцу, звездам и ветрам.

Вокзалы негодуют: в чем причина?
Запрашивает площадь: как ей быть,
Чтоб автора «Великого почина»
Монументальным мрамором почтить.

В Сокольниках один заветный просек,
Где Ленин был на елке у ребят,
Уже давно о памятнике просит,
Деревья все об этом шелестят.

Но существует мнение иное...
Быть может, не в Сокольниках, а тут,
Перед Большим театром, где весною
Так трогательно яблони цветут.

Чтоб перед нами прошлое воскресло
(Оно и так вовеки не умрет),
Пускай, присев на стул или на кресло,
Ильич листает бронзовый блокнот.

Не там на высоте, не в отдаленье,
На фоне облаков и птичьих крыл,
А рядом с нами. Здесь... При жизни Ленин,
Мы знаем, возвышаться не любил.

Пусть будет памятник такого роста,
Чтобы уже ребенок лет пяти
Без мамы смог бы дотянуться просто
И положить у ног его цветы.

1956

ЛЕНИН И ВРЕМЯ

Умел из дня и даже часа
Он бездну времени извлечь.
Хватало нужного запаса
Для деловых бесед и встреч.

Для городов индустриальных
И деревенских ходоков,
Для вузов и для школ начальных
(«Учиться!» — лозунг был таков).

Но, думая о самом главном
(Хлеб, уголь, транспорт и металл),
В Кремле о лифте неисправном
В комендатуру он писал.

До крайности обеспокоен,
Он мечет молнии и гром:
«Есть сердцем слабые, для коих
Опасен лестничный подъем».

Среди безмерных дел своих
Он помнил о сердцах людских.

Не сообщив о том заране,
Он опоздал лишь раз один:
В тот день, когда был тяжело ранен
И смерть стояла перед ним...

Еще он принимал лекарства,
Еще с трудом писать он мог,
Но вновь для пользы государства
Минуту каждую берег.

Зато и Время в свой черед
Его навеки сбережет.

1957

С В Е Т Л Е Н И Н А

В письме из ссылки Владимир Ильич писал, что начал сочинять стихотворение, первая (и единственная) строка которого гласит: «В Шуше, у подножья Саяна...»

В Шуше, у подножья Саяна,
Сугробы стоят у ворот.
Чуть след намечается санный
У дома, где ссыльный живет.

Все гуще снегов оторочка,
Завьюжена рама окна,
Но лампа, как светлая точка,
Далеко отсюда видна.

В Женеве, в предгорье Монблана,
Опять-таки светит окно.
Наметки великого плана
И здесь освещает оно.

Повсюду: Саяны и Альпы,
Париж и отроги Карпат —
Везде начинал, как на кальке,
Грядущего облик сверкать...

О нет! По Европе не призрак
Под окнами бродит теперь, —
Все шире уже коммунизму
В домах открывается дверь.

Все дальше — от ленинской лампы
Лучи протянулись звездой:
Встают исполинские дамбы
Над бурной китайской водой.

Ночные венгерские грозы
Спокойным сменяются днем.
Болгарские новые розы
Пылают пурпурным огнем.

В степях у подножья Алтая
Все краше земля, что ни год.
Пшеница, зерном налитая,
Янтарной стеною встает.

И каждый, кто счастлив по праву,
Откликнется сердцем своим:
Великому Ленину слава
И Партии, созданной им!

1957

МЫ ЛЕТЕЛИ В МОСКВУ

Мы летели из Рима,
на закате его покидали:
Солнца огненный шар
окровавил небесные дали.
Кровли Вечного Города
в мареве знойном тонули,
Итальянская осень
была горяча, как в июле.
Мы над Альпами плыли,
над хребтами их, вечно седыми:
Путь держали на Цюрих,
где должны были ночь провести мы.
Вот и Цюрих. Как темен,
как холоден он после Рима!
Как тут рано ложатся,
лишь свет кое-где на витринах.
Но чужой этот город
был с именем Ленина связан.
И при мысли об этом
роднее нам сделался сразу.
Показались нам близкими
даже уснувшие эти
Приозерные чайки
на холодном, как лед, парашете.
Их сородичи некогда видели —
в кефи, с бородкой

Человека, идущего с книгами
быстрой походкой.
Говорили нам здешние книги:
«Мы вправе гордиться,
Он штудировал нас,
перелистывал наши страницы».
Говорили нам улицы:
«Есть в переулочке узком
С краткой надписью дом:
Здесь жил вождь
революции русской...»
Становилось все тише
в гостинице аэродромной,
Цепи гор уходили в туман
панорамой огромной.
Величавые горы молчали.
Но было похоже —
Говорили без слов:
«Он любил нас. И мы его тоже».
В эту ночь был нам Цюрих
дороже Италии дивной.
На заре нас приветствовал
гул самолета призывный.
В самолете мы встретили
алое чудо рассвета.
Мы летели в Москву,
мы летели на родину света.

1960

ПРЕДСОВНАРКОМА ЛЕНИН

Листок блокнота, каждая бумажка,
Наимельчайшие черновички,
Записочка, где просьба есть к Семашко,
Чтоб тот достал крестьянину очки,

Стол, стул, скамья, садовая дорожка —
Нам дорого всё, связанное с ним.
С детишками играет, гладит кошку —
На всё это мы с нежностью глядим.

Но мы порою забываем словно:
Проступки, в форме этой или той,
Он требовал (цитирую дословно)
Карать «с демонстративной быстротой».

Дрожали у виновного колени,
Весь трепетал, как на ветру свеча,—
Пред ним стоял Предсовнаркома Ленин
Взамен сердечнейшего Ильича.

Пролаза, волокитчик, бюрократ —
Пусть и сейчас дрожать не перестанут:
Пусть чудится тому, кто виноват,—
А вдруг сквозь стены Мавзолея глянут

Всевидящие грозные глаза,
От коих скрыться никуда нельзя.

1960

НОТА «ЛЯ»

В одну из пятниц (это было утром)
я радио включила, как обычно.
И дикторши знакомый, внятный голос
сказал, что для настройки музыкальной
дана будет (вниманье!) нота «ля».
И вот уже рождается в эфире
серебряная капля звуковая.
И сотни музыкальных инструментов
себя сверяют с этой нотой «ля».

Бессмертный страдиварий виртуоза,
и скромная скрипка дилетанта,
и трио молодых мандолинистов,
и лаврами увенчанный квартет.
Готовятся: на юге, к лунной ночи
гитара в царстве розовых плантаций,
на севере — в рыболовецком клубе
старик рояль, похожий на кита.

Веснушчатый, рыжеволосый мальчик,—
Ему уже родители купили
эстонское (в рассрочку) пианино,
его уже хвалил преподаватель,
он станет знаменитым, может быть.
Закрыв глаза, полуоткрывши губы,
слегка покачивая головою,

впивает он серебряную ноту,
как шелест листьев, как игру воды.

В высотном доме вровень с облаками,
в квадратной комнате, залитой светом,
в рабочей блузе юная арфистка
освобождает арфу от чехла...

Нет у меня ни арфы, ни рояля.
За письменным столом в часы работы
имеется в моем распоряженье
один лишь инструмент — мое перо.
Но и оно нуждается в настройке,
чтобы звучать предельно чистым тоном,
но также и ему, подобно струнам,
порой необходима нота «ля».

Такая в ней голубизна эфира,
такая слаженность земных усилий,
направленных на счастье человека.

Мне кажется — еще нигде на свете
Так не звучала эта нота «ля».

1960

ЧТО ТАКОЕ ВЕСНА

Тут Снегурка живет,
в этом белом овражке.
Лунный сок она пьет
из березовой чашки.
По ночам укрывается
шубкой пуховой,
по утрам умывается
лапкой еловой.
Иногда, вылезая
из теплой берлоги,
к ней топочет медведь
прямоком, без дороги.
А она — воплощение
прелести зимней:
«Что такое весна,
дядя Миша, скажи мне».
Иногда, из алмазных
кулис выбегая,
снежный вальс ей танцует
лиса голубая.
Но Снегурка смутна —
для чего ей актриса.
«Что такое весна?
Что в ней — тетя Алиса?»

День придет. И узнает Снегурка
с рассветом —
Что такое весна.
Но...
растает при этом.

1960

В ДЖАКАРТЕ

У нас еще снега белеют в марте,
А там — одежд прохладных белизна.
В Юго-Восточной Азии, в Джакарте,
Тропическая, знойная весна.

Дождь лепестков благоухает пряно,
Овации бушуют, как гроза.
На нас, смеясь, глядят с телеэкрана
Индонезийки черные глаза.

Такой прибор пока еще не создан,
Который бы, как молния, донес
К тебе московский наш морозный воздух,
А к нам благоуханье ваших роз.

И все же есть такой для стран далеких,
Для сообщений самых скоростных:
Он шлет горячих импульсов потоки
И сам ответно принимает их.

Тебя баюкал океан Индийский,
Нас разделяет целый материк,
Но сердце говорит, что это близко,
Прибор чудесный правду говорит.

В борьбе за мир, за общее нам дело,
В одном строю, согласные во всем,
Рукою смуглой и рукою белой
Мы знамя дружбы бережно несем.

1960

ТОРГОВАЯ ТОЧКА

Небольшое, скромное сельпо,
Осененное березами,
На витрине — детское пальто,
Чайник синий на скатерке розовой.
Утром время медленно течет,
Шелестит газетная страница,
А над ней — с пробором набочок,
В блузочке холщовой продавщица.
Время приближается к пяти.
И по деревянному мосточку
Будут потребители идти
До закрытия торговой точки.
Школьники, как буря, ворвались,—
Им нужны карандаши и ручки.
Бабушка фарфоровый сервиз
Покупает для невесты-внучки...
Дух полей, колосьев аромат.
Алая заря уже погасла,
В небе разливается закат,
Желтый, как подсолнечное масло.
Стихло паровозное депо.
А у машиниста спит сынишка,
Сорванец, которому в сельпо
Скоро купят теплое пальтишко.
Может статься, он через года
Станет астронавтом знаменитым,

Звездные направит поезда
По еще неведомым орбитам.
Новые, у неба на краю,
Завоюет космоса твердыни,
Вновь прославит родину свою,
Многославную уже и ныне...
Поезд где-то прошумел сквозной,
Будто тишину спугнуть не хочет.
Над торговой точечкой земной
В небе мириады звездных точек.

1960

РУКА ЛЕНИНА

В его тетрадях и блокнотах,
В заметках беглых от руки,
Мы о космических полетах
Не обнаружим ни строки.

Полеты в космос... До того ли!
И где бензин? И где металл?
Сто тысяч тракторов (всего лишь) —
Вот он о чем тогда мечтал.

Все меньше рационы хлеба,
Не дышит ни один завод.
Разруха. Тиф. Тут не до неба —
Земля, земля к себе зовет...

Но он сумел таким горючим
Снабдить Советскую страну,
Чтоб ей поднять в небесных кручах
Космическую целину.

Чтобы туда, за грань эфира,
Впервые нам направить путь,
Куда от сотворенья мира
Не удавалось заглянуть.

И вот теперь навеки Ленин
(Хоть необычен жест такой)
Войдет в сознание поколений
С протянутою ввысь рукой.

1961

ВЕЛИКОЕ ПРОСТОЕ СЛОВО

Когда над Асуанской плотинной,
Чтоб жаждущую землю осчастливить,
Египетский строитель и советский
В труде свои переплетают руки,

Когда в Антарктике под пенью вьюги
Специалист по льдам, полярник русский,
И молодой американский физик
В поселке Мирном трудятся бок о бок,

Когда на Ленинских горах на лыжах
Пушистый снег студенческих каникул
Припорошит смеющиеся лица
Украинца, болгарина, кубинца,

Когда, согласно заданной программе,
Титов уснул в космическом пространстве
И на Земле все говорили тише,
Чтоб отдыхающего не тревожить,—

Тогда, друзья, на память нам приходит
И золотыми буквами сияет
На языках всех стран, на всех наречьях
Великое простое слово

БРАТСТВО.

ЧИТАТЕЛЮ!

Читатель мой, ненадобно бояться,
Что я твой книжный шкаф обременю
Посмертными томами (штук пятнадцать),
Одетыми в тисненую броню.

Нет. Издана не пышно, не богато,
В простой обложке серо-голубой,
То будет книжка малого формата,
Чтоб можно было брать ее с собой.

Чтобы она у сердца трепетала
В кармане делового пиджака,
Чтобы ее из сумки извлекала
Домохозяйки теплая рука.

Чтоб девочка в капроновых оборках
Из-за нее бы не пошла на бал,
Чтобы студент, забывши про пятерки,
Ее во время лекции читал...

«Товарищ Инбер,— скажут педагоги,—
Невероятно! Вас не разберешь.
Вы нарушаете регламент строгий,
Вы путаете нашу молодежь».

Я знаю — это не педагогично,
Но знаю я и то, что сила строк
Порою может заменить (частично)
Веселый бал и вдумчивый урок.

Течение дня частенько нарушая
(Когда сама уйду в небытие),—
Не умирай же, книжка небольшая,
Живи подольше, детище мое!

1963

ТЫ КАК СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ...

Шелест книжных страниц
Нам сопутствует в жизни повсюду,
От бурлящих столиц
До поселка у тихой запруды,

От горячих низин
До просторов Полярного круга,
От кудрей до седины,
Книга — нет у нас лучшего друга.

Мы находим твой след
Даже там, где его и не ищем.
Ты, как солнечный свет,
Проникаешь в любое жилище.

Даже трудно постичь,
Сколь нужна ты порой для совета.
Сам Владимир Ильич
Над тобою сидел до рассвета.

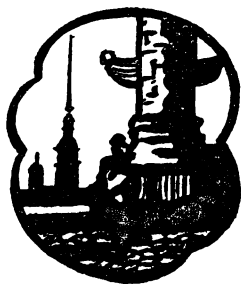
Ты не знаешь границ,
На чужбине — и там ты как дома.
Шелест книжных страниц
Иногда сокрушительней грома...

От разрозненных литер
До слитной строки линотипа
Был, по ходу событий,
Порою набор твой рассыпан.

Но сияют слова,
Излучение их не померкло.
И опять ты жива,
Ибо светлая книга —
бессмертна.

1964

ПОЭМЫ



ПУТЕВОЙ ДНЕВНИК



ГЛАВА ПЕРВАЯ

МЫ ПРИЕЗЖАЕМ В КУТАИСИ И ОСМАТРИВАЕМ ГОРОД

1

Прекрасна кутаисская зима,
Прекрасна тем, что нет ее в природе.
Какой январь, друзья мои! Мы бродим
По улицам. Мы смотрим на дома.
Раскрыты окна. Иволга поет;
Она не улетает круглый год.

2

И мы, приехавшие из Москвы,
Мы, москвичи, в гиперборейских шубах,
Глядим на пальму. И в ее раструбах
Мы видим голубой до синевы,
Плывущий с гор подоблачный озон.
Колхида. Здесь когда-то был Язон.

3

И, сбросивши всю меховую снасть,
Открытыми руками, без перчаток,
Жестикулируем, как в детстве, всласть.

Вот кукурузный золотой початок
В окне. Редис. Готовая для пира
Баранина. И вертел как рапира.

4

Сад городской, где алый краснозем,
Где пальмы, и магнолии, и грабы,
Где столько влажной тишины во всем,
Что даже говорливые прорабы,
Спеша на стройки, даже и они
Проходят здесь на цыпочках в тени.

5

Под пальмой вузовцы. Он в тубетейке,
Она в берете, сбитом набочок.
Друг друга проверяют коротенько:
У них сегодня, видимо, зачет.
Чертят. И на песке, взамен стола,
Квадратный корень, сердце и стрела.

6

Как далеки мы от земли московской,
От нашей русской, северной земли.
Вот зданье, где учился Маяковский.
У нас вокруг березы бы росли,
А здесь, как бы явился на урок он,
Зеленый лавр стоит у самых окон.

7

И, может быть, вот этот самый лист
Или не этот, но ему подобный,
Видал, как Маяковский-гимназист,
Клонясь над партой в позе неудобной,
Писал стихи до самого звонка,—
А лавр стоял, готовый для венка.

8

А вот и исторический платан
Во дворике высоком, над Рионом.
Здесь в старину был суд. Синедрионом
Сидели судьи. Дерево-титан
Служило виселицей. И годами
Оно чернело страшными плодами.

9

Теперь его развилины чисты.
Оно стоит кудрявым патриархом,
И летом тень его густа, как бархат,
И дети в ней щебечут, как дрозды.
А в воздухе тем временем плывет
В Сванетию идущий самолет.

10

Лимонный чей-то сад. Он невелик.
Балкон. На нем младенец в колыбели.
А рядом (видно, мать ушла на миг)
На деревянном стуле — Руставели.
И легкий ветер (он один-один)
Вдыхает над головой о Тинатин.

11

Здесь мрамор — свой. Край мрамором богат.
Театр будет круглый и высокий.
И сам Давид Строитель был бы рад
Увидеть эти мраморные блоки.
Театр строят. И взамен лачуг
Уже воздвигнут плавный полукруг.

12

И в дни, когда несметный виноград
Лежит в корзинах, ведрах и решетках,
Сюда придут, приедут, прилетят,

Примчатся на машинах, в самолетах.
Здесь будет старец, как луна седой,
А рядом правнук в майке голубой.

13

Здесь мостовые сделаны хитро,
Как в старину. Чтоб не скользили кони,
Здесь будто сотни каменных ладоней
Поставлены рядами на ребро.
И эта кладка древняя камней
Удобнее асфальта для коней.

14

Под нами город. Опустился вниз он.
Цепь горная отчетливо чиста.
И первая лимонная звезда
Уже зажглась над черным кипарисом
(Они еще черней по вечерам).
Мы на холме. И перед нами храм.

15

Развалина — он сумраком окутан.
Руина — в нем так много римских гроз,
Громов и туч так много в нем, как будто
Здесь обитал Юпитер, не Христос.
Да, именно таким в огне заката
Мы увидали храм царя Баграта.

16

Лежат обломки каменным дождем,
Следов мозаики не будет скоро.
Одна стена повисла без опоры
И держится лишь чудом да плющом.
Безмолвие. Молчание. Трава.
Десятый век. Кружится голова.

17

Сюда издалека дары несли.
Бывало, русского царя послы
Выстаивали здесь богослуженье.
Здесь своды были. А теперь круженье
Луны и солнца. Вечный бег планет.
Небесный свод. Иного свода нет.

18

Но в дни, когда мозаика в приделе
Еще лежала мраморным ковром,
Сюда являлся юный Руставели
В каракулевой шапочке с пером.
Но многие (вопрос стоит остро)
Уверены, что это не перо,

19

Что это складка меха или тень.
Что то, из-за чего ломают копья
Иные чудачки и по сей день,
Есть плод позднейших живописных копий.
Первоисточник же, оригинал
Старинный, — неразборчив. Он увял.

20

Возможно, ошибается наш глаз.
Но вы, кому ошибок смысл неведом,
Историки, литературоведы,
Не будьте столь точны на этот раз:
Вы принесете пользу и добро,
Отдав нам это спорное перо.

Вы спросите: зачем? Отвечу: в этом
 Есть нечто дорогое нам, поэтам.
 Иной подумает: «Пускай умру,
 Зато мой певчий век недаром прожит,
 Зато меня впоследствии, быть может,
 Без подписи узнают. По перу».

ГЛАВА ВТОРАЯ

НАСТУПАЕТ ВЕЧЕР

1

Уже все реже стали раздаваться
 По коридору звучные басы.
 Уже усталым голосом часы
 Внизу, в конторе, пробили двенадцать.
 Гостиница идет ко сну. И вдруг —
 У двери у моей негромкий стук.

2

Девическое славное лицо...
 Такие лица — мы им сразу верим.
 Кашне. Недорогое пальтецо.
 Под мышкою портфель. А из портфеля
 (Он весь набит каким-то багажом)
 Торчит бутылка. Кажется, боржом.

3

Художница. Приехала чуть свет
 И завтра едет, как и мы, в Гелати.
 Устала. Номеров свободных нет.

А здесь, как ей сказали, две кровати.
Так вот, нельзя ли ей на эту ночь?..
Конечно, да. Я рада ей помочь.

4

В портфеле кисти, краски и белье,
Эмульсия в бутылке, калька, свечи
(Бывает так, что освещаться нечем).
Особая работа у нее:
Она копирует картины, фрески...
Ребенка только оставлять ей не с кем.

5

И вот мы с ней сидим перед огнем;
Акация, как хворост, мечет искры.
Хотя здесь и тепло, но горы близко,
И снег на них. Мы время проведем
У печки. В Имеретии. Зимую,
Как в Переделкине, как под Москвою.

6

Я в Переделкине, в мороз ночной,
Когда сияют снега порошинки,
Гуляю поздно. Звезды надо мной.
Все тихо. Только пишущей машинки,
Как зимней птицы, слышен ток-ток-ток:
Писательский ведь это городок.

7

Итак — художница. У лучших мастеров
Училась, но работа шла не шибко.
Портрет тогда хорош, сказал Серов,
Когда в нем есть волшебная ошибка.
А у нее ошибка-то была,
А вот портрета сделать не могла.

8

Ну что ж! Тогда она переключилась
На копии. Ведь это тоже труд,
И вдохновенный, знаете. Ведь тут
И чувство красок, и чутье, и сила.
Теперь она уже имеет стаж,
И ей дает задания Эрмитаж.

9

Зимой ужасно холодно в церквах;
Бывает так, что отмерзают пальцы,
Но если смазать их бараньим салцом,
То ничего. Короче, в двух словах:
Гораздо правильной работать летом,
Но Эрмитаж не думает об этом.

10

Ведь там лежишь на каменном полу
При переводе с кальки на бумагу.
— А впрочем, я привыкла. Как ни лягу —
Не простужусь. Привыкла и люблю.
В Гелати я пробуду десять дней.
Там фреска. Я вам расскажу о ней.

11

Пора и спать. Перегорела топка.
Эмульсию мы ставим на окно.
Вдруг ночью выстрел. Вылетела пробка.
Ее мы ищем при свече. Темно.
Здесь по-хозяйски экономят свет.
Мы дальше спим. Событий больше нет.

**МЫ ОСМАТРИВАЕМ
ГЕЛАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ**

1

Гелатский монастырь — он на горе.
Туда мы едем в трех машинах, цугом.
И два шофера, Гогла и Петре,
В пути перекликаются друг с другом.
А третий, тот, что с нами, Илико,
Поет все время песню «Сулико».

2

Шофер в Москве — он бы оторопел,
Узнав, что ложе древнего потока,
Что этот след всемирного потопа
И есть дорога. Он бы нам запел
Такие арии! А Илико —
Тот едет и поет: ему легко.

3

Цветные сланцы, мергели и глины —
Оттенки кукурузного коржа,
Медь, сурик, охра, киноварь и ржа.
И на табачном золоте долины
Риона голубые рукава.
Каков пейзаж! Палитра какова!

4

Здесь, если их попробовать надрезать,
Еще земные корки горячи.
Горячими солями и железом
Пропитаны подземные ключи.
Еще печет и варит — не потухла
Вулканов циклопическая кухня.

5

А сверху тянет солнечным теплом,
А снизу припекает легким жаром.
И вот уже оранжевым пожаром
В прозрачной тишине, как под стеклом,
Как доказательство подземной мощи,
Пылают мандариновые рощи.

6

Здесь в феврале уже идут с мотыгой,
Капуста выпускает пятый лист.
(Вам это подтвердит натуралист,
А здесь об этом знают не по книгам.)
И старая мимоза на горе
Уже цветет. И это в феврале.

7

...В Москве, у входа в книжный магазин,
Где очередь стояла за Спинозой,
Я помню: из укутанных корзин
Пахнуло югом, — то была мимоза.
Все это расхватили в тот же миг,
И не хватило ни цветов, ни книг...

8

Шофер поет. Мы песню «Сулико»,
Спрессованную в граммафонном диске,
Возьмем с собой, хоть это путь не близкий,
Но песням не бывает далеко.
И то, что пел грузинский паренек,
Взойдет в Москве, как южный черенок.

9

У нас обычай — песнями делиться.
И, думается, не забудет тот,
Кто слышал, как узбекская певица

Рязанское «страдание» поет
И, точно в хороводе над рекой,
Платочек держит бронзовой рукой,

10

Как в куньей шапке низко на глазах,
Седой, на беркута похожий чем-то,
Старик Джамбул, прославленный казах,
Поет о Пушкине и о Шевченко.
В его руках столетняя домбра
На песни, точно девушка, щедра.

11

О песня! Это было в пятом веке:
Калиф взял клятву с одного певца,
Чтоб правоверных не смущать сердца,
Не петь. Умолкнуть. (Дело было в Мекке.)
И наш певец, поцеловав кинжал,
Дал клятву. И... конечно, не сдержал.

12

Соединенье крепости и церкви —
Гелати нас встречает тишиной.
Бойницы обветшали и померкли,
Трава покрыла яркою кошмой
Надгробия. И двор хоть и спокоен,
Но сторож тут с винтовкою, как воин.

13

Все тихо. Даже ветер в волосах
Устал от вековых повторений.
Пчела сидит на солнечных часах,
Но и она мертва. Ей жить не время.
У крепкой, как сундук, церковной двери
Бамбук качает рыцарские перья.

14

А сам собор, суровый, без улыбок
(Он никого вовек не приласкал),
Прирос геометрической глыбой
К базальтовому основанию скал.
И горы медленным амфитеатром
Вплывают в амбразуры, кадр за кадром.

15

Внутри, в соборе, сизый полумрак,
Мозаика двенадцатого века.
Приопустив чешуйчатое веко,
На нас взирает византийский зрак.
На память по чешуйке взять нельзя ли?
Но это высоко, и мы не взяли.

16

Мы повторяем громко: буки, аз,
Нарочно по-славянски, чтобы эхо
Во храме не обиделось на нас.
А впрочем, нам, по правде, не до смеха:
Суровый сумрак в сердце нам проник.
Гремят засовы. Нас ведут в тайник.

17

Мы опускаемся в подземный склеп.
Нехватка кислорода. Мы зеваем.
В углу, корявые, как черствый хлеб,
Навалены иконы: грош цена им.
Но вот открылся нам иконостас,
А в нем эмали, их около ста.

18

Блестят, как панцирь майского жука
(Тот синь, тот фиолетов, тот янтарен),
Архангелы, евангелист Лука.

Жужжат, трепещут, точно инсектарий,
Стрекозы крылья, хоботок меча.
Тончайшая работа!.. Где свеча?

19

Укол осиною веретена...
А эти краски! Окиси урана,
Кобальта, меди. Все эти тона...
А здесь эмали нет, сквозная рана.
Нам объясняют: полные тюки
Отсюда увезли меньшевики.

20

Они эмали крали в двадцать первом.
Они спешили (дело было дрянн).
Из ризы выковыривали перлы,
Персидскую — из книги — филигрань.
Они, если б могли, в свои баулы
Пихнули сакли, города, аулы.

21

Днем слали представителей в ревком,
Тянули, шли как будто на попятный,
А ночью, бледные, в багровых пятнах,
Кидали в трюмы воровским рывком
Ковры, винтовки, вина, ткани, порох,
Измен и махинаций целый ворох.

22

Автографы Тамары, седла, кожи,
И то, что сейф, как золото, хранил,
Что в малярной Грузии дороже,
Пожалуй, было золота,— хинин...
Так мы в подвале храма, впятером,
Живой урок истории берем.

23

И снова свет. И снова древний тис
(У наших ног его сквозная крона);
А там обрыв до самого Риона,
Три километра, только оступись.
И поезд — щурим глаз, его лова,—
Там мельче шелковичного червя.

24

Сюда не долетит ни пыль, ни звук.
Под нами бездна, мы глядим со страхом.
Здесь трапезная бывшая монахов,
На солнце выдвинутая, на юг.
Ошеломляющая синева
В пролетах арок сводит нас с ума.

25

Свирепствуют лианы. У порога
Стоит, своей величиной страшна,
Из цельного платана, как пирóга,
Изъеденная шашелем квашня.
И мы дивимся: а размер, а вес-то!
И сколько же в нее влезало теста!

26

Усевшись вокруг дубового стола,
Гелатские монахи здесь едали
Лепешки, мед, барашка. И пчела,
Прапредок той, что мы сейчас видали,
Не по пути ей было, но она
Сюда влетала, чтоб испить вина.

27

Монахи, дюжие как дровосеки,
Любители хороших вин и книг...
Порой всю ночь горел в библиотеке

Их хорошо заправленный ночник.
И Песни Песней завершить главу
Им Суламифь являлась наяву.

28

А вне монастыря, в обнимку с горем,
В черкеске рваной, а не то и без,
Голодный, тощий кутаисский горец
Шел контрабандой в монастырский лес.
Лесничие — как волки. Но когда
Настали девяностые года,

29

Округа знала: есть такой, в Багдади,
Лесничий. Маяковский. Он один
Не сгубит бедняка вязанки ради.
Недавно у него родился сын.
Так пожелаем сыну, чтоб была
Судьба его, как наш очаг, тепла...

30

Бездонный воздух. Тишина и свет.
Снега и небо, оторваться трудно.
И спутник наш, украинский поэт,
Вдруг произносит: — Здесь легко быть
мудрым... —
А ведь не плохо — разве он не прав? —
Прожить здесь век среди камней и трав.

31

Описывать одну — от а до зет —
Природу, как Вергилий, как Гораций...
Но разве тучи сводок и газет,
Но разве жар и трепет наших раций,
Но разве гром военных телеграмм
Оставят нам спокойствия хоть грамм?

32

Они домчатся. Ветер их домчит.
Воображение подскажет. Память.
И мир наш, как бы ни был нарочит,
Он разлетится в прах, как этот камень,
Который мы для шутки, просто так,
Пустили вниз. И он летит, бедняк.

33

Но пусть не так. Пусть год, и два, и три
Извне пускай ничто нас не тревожит.
Но сердце — жить во льдах оно не может,
Его взорвет давленьем изнутри,
Как рыбину, чьи перья-плавники
Вдруг окровавили бы ледники.

34

Идиллия пастушеских буколик,
Альпийский воздух, горное плато...
Но разве приступы душевных колик
От мысли, что ты пишешь все не то,
Но разве эти тягостные мысли
Меня и здесь бы по ночам не грызли?

35

А там внизу... Уж там наверняка-то
Нас дожидаются. Народу — страсть!
Мы обещали. Военская часть.
Торжественное, как кусок заката,
Президиума алое сукно
На возвышении нас ждет давно.

36

И по рядам десятки, сотни глаз.
И этот легкий холодок по коже,—
Его я ощущаю всякий раз,

Когда свой голос слышу, не похожий
На тот, который только что, в обед,
Произносил «спасибо», «да» и «нет».

37

Рожденная за письменным столом
По-трудовому просто и обычно,
Моя строка рождается вторично,
Когда, как бы подхвачена крылом,
Она летит по залу. Я сама
Своей строкой теперь потрясена.

38

Пусть это деревянный сельсовет,
Пусть это мраморная колоннада,—
Где б вы ни выступали, мой совет:
Не напрягайте голоса. Не надо.
Поэзия, звучи хоть как ни глухо,
Дойдет до сердца, если не до слуха.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ИДУ НА ПОЧТУ

I

Иду на почту. Что-то я грустна...
О, ничего особенного. Просто
Мне надобно отправить два письма:
Одно из них в издательство. Вопрос там —
Нельзя ли взять аванс (вопрос больной),
И небольшое письмецо домой.

2

Оно температуры протоплазмы,
Чуть тепленькое. Формы никакой.
А я могла бы жаркою рукой
(Как трудно удержаться от соблазна!)
Вот эти клетки, эту же тетрадь
Заставить и гореть и трепетать.

3

И ставшее большим и многолистым,
Послать (и непременно заказным)
Тебе письмо, и сердце вместе с ним.
И знаю, никаким филателистам
Не снилась та любовь, с которой я
Ласкала б марок нежные края.

4

Тех марок я — какого только сорта
Не покупала (ты их береги):
В Норвегии на берегу фьорда,
Во Франции на берегу реки,
Реки огней. Она текла в Париже,
И всюду адресатом был все ты же.

5

«Любимый мой, все шире между нами
Быстробегущий времени поток.
Уже мелькнул и скрылся над волнами
(Ты долго мне махал им) твой платок.
И вот уже ни лоскутка, ни звука.
Все ширится и ширится разлука.

6

Любовь была вот именно по гроб.
Но вздор, пустяк... и все пошло иначе.
Так иногда в космической задаче
Допущена ошибка. Мелочь. Дробь.
И навсегда осталось неоткрытым
Движенье двух сердец по их орбитам.

7

Разлука затуманила черты;
Тут никакая память не поможет.
Мы не встречаемся с тобой. И все же
Встречаемся с тобою, я и ты.
Так, например, однажды в ночь, зимой,
По радио ты слышал голос мой.

8

В другой раз вечером, весною ранней,
Над горною рекою во весь рост
Передо мною вырос на экране
Тобой недавно выстроенный мост.
И показалось мне, что страшно просто
К тебе вернуться по такому мосту.

9

Казалось: за рекой, рукой подать,
Пропах медовым табаком и хвоей
Твой дом. Мы снова молоды, мы двое...
Нет, мы стареем. Вот седая прядь.
Нет, слишком поздно. Не хочу страданья.
Прощай, мой друг. До нового свиданья!»

**МЫ ПОДНИМАЕМСЯ НА ГОРУ
МЕДОНОСНУЮ И ОПУСКАЕМСЯ В
СТАЛАКТИТОВУЮ ПЕЩЕРУ**

1

Мы, северяне, жители равнин,
Мы плохо знаем жизнь своей планеты,
Ее отличья, признаки, приметы.
Безгорный край с горами несравним.
Просторные поля: пшеница, рожь,
А что на тех полях — и не прочтешь.

2

Но здесь иное. Здесь вела дневник
Планета наша. Здесь ее скрижали.
Озера эти выпахал ледник.
От раскаленной магмы здесь дрожали
Казбек, Эльбрус. И горные хребты
Сминались, как бумажные листы.

3

А до того здесь был туман и дым;
Уже рождались первые моллюски.
Была вода. Гора, где мы стоим,
Еще не начинала быть. И сгустки
Материков, материковый щит
Лежал на дне. Природа не спешит.

4

Земную сферу еле покрывала
Морская флора вместо наших нив.
Чтоб, четырехлучевые сменив,

Пришли шестилучевые кораллы,—
На каждый известковый этот шип
Ушли века. Природа не спешит.

5

Девонские лагуны. Влажный шорох,
И всасыванье воздуха, и всхлип
Двоякодышащих, и кистеперых,
И панцирных, и иглокожих рыб,
И тусклая, в зеленоватом иле,
Заря на роговых щитках рептилий,

6

Медлительные легкие и жабры,
Моря с еще не отвердевшим дном,
Хвощей чешуйчатые канделябры,
Разросшиеся в воздухе парном,
И погружение древесных масс
В земные недра: будущий Донбасс.

7

Недаром на одном ночном собрание,
Где яростное излученье вольт
Стремилло как бы ток в сто тысяч вольт,
Где зал гудел, как воздух при сгорание,
Напружив рычаги квадратных плеч,
Один горняк сказал такую речь:

8

— Я, други, буду говорить бесспорно.
(Кто расположен к смеху — выйди вон.)
На нас работал в нашем деле горном,
На нас работал, говорю, девон.
Он, этот замечательный период,
Нам заготовил уголь: на, бери вот,

9

Впервые для себя рабочий класс
Стал разрабатывать земные недра.
Так будем же работать столь же щедро,
Как щедро скоплен угольный запас,
Чтобы горело пламя древних эр
Во славу нашего СССР.

10

Сказал и сел. И бурной полосой
(Так хорошо, так здорово сказал он)
Прошла волна овации по залу.
И древние девон и мезозой
От этих жарких слов и в самом деле
По-настоящему помолодели...

11

Текли геологические эры,
Свои объемы нам не указав.
Менялся климат. На песчаник серый
Встал мезозойский ящер, динозавр,
Пятиметровый, весом в десять тонн,
Яйцеродящий игуанодон.

12

Клюв черепаший в роговом чехле,
С надглазниками, с птицевидным глазом,
С овечьим мозгом, с крокодильим тазом,
Ступал он по неопытной Земле,
Которая сама еще не знала,
Кого и как вписать в свои анналы.

13

В трясине водоемов и болот,
Где знойные дымились дни и ночи,
Он жил. Самец, и самка, и приплод

(Передние конечности короче).
И задние трехпалые следы
Оттискивались на черте воды.

14

Потом следы отвердевали в сланце,
Их как бы покрывал природный лак.
И там, где низкий был архипелаг,
Вставал горбом материковый панцирь.
И берега вздымались на вершины,
Как здесь, куда подъем мы совершили.

15

Здесь было девять игуаноносов,
От них осталось шестьдесят следов,
И миллионы медленных годов
Их пронесли на каменных ладонях,
Пока на них не совершил набег
Один прелюбопытный человек.

16

Сосредоточенный, неговорливый.
Без шапки. Коренаст и полусед.
Учился в Дерпте. Побывал в Берлине,
Естественный окончил факультет.
Теперь он здесь Хранителем Веков,
И у него ключи от всех замков.

17

Ключ от Гелати, от его эмалей.
Ключ от Баграта, от его руин:
У каждого ключа особый чин.
Ключ от музея. Новый. Весь из стали.
А этот (он особенно гремуч)
От сталактитовой пещеры ключ,

18

Хранитель здесь воспитывался, рос он.
Он все эти места перелистал.
Ему, задолго до того как стал
Он штатной единицей Наркомпроса,
Была известна каждая тропа
Насквозь. А говорят — любовь слепа.

19

Неверно это. Зачастую тот,
Кто сильно любит, чья любовь в разливе,
Становится мудрей и прозорливей.
И там, где Равнодушие найдет
Поверхность ординарную одну,
Любовь предугадает глубину.

20

Так и Хранитель. Он открыл пещеру,
Он запер это чудо на замок:
Установил проходы. Принял меры,
Чтобы никто использовать не мог —
Ни люди, ни животные, ни змеи —
Пещеру ту. Мы к ней придем позднее.

21

Но это не было его последним
Открытием. Он, исписав тома,
Добился превращенья в заповедник
Редчайшего лесистого холма,
Куда сошлись как бы с научной целью
Все — от карагача, кончая елью,

22

Азалия, самшит и каприфоль,
Бук, ясень, рододендрон, лавровишня.
И легкий ветер, взявшись ниотколь,

Пройдя всю эту гамму еле слышно,
Как в трубах разноствольного органа,
Приобретает звучность урагана.

23

И, наконец, на костяке горы
Сатáплии, что значит «Медоносной»,
Взвился дымок затяжки папиросной:
То — в зной, без шапки, волосы мокры,
Огромного упорства индивид
Песчаник древний чистит и скоблит.

24

И вот на кафедральной высоте,
В амфитеатре горном над Колхидой,
В безлюдье, под орлиною эгидой,
На твердом кристаллическом пласте,
В сохранности поистине нетленной,
Предстала запись молодой вселенной.

25

И, видимо, Хранителю обидно,
Что вот следы... А кто их здесь видал?
Он пыль из них, чтоб лучше было видно,
Выскребывает ручкой «идеал»,
И тщательно, на корточках, потом
Он лоск на них наводит обшлагом.

26

Да, было дело. Он это запомнил.
Он все боялся, что возникнет вдруг
Проект устроить здесь каменоломню,
Наладить пастбище, оформить клуб.
Да мало ли заманчивых идей
Порою возникает у людей!

27

Хранитель побывал где только мог.
Тот занят был, а этот не настроен.
Тот уверял: — Мы это все устроим.
Поможем. — И, конечно, не помог.
А пятый: — Что? Следы? Какой-то зверь?
Не входит в график. И закройте дверь.

28

Ответ, увы, не новый. И, не правда ль,
Он нам напоминает вот о чем:
Как поездом (об этом было в «Правде»)
В один колхоз перевозили пчел.
И пчелы (а они ведь с хитрецей)
Внезапно улетели за пыльцой.

29

Колхозник, бедный, настрадался вдоволь:
— Товарищи, ведь это легче в гроб.
Ведь пчелы-то — они вернуться в Гомель,
А ульи-то угнали в Конотоп. —
Но, как ни умолял он, в перегон
По графику отправлен был вагон.

30

Друзья мои, уже к тому идет:
Как ящер, вымрет человек в футляре.
И то-то бесподобен будет мед!
И радостный, без горечи и хмари,
Родится день, прекрасней во сто крат,
Когда умрет последний бюрократ...

31

Мы под землей. Сегодня встали в шесть мы
Утра. И мы вместили в этот срок
И солнечную даль у наших ног,

И темноту подземных путешествий,
Где сыро, где безглазая мокрица,
Услышав нас, торопится укрыться.

32

Мы под землю. О зеница ока!
О бедный глаз! Как жадно ловишь ты
Колеблющийся в море темноты
Свет факела. Держа его высоко,
Идя вперед, нам освещает штрек
Полуседой, без шапки человек.

33

Здесь сталактиты бивнями сошлись
(Багрово дышит факельное пламя).
А там собор, натекший сверху вниз,
Готический, весь белый, как в Милане.
Подземная вода и доломиты,—
И вот какие чудеса намыты!

34

Без лепета, без плеска и журчанья
(Такой мы не видали никогда)
Глухонемая черная вода,—
Ее мы обнаружили случайно.
Хотели мы испробовать глоток —
И не могли. Никто из нас не мог.

35

Подальше от такой реки. Дрожим,
Как будто мы опасности избегли.
И снова сталактитовые кегли;
Их гроздь нависают. Их режим —
Паденье капли в час или в минуту.
Кто знает? Здесь нетрудно время спутать.

Когда же мы, охолодев во мраке,
 С вертящимися пятнами в глазах,
 С дрожащим сердцем, с влагой в волосах,
 Вернулись к солнцу, погасивши факел,—
 Как палуба родного корабля,
 Нас встретила просторная земля.

Мы знали: там, за пурпуром нагорий,
 По берегам овитое вином,
 Синеет гиацинтовым руном
 Божественное эллинское море.
 И мы с высот высокогорных зон
 Глядели на Колхиду, как Язон.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

МЫ ЕДЕМ В БАГДАДИ, НА РОДИНУ МАЯКОВСКОГО

1

Бывает так: музей велик, богат,
 Работниками труд большой проделан,
 Обдуман, взвешен каждый экспонат,
 А вот душа предметов улетела.
 И уважаешь этот честный труд,
 И холодно тебе порою тут.

2

Но пусть это домашний пересказ
 Событий: трубка, одеяло, койка
 То ли в квартире Пушкина на Мойке,

У Гете в Веймаре, или у нас
В Хамовниках в Москве, у Льва
Толстого,—
И видишь человека как живого.

3

Хозяина не стало. Праха горсткой
Он стал. Но не забуду никогда,
Как лермонтовский домик в Пятигорске
Был полон теплой жизни и труда.
И за стеклом, в шкафу, казался дик
Надгробных лент мучительный цветник.

4

Пускай нам будет ясен и разборчив
Рисунок прожитого. Пусть фонтан
Бахчисарайский будет не испорчен,
Не иссякает. Пусть, назло годам,
Таков, как есть, не искажен, не скомкан,
Багдадский домик перейдет к потомкам.

5

Из дерева. Каштановый. Он мал.
Жилье лесничего, он далеко не
Роскошен. Входим. Нас никто не ждал.
Шафран на нитке сохнет на балконе,
И на гвозде у двери вязка перца
Краснеет, точно кровь у входа в сердце.

6

Здесь родился ребенок. Первый крик
Его раздался в этой комнатушке.
Здесь он лежал. В гробу он был велик,
А тут весь умещался на подушке.
И на пушок младенческого рта
Глядел рассвет с Гурийского хребта.

7

Ребенок, мальчик, ростом был высок.
Смешливый, умный и сердитый — здесь он
Тянулся вверх. И становился тесен
Ему родных созвездий гороскоп.
Его теснили горные верхи.
Он рос. И он писал уже стихи.

8

Он голос развивал. И не затем ли
Он залезал в сосуд из-под вина,
Кувшин такой. Их зарывают в землю
Почти по горло, только часть видна,
А основанье врыто. Это надо,
Чтобы в вине всегда была прохлада.

9

И путник, даже если и спешил,
Задержится и слушает, бывало,
Как отроческим голосом кувшин
Не то поет, как звонкий запеваля,
Не то гудит. И пористая глина
Рождает эхо в тишине долины.

10

Теперь, на звук не отвечая,
Молчит долина. Эха — ни следа.
Уже иная урна, гробовая,
Вобрала этот голос навсегда.
Но нас доводит до галлюцинаций
Неповторимость этих интонаций.

11

Знакомый голос в землю не зарыт.
Еще в Политехническом музее,
Как на арене в римском Колизее,

Живет воспоминаний львиный рык.
Еще звучит грохочущее эхо:
Аплодисментов гул и взрывы смеха.

12

Владимир Маяковский, голос твой
(Такие голоса не умирают)
Не похоронен в урне гробовой.
Твои слова и школьник повторяет
И вождь. И Маяковского строка
По-пушкински переживет века...

13

Мы возвращаемся. Умолкли речи.
Дорога и пустынна и темна.
Ночные фары мечут столб огня,
Да изредка из темноты, навстречу,
Метнется дерево или жилье.
И ринется во мрак. И нет его.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

НАКАЗ

1

Мы завтра едем. Улучив часок,
Укладываюсь. Привожу в порядок
Заметки. Тот или иной кусок
Уже почти готов. А здесь же, рядом,
Еще сырье. И я, в который раз,
Со стороны даю себе наказ:

2

Обдумай каждую деталь. Проверь
Ее опять. О, если б было можно
Сработать вещь, как шелковичный червь
Свивает кокон, — тонко и надежно.
Но много тяжелей бывает вить
Сюжетной ткани шелковую нить.

3

Там безобразный узел. Там обрыв.
Там расщепление темы. Мысль дробится.
Скудеет. Ход ее извилист, крив;
Не знаешь, как помочь ей укрепиться.
И так — на ниточке, на волоске —
Висит поэма. И поэт в тоске.

4

А то не так. А то — иная пытка.
Вдруг золотая жила, целый клад
Тебе откроется. Все так пойдет на лад,
Что ты уже страдаешь от избытка.
Все хорошо, прекрасно, — но беда!
Богатство не на пользу иногда.

5

Мой друг Сельвинский говорит, что ямб
Изжил себя. Перегорел. Как, скажем,
Эпоха свеч и керосинных ламп
Не вынесла бы нашего вольтажа.
Но, думается, ямбовый кристалл
И по сей день еще не отблистал.

6

Нет, русский ямб — он в духе языка.
И даже прозаическая фраза,
И та порою — как издалика

Из каменного угля грань алмаза —
Нежданной, неожиданной такой
Проблещет вдруг ямбической строкой.

7

Нет, ямб хорош, хотя и очень строг:
Не терпит словоблудия и фальши,
Не терпит двоедушья между строк.
Он все трудней становится, чем дальше
Мы пишем им. Но это ничего.
Поэты, кто за ямб? Я — за него.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ И ПОСЛЕДНЯЯ

МЫ ПРИГЛАШЕНЫ НА ЕЛКУ

1

Он старше многих птиц и многих рыб.
Он мужествен и весел, — вот каков он.
Он перенес период ледниковый;
Косматый мамонт — даже тот погиб,
А виноград, одетый лишь пушком,
Дошел до нас, подпершись посошком.

2

Он чистоплотен. Он к теплу привык,
Он любит солнце, но и то не слишком.
Порою ревматизмом, как старик,
Хворает он, весь в желваках и шишках.
Порою, чтобы зной его не сжег,
Ему наденут шляпу на глазок.

3

И он стоит довольный — так и надо:
Облитый нестерпимой синевой,
Но в холодке. А осы и цикады
Его боятся: думают — живой.
Его Мичурин за Полярный круг
Погнал. И он пошел, хоть и не вдруг.

4

Кудрявый странник, легкая душа,
В бочонке тесном — даже там он бродит.
И на зернистом мраморе надгробий
Лоза изваянная хороша.
Она пьянит и радует сердца;
Броженье жизни — нет ему конца.

5

Персати, ацхатури, саперави
И вязкое, как хинная кора,
Но сладкое, как роза, хванчкара...
Как жаль,— его нельзя в Москву
отправить.
Оно среди чужих земель и вод,
Как ласточка в неволе, не живет.

6

Но есть иные вина. Без очистки,
Желтеющие мутью молодой.
Не для продажи, для друзей, для близких,
Для ужина под елочной звездой.
О елке: мы не думали никак,
Что здесь ее найдем. Но это так.

7

Я допускаю, что иной знаток,
Великосветских вин живой каталог,
Смакуя грав, бордо или медок,

С их ароматом трюфлей и фиалок,—
Он улыбнется (он неисправим)
При виде этих безыменных вин.

8

В квасных бутылках. Белый ярлычок,
Где год разлива, чтобы все глядели.
Есть старики, а есть молоднячок,
Которому лишь без году неделя.
Но собранный с полчетверти гектара
В родных горах — он сладостней нектара.

9

Ни снега здесь, ни новогодних вьюг,
Ни лыж, ни радиаторов горячих.
Здесь елку за портьерами не прячут,
Здесь при открытых окнах (это юг)
Она блестит флажками, как корабль,
Пришедший из Архангельска в Неаполь.

10

Пройдут года. Но, думаю, навряд ли
Забудем мы ту елку, звезды те,
Нагорный дом, террасу, виноградник
И еле слышимое в темноте
Ночное шевеленье зимних лоз,
И детское дыханье сонных коз.

11

Январский вечер тих, как поздним летом.
И Млечный Путь, где, как жемчужный рис,
Текут седые солнца и планеты,
За горизонт легко уводит вниз.
И с жестом медленным, как и слова,
Хозяин произносит: «Там Москва».

12

Рабочий стол под лампой. Тишина.
Спокойствие, хоть летопись пиши там.
Заложен веткой горного самшита
Том Ленина на полке у окна.
И гранки (он редактор — наш хозяин)
Листает ветер, еле осязаем.

13

Зовут к столу. А там уж в три ряда
(Вечерний стол — что может быть красивей!)
Расставлена грузинская еда:
Ореховое острое сациви,
Харчо — барашек (он недолго рос),
Джонджоли — травка, острая до слез.

14

Семья хозяина: жена и он,
Его старуха мать, имеретинка
(Под подбородком черная косынка),
И дети-пионеры. Как пион,
Два галстука, четыре черных глаза:
Отцова гордость, это видно сразу.

15

Садимся. Сели. Выбран тамада
И два его помощника. Стаканы
Уже наполнены. И пьем пока мы,
Под этот кров да не войдет вода!
И чувства цельные и цельное вино
Водюю разбавлять запрещено.

16

Старуха мать... Прекрасное лицо.
Прообраз Грузии. Повырастали
Ее сыны: могучее кольцо.

Их четверо. Трoих мы не застали.
Они — по всей стране. Подыдем тост
За их успехи и дальнейший рост.

17

Искусство тостов и речей застольных
На севере утрачено, да, да.
Искусство древнее. Его не столь мы
Забыли, сколь не знали никогда.
Но в странах, где рождается вино,
Там пьют его красиво и умно.

18

А в Грузии особенно. Грузин,
В родных горах ли, на чужой низине,
В любви и дружбе он неотразим,
В борьбе с врагом — еще неотразимей.
И эти свойства в нем горят огнем,
Когда он поднимает рог с вином.

19

А вот и песня! Рокот струн рассыпь.
Нет песни — и бокал вина не полон,
И мед не сладок, и пирог не солон,
И сердце голодно, и ум не сыт.
И вот из полутьмы на яркий свет
Выходит Песня. Ей семнадцать лет.

20

Сестра хозяйки. Черных две косы
(Концы их, как ужаленные, вьются),
Глаза блестящие, как от росы,
Черешневые губы не смеются,
Они серьезны. И в руках у ней
Род мандолины, только гриф длинней.

21

И дека узкая, на ковш похожа,
И только три струны взамен восьми.
Чонгури это. Ты ее возьми,
Коснись струны. И мельче лунной дрожи,
Как бы из наклоненного ковша,
Прольется звук, прохладой дыша.

22

А вот и чаша с вязью по краям.
И лучше, хуже, громче или тише,
Но каждый должен спеть четверостишье,
Как некогда певал Омар Хайям,
О милых сердцу или о себе,
О человеке и его судьбе.

Наш хозяин-редактор

(поет)

Газетный лист — он немудрен на вид,
Но буквами различными пестрит.
Не так ли жизнь, где молодость —
курсивом
А старость — неразборчивый петит.

Один из нас, поэтов

(поет)

Невесело тебе, а ты пиши.
Ты счастлив от души, а ты пиши.
Не растекайся чувствами по древу,
Не забывай, что ты поэт. Пиши.

Шофер Илько

(поет)

Увидев розу у своих колес,
Я влево взял, хотя там был откос.

Не потревожил я цветка нимало:
Пускай умрет не от моих колес.

Сестра хозяйки

(поет)

Разбойник-коршун, вон его крыло!
К соседу я: — Скорее сбей его! —
Тот глянул — и попал мне прямо в
сердце.

А коршун? Я забыла про него.

23

И вот пока поет, как горный дрозд,
Чонгури старая и голос юный,
Плывут над нами млечные буруны,
Рои планет и завихренья звезд.
(Пожалуй, и домой уже пора нам,
Мы завтра уезжаем утром рано.)

24

И Пояс Ночи шириной в полсуток
(В какой еще стране он так широк?)
От мехового стойбища якутов
До цитрусов, где сладок ветерок, —
В дыму пурги и в звездной тишине
Проходит Пояс Ночи по стране.

25

Уснула Волга. Спят ее притоки.
На Черном море черен Тарханкут.
Уже светает во Владивостоке,
А в Негорелом скоро свет зажгут.
Но всюду, всюду контуры страны
Лучом одной звезды обведены...

26

О Грузия! Как мне найти слова,
Чтобы с алмазной четкостью и силой
Пересказать не только то, что было,
А то, что есть. Чтоб лучшая глава
Была не о руинах — мир теней,—
О современности была. О ней.

27

Увидеть Грузию не так. Иначе.
Не прошлого немое бытие,
А жизнь, живую жизнь. Вот в чем задача.
Вот замысел. Намеренье мое.
Я вижу эту новую главу,
Я ею, понимаете, живу.

28

Страна моя, я у тебя в долгу,
Я у тебя в долгу, моя эпоха.
Я о тебе писала мало, плохо.
Я постараюсь сделать что могу.
И даже больше. В том-то все и дело,
Чтобы преодолеть свои пределы.

*12 января — 22 июля 1938 г.
Москва—Переделкино*

ОВИДИЙ



ВСТУПЛЕНИЕ

Декада ветров. Со слезами на впалой щеке
Луна пробегает над городом в облаке рваном.
Предчувствие снега. По рекам Москве и Оке
Последние с грузом осенним прошли караваны.
Темнеет с полудня. И то, что всего мне милей
И чем никогда не могу насладиться я вдоволь,
Как малое солнце, над снегом бумажных полей,
Рабочая лампа сияет мне светом медовым.
Начнем же работу! И пусть, оттесняя снега,
Преодолевая инерцию чистой страницы,
Склоненные слева направо, пойдут колоситься
И полниться силой живой за строкою строка.
И пусть, сквозь туманы веков мое рвение видя,
Великая тень мне кивнет благосклонно — Овидий.

ЕГО БИОГРАФИЯ

...Куда там
Стальное перо,— до гусиных еще далеко;
Еще не кричали те гуси на зорях багряных.
Телячий пергамент — он тоже (ему еще рано)
На римских лугах материнское пьет молоко.

Чернильный орешек? Еще в обиход не вошел он.
Китайская тушь? Но ведь это в Китае. А Рим,
Тот пишет тростинкой по гладкому воску. О пчелы,
С какою любовью о вас мы всегда говорим!

И вот в это время в Италии, в горных Абрुццах,
Где эхо летает за звуком, едва он возник,
Рождается мальчик, с чьим именем тесно сплетутся
И лавры, и розы, и тернии: как же без них?

И он, этот мальчик, мужает. Он детскую тогу
Меняет на тогу мужскую,— весь мир перед ним.
Он едет в Сицилию, Трою, он странствует много,
Он едет в Афины и вновь возвращается в Рим.
Он плавно восходит по лестнице преуспеваний:
Уже он судья, триумвир. (Благосклонна судьба!)

Он ведает тюрьмами города. Даже и в ванне
Он занят. Диктует. Зовет для диктовки раба.
И раб-секретарь, разложив воцаные таблицы
(На столике чаша и бронзовый нож для бритья),—
Нотирует. Пишет, склонившись: такие-то лица
Подвергнуты каре такой-то. Параграф. Статья.
Когда же по праздничным дням посещает театр
Начальник над тюрьмами, Публий Овидий Назон,
То он, двадцатипятилетний, сидит, как сенатор,
В оркестре над флейтами. Вот он куда вознесен!
Кто мог предсказать, что нежданно, пресытись
почетом,

Он лестницу почестей, мрамор ее ступеней,
Отдаст за простую тропу. Что с себя совлечет он
Надменную тогу сановника,— счастье не в ней.
Уже ни приветственных кликов, ни факельных за-
рев.

Затих в отдалении Вечного Города гул.
Исчез триумвир, и остался философ-аграрий;
Его посещают Проперций, Горацій, Тибулл.
Уже начинаются первые метаморфозы:
«Языческой библии» хаос. Рожденье миров.
Гиганты и гении. Черные Зевсовы грозы
И розы Авроры. И сельские флейты ветров.
Божественный час, погоди. О, помедли! Куда ты?
Громада Везувия облаком тает вдали,
Луна еще спорит с последним багрянцем заката,

А в доме прислужницы первый светильник зажгли.
И тонкое пламя, несомое юной рукою,
В вечерней уже синеве совершает свой путь
За окнами дома. Как будто богиня Покоя
Обходит владенья свои, перед тем как уснуть.
Но что это? Скрылась луна. Изменило личину
Вдруг море. У берега вырвался стон:
То галька морская скрежещет — не хочет в пучину,
То парус трещет — не хочет в пучину и он.
Изгнание. Мрак и печаль. Ни Авроры, ни Феба,
Ни всех этих светлых божеств, дорогих для южан.
Лишь снег — порожденье холодного скифского
неба —

Ложится на плечи, привыкшие к теплым дождям.
Дождя золотого, увы, не дождется Даная,
И Лебедь утонет в косматой от бурь глубине.
У Черного моря, у сизого устья Дуная
Как тяжело тому, кто привык к средиземной волне!
Злосчастный поэт! Но удел его — как он ни горек,
И как его самая смерть ни бесславно тиха —
Его биография, — ею займется историк,
А мы насладимся смеющейся жизнью стиха.
Недаром она уже тысячелетия длится
И все же не сделалась ни на иоту бледней.
Давно уже стала ничем вощаная таблица,
Но живы слова, что начертаны были на ней.
Бессмертны коринфская бронза и мрамор паросский,
Они охраняемы крепким щитом красоты;
Но трижды бессмертна дощечка, покрытая воском,
Где Муза прошла. И где след ее легкой стопы.

ФАЗТОН

(По Овидию)

Феб отдыхал. Из вечернего пурпура ткан,
Пал его плащ на янтарные плиты. Колонны
Были из меди и золота — дивный чекан,
Весь, точно кубок, светился дворец Аполлона.

Феб затуманился. Будто нашло на него
Облако грусти. Он ясные очи прищурил.
(Если бы мы в этот миг увидали его,
Мы бы сказали: «Денек помрачнел;
не к дождю ли?»)

— Сын мой, да знаешь ли ты, что порою я сам
Кóней крылатых с опаской своих понукаю?
Если же, стоя на полдне, подобно весам
Уравновешенным, вниз погляжу,— то такая

Бездна откроется там. И такие края
Дальнего мира, куда я и взора не кину.
Дух замирает, что кони рванутся,— и я,
Чашей весов поколебленных, ринусь в пучину.

Ты ж и подавно.— Не бойся, не дрогну, отец.
— Это не все еще. Лапой, клешней или рогом
Овн, Скорпион многочленистый, Лев, наконец,
Станут грозить тебе.— Я их миную дорогой.

— Неба вращение... надо его превозмочь.
— Я это сделаю.— ...Все, что, язвимый любовью,
Бедный отец предлагал в эту длинную ночь,
Было отвергнуто. О, эти просьбы сыновьи!..

— Что ж, Фаэтон мой, да сбудется, что пожелал!
Но, если ты заменить собираешься Феба,
Должно тебе торопиться. Восток уже ал,
Розы Авроры уже охватили полнеба.

Только промолвил,— а кони, готовые в путь,
Ржанием эхо в ночном разбудили эфире.
Солнечной масти. Как медное облако грудь,
Ноги как струны. И шеи подобные лире.

Время приспело не думать, а действовать. Речь
Феб прерывает. Лучи золотые достал он,
Но, чтобы голову отрока ими не сжечь,
Лоб он ему покрывает волшебным составом.

Он говорит ему: — Сын мой, дорога трудна;
Между Землей и тобой — расстоянья мериллом
Пусть тебе (слышишь?) сестра моя будет — Луна,
Тетка твоя. Ты следи за ней. — Так говорил он.

Но Фазтон и не слышит. Его уже нет.
Выхватил вожжи — и в путь, наравне с облаками.
(Вот почему так был яростен этот рассвет.
Юность — не терпит она, чтоб ее опекали.)

Выхватил вожжи — и в путь! Что, безумный юнец,
Страшно тебе после мирного золота пашен
Землю увидеть, начало ее и конец,
В синем кольце океана, как щит черепаший?

Дальше, все дальше нагорья, холмы, острова,
Весь многоярусный мир. Неизвестные звезды
С тяжким гуденьем вращаются, как жернова,
Ближе и ближе. Видны их хрустальные гнезда.

Кони, ведомы не Фебовой твердой рукой,
Мчат колесницу в такие свирепого неба
Области, где и дороги-то нет никакой,
Из небожителей где ни один еще не был.

Глядя на это, холодная сердцем Луна,
Феба сестра, хоть и был ее срок не исчерпан,
Как бы истаяла. Стала и вовсе бледна.
(Горе тяжеле тому, кто и сам на ущербе.)

Вдруг, изменив направление, вниз повлекли
Кони свой груз. Ураган. Наступает удушье.
Вот уже слышатся первые песни Земли:
Ропот морского прибоя да флейта пастушья.

Жаркие оси крепят колесницу, а в ней
(Снадобье больше не действует, кудри пылают)
Отрок почти без сознания. Четверка огней
Мчит его к смерти. А он и не видит, не знает.

Вот уже алые кони, как жерла печей,
Пышут на снежные горы. Снега на высотах
Тают стремительно. Вот показался ручей,
Сотни ручьев. Города, как пчелиные соты,

Кажут пустые ячейки. Людские рои
К рекам, фонтанам, озерам бегут, акведукам.
Поздно! В кувшины взамен многоводной струи
Падают капли одни — это слышно по звукам.

Люди бегут за последним ручьем. А ручей,
Чуя, что он пересох, успевает — о горе! —
Скрыться в реке. Но и та, становясь горячей,
Но и река, умирая, торопится в море.

Море же, скрытое паром, в земное нутро,
В недра земные уходит спасать свое лоно.
Дно обнажается. Судна крутое ребро
Бьется-скрежещет о камни. Но тут из зеленой

Ставшая буро-седой, сотрясая леса,
От корневищ отрывая столетние комья,
Перекрывая богов и людей голоса,
Матерь-Земля подымается: «О, не легко мне,

Боги бессмертные,— так возопила она,—
К вам обращать свои горькие слезы и пени.
Я, что пекусь о посевах, рощу семена
Злаков и трав. У которой такое терпенье.

Плуг меня ранит глубоко — терплю. Бороны
Злые укусы — терплю. Понимаю — так надо.
Ежели все же не все урожаи равны,
Это не я, это дело дождя или града.

Люди меня почитали. Растенья цвели.
Боги, казалось мне, тоже довольны. Теперь же
Вижу, что нет. Так убей меня, испепели
Сразу огнем, но не жги по частям, Громовержец!»

Молвила так. А потом уже молча, без сил,
Грудь обнажила: глядите. И как ни далеко
Было от тех, кто внимал, до того, кто молил,—
Сразу узрело Юпитера зоркое око,

Что происходит. Залить нашу Землю рекой
Громокипящей, каскадом из тысячи скважин
Бог пожелал. И не смог. У него под рукой
Не оказалось ни тучки, ни облачка даже.

У Громовержца морщины пошли по челу.
Весь потемнел. И внезапно, за правое ухо
Руку свою занеся, он пускает стрелу
Вниз, в колесницу. И эхо отвечает глухо.

В то же мгновенье любимое Феба дитя —
Пал Фэтон. Но его опаленное тело,
Точкой сияющей по небу быстро черта
Путь свой, подобно звезде, еще долго летело.

В дальних краях его принял поток Эридан,
И на прощанье, как некое алое знамя,
Словно живое, над тем, кто уже бездыхан,
Встало о трех языках погребальное пламя.

Кончено!.. Нежные руки наяд-гесперид
Лик омывают, похожий на Феба чертами.
«Слава тому, кто прекрасным безумьем горит»,—
Вот что на камне могильном они начертали.

А на Земле в это время уже тишины
Вздых облегчения влажной прохладой повеял.
Вопли и стоны умолкли. И стали слышны
Флейты пастушьи. И где-то ягненок заблеял.

*

Так повествует Овидий о юноше. Но
Воображение с этим не хочет мириться.
Полно! Подняться до звезд, где еще ни одно
Сердце не билось. Глядеть, опаяя глазницы,

Смерти в лицо. Напрягая сустав плечевой
С силой, какой и атлет обладает не каждый,
Править четверкой. Алкая воды ключевой,
Быть самому в то же время источником жажды,—

Ввергнуться в бедствия, в кровь и огонь облаков
Лишь для того, чтобы значиться Фебовым сыном?
Нет, не того он желал. Фаэтон не таков.
Он как бы родствен Икару. Желаньем единым

Как бы сжигаем. Его опьяняет простор;
Воздуху он подставляет, движения полон,
Грудь обнаженную. Левую руку простер,
Кудри летящие встали над ним ореолом.

Что ему почести, слава, божественный чин?
Всю нашу Землю объемной уже и весомой
Видит впервые он. Действий уже и причин
Взаимодействие. То, что вчера аксиомой

Мнилось ему, что казалось в природе вещей,
Вечной игрою простейших ее элементов,—
Взято теперь под сомненье. Он видит: дождей
То слишком много, то мало. Иные зачем-то

Страны под снегом, а рядом безводье степей,
Пашня строптивая. Пахарь, согбенный обидой.
Голод и холод. Не слишком ли много скорбей,
Немилосердные боги, под вашей эгидой?

Переродить нашу Землю. Сказать ей: приди!
Нивы, моря, виноградники... (Тень их резная
Издали кажется синей.) Прижать их к груди,
Все эти гроздья, колосья, цветы. Изнывая

От состраданья, любовью и гневом горя,
Жар излучая из огненной Феба короны,
Ринулся вниз Фаэтон. И тогда в бунтаря
Черной стрелой Юпитер метнул разъяренный.

Что до Земли, то, пройдя через этот поток
Пламенных бед, через этот огонь испытанья,
Стала прекрасней она. И когда холодок
Осени ранней раскрасит в цвета увяданья

Смешанный лес. И когда, точно знамя в бою,
Клен загорится над озером, рядом с сосною,
Кажется мне: Фаэтона я след узнаю.
Пурпур одежды его. Или, если весною

Огненной розы стремительно вспыхнет бутон,
Словно зеленого факела алое пламя,
Мне представляется: это зажег Фаэтон.
Или, когда на арбе, запряженной волами

(Грузовиков не хватает — такой урожай),
Тучные дремлют мешки и когда по дорогам
Слышится: «Дивчина, что же ты? Хлопец, езжай!
Ты не один тут, товарищ». (И правда, их много.)

В дни, когда чувствуешь, как эта строчка верна, —
Помните: «Золото, золото падает с неба...» —
Чудится мне: изобилие, море зерна,
Роскошь его — это дар Фаэтона, не Феба...

Вечером девушка юноше скажет: «Постой,
Дай загадаем!» И небо, среди миллионов
Звездных миров, им ответит падучей звездой;
Это опять Фаэтон — покровитель влюбленных...

Рядом со мной, за оградой, увитой плющом,
Белою пеной морской облицованный будто,
Уединенными окнами в сад обращен,
Высится дом. Это здание Химинститута.

В зимние сумерки я прохожу иногда
Мимо коринфских колонн его. Их капители
Искрятся снегом. Над ними восходит звезда,
Ночью над ними летят голубые метели.

Вот осветилось окно. Вот — четыре подряд.
Скоро, я знаю, опустится желтая штора;
Светлый, магический только не круг, а квадрат
На серебристом снегу обозначится скоро.

Как я люблю этот час между ночью и днем,
Точно на грани двух возрастов у человека!..
Вот я стою под излюбленным мною окном:
Вижу я стол с микроскопом. Прищуривши веко,

В белом халате работает здесь аспирант,
Гордость профессора. В детстве служил он
подпаском.

Был у мальчишки в то время один лишь талант —
Щелкать бичом. Подростал он суров и неласков.

Землю насущную видел он изо дня в день,
Да не такую, как видит ее горожанин
В Парке культуры, когда расцветает сирень.
Нет, он видал, как к посеву ее обряжали,

Рыхлили бережно чуть ли не каждый комок,
Теплили свечи во храме. Но тощий суглинок
Как ни старался, а дать урожая не мог.
Так и лежал этот русский простор, как в былинах,

Словно тоскуя: когда же придет богатырь?
Он и явился. Он взял в свои руки землю,
Так что теперь сорняками заросший пустырь
Истовым колосом в пояс готов поклониться.

Лаборатория. Химия. Фосфор. Азот.
Тигли и колбы, пробирок стеклянные жала,—
Все для земли. Чтобы снять с нее бремя забот,
Чтоб здоровее была, чтобы легче рожала...

Вот я и дома. (От холода щеки горят.)
А на столе, позлащенные южным загаром,
Яблоки, груши, лиловый — во мху — виноград.
Рог изобилья. Корзина. Прекрасный подарок.

Груши как бронза. У яблок румянец — пожар,
Ягоды — вряд ли отыщешь крупней и лиловей.
Только подумать, что весь этот сладостный дар
Собран не где-нибудь в Ялте, а в бывшем Козлове.

Чудо! И кажется мне, что огнем налиты
Дивные фрукты за праздничным нашим обедом, —
Это его, Фаэтонова, рвенья плоды.
Он помогал человеку. И вот их победа.

ВОСПОМИНАНИЯ

I

Сколько воды утекло! Водопад. Ниагара.
Ты же, мой город, остался, как был, молодым.
Памятник Пушкину у изголовья бульвара,
Майские сумерки. Моря сиреневый дым.

Наша гимназия... (Время-то как пролетело!)
Помню явление каждое, каждый предмет:
Хрупкую физику, алгебру черную с белым
И географии синий, как индиго, цвет.

Помню: из воска и проволоки, на шарнирах
Солнечной нашей системы модель, где бочком
Бегают шарик Луны. И над всем этим миром
Взгляд старика Милитицкого из-под очков.

Польский акцент. Шишковатый сократовский череп
Легких волос окружало седое кольцо.
Глянет, бывало, он, все ли на месте, — проверит
(Он нас не знал по фамилии, только в лицо).

«Вы невнимательны суть. Потрудитесь садиться», —
Скажет, бывало, когда ты ответишь не так.
Сядешь. А в классном журнале стоит единица;
Строгий-престрогий был, пренеприятный чудак.

Да. И, однако же, этот брюзга и придира,
Этот мучитель — какой это был педагог!
Длинной указкой своей поразить, как рапирой,
Насмерть любое чудовище лени он мог.

Как мы боялись ответить не только что дурно,
Только посредственно. Как он несносен бывал,
Старый наш физик. Но он же и кольца Сатурна
Магией слов как бы на руку нам надевал.

Звезды. Планеты. Миры. От кометных парабол
(Многие были из них до того велики!)
Класс замирал. Было слышно, как падала на пол,
Видимо, ручка из дрогнувшей чьей-то руки.

Солнце. Его излучения. Протуберанцы,
В черной вселенной ветвится корона смерчей...
Мы уходили домой. Нам казалось, что в ранце
Мы уносили сиянье. Он стал горячей.

2

Время весенних прогулок. Но что нам погода!
Сдвинуты парты. На наших учебных часах —
Хаос. Дыхание девятьсот пятого года
Треплет тетради и книги. Гудит в волосах.

Мы потеряли спокойствие. Сходка ли, митинг,
Смирные девочки из буржуазных семей, —
Наши товарищи нам говорили: «Идите!»
Наши родители нам говорили: «Не смей!»

О, не словами... А тем, что они так несчастны,
Тем, что вздыхали, из комнаты молча уйдя:
Нежно любимый отец, у которого астма,
Мать, у которой на свете одно лишь дитя.

Как они поздно ложились. Вставали с рассветом.
Как они глаз не сводили с часов со стенных.
Как (бессознательно) часто играли на этом...
Впрочем, довольно. Давно уже нет их в живых.

Помню, как будто вчера это: с мелом и губкой,
 Старый Фома Милитицкий у классной доски
 Нам повествует о судьбах кометы столь хрупкой,
 Что на осколки она разлеталась. В куски.

Вот уже звездным квадратом полночного неба
 Нам померещилась черная наша доска.
 Вот уже он разлетелся, как будто и не был,
 Маленький мир наш; и радость его, и тоска.

Что нам земля! Ее жарких сердец перебои,
 Раз мы достигли границ неземной тишины.
 Песня пастушья и ропот морского прибора —
 Легкие звуки, тяжелые нам не слышны.

Мы уже в небе, где сердцу легко и не больно,
 Вечности где голубой холодок ощутим.
 Наши родители были бы нами довольны,
 Видя, как ровно мы дышим, как тихо сидим.

Вдруг мы очнулись. Мы вздрогнули. Что это? Споря
 С музыкой сфер, заглушая ее на лету,
 Стало расти рокотанье, но только не моря, —
 Мы услышали и песню, но только не ту.

Мы растерялись. Мы прямо из недр мирозданья
 Бросились к окнам. (Старик растерялся и сам.)
 Нашего слуха коснулось земное рыданье,
 Зрелище горя людского предстало глазам.

Что мы увидели, лица о стекла расплющив?
 Сходно с движением все прибывающих вод,
 Двигалось море голов. Становилось все гуще,
 Люди всё шли, выходя из дверей и ворот.

Русые, темные головы. Скорбно-понурий
 Бабий платочек. Сверкнувшая в дальнем луче,
 Где-то над черной крылаткой, как снег, шевелюра,
 Бледный мальчонка на ситцевом чьем-то плече.

Группа матросов, идущая как бы на приступ;
Косоворотки и куртки стоявших в цепи.
Воротнички и неяркие шляпки курсисток,
Как колокольчики в нашей приморской степи...

Кто их построил в ряды? Кто о вечном покое
Пел, как не пела еще ни одна лития?
Кто распахнул наши окна, одно и другое,
Холодом смерти потряс и огнем бытия?

В узком гробу, восковой, под малиновым рюшем,
Лоб. Молодое лицо. Очевидно, студент.
Розы. «Вы жертвою пали» — вторгается в душу,
Вот и фуражку несут на подушке из лент.

А позади — неподвижная, даже без стопа,
Видимо, дальше за гробом не в силах шагать,
В крытой пролетке (их звали у нас фээтоном)
Простоволосая старая женщина. Мать.

Так мы стояли, пока проплывал он под нами,
Пурпурный гроб. И пока он вдали не исчез,
Небо его провожало глухими громами,
Где-то гроза проходила за краем небес.

Где-то за синей чертою морского обрыва,
За горизонтом, стремительно, как из пращи,
Сквозь облака, освещенные солнечной гривой,
Бурно летели на землю косые дожди.

Здесь же над городом, в небе, по-летнему ярком,
Соединяя две дальние точки земли,
Радуги встала двойной триумфальная арка,—
Так в эту арку, под пение, гроб и внесли.

Вдруг из толпы, напряженной уже до предела,
Голос взлетает над песней: «Со смертью в груди,
Вот он лежит— наш товарищ! Не прожил, сторел он,
Малая искра, но пламя еще впереди!..»

Топот. Полиция. Свист. Уже конные с тыла
Топчут ряды. Где-то шашка уже наголо.
Поздно! Оно улетело. Крылатое *было*
Сказано слово. И все услышали его.

«Вы невнимательны суть. Потрудитесь садиться», —
Вдруг встрепенулся старик наш. И злые значки
Ставить собрался в журнал. (Он любил единицы.)
Но ничего не поставил. И вытер очки.

Так мы застыли. И так оно долго летело,
Это мгновенье: в грозовом огне облака.
И на доске, уходящий за край ее, мелом —
Путь метеора. Полет на века и века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как зарождается образ? Берется откуда?
В бездне пространства и времени вещи, на вид
Самые разные, вдруг совпадут, и — о чудо! —
Образ, как пойманный, в клеточке мозга сидит.
Как происходит тишайшая эта работа?
Кто отыскал ее след, проследил ее ход?
Все это смутно. Не так ли пчелиные соты
Полнит цветочная пыль, превращенная в мед?
Все это только догадка, скользнувшая мимо,
Неуловимая, как ты ее ни лови.
Как хорошо, о друзья, что не все объяснимо
В нашей поэзии, в музыке, в снах и в любви.
Вот я читаю Овидия... Синим морозом
Дышит январь. И внезапно, мгновенье одно —
Юг. Совершается некая метаморфоза:
Полное солнечных бликов открылось окно.
Снова над траурным шествием поднят высоко
Юноша, мальчик, покоится в алом гробу.
Розы венчают его. От воздушного тока
Прядь золотая трепещет на мраморном лбу.
И сквозь листву молодую по мертвому лику
Солнце проходит, касаясь то губ, то виска,
Будто прощаясь, Не так ли со скорбью великой

Мертвого первенца отчая гладит рука?
Ленты в безветренном воздухе, будто из раны
Кровь, не свернувшись, прямая, на землю течет.
Ставшая звездного неба бездонным экраном
Классная наша доска. И старик звездочет.
Грозная песня, звучащая снова и снова,
Точно для входа в историю некий пароль.
Старая мать в фаятоне... Само это слово,
Даже оно здесь сыграло какую-то роль.
Вечная молодость сердца. Упорство. Дерзанье.
Зарево мысли. Горение страстной души.
Юность, летящая ввысь на любое терзанье,
Неустранимая, как ты ее ни страши.
Малая искра. Горящая точка, в которой
Пламя тайлось ярчайшего в мире огня.
Это заря Революции. Это «Аврора»,
В пурпур одетая вестница нашего дня.

1939

ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН



ГЛАВА ПЕРВАЯ

МЫ — ГУМАНИСТЫ

1

В пролет меж двух больничных корпусов,
В листву, в деревья золотого тона,
В осенний лепет птичьих голосов
Упала утром бомба, весом в тонну.
Упала, не взорвавшись: был металл
Добрей того, кто смерть сюда метал.

2

Здесь госпиталь. Больница. Лазарет.
Здесь красный крест и белые халаты;
Здесь воздух состраданием согрет.
Здесь бранный меч на гипсовые латы,
Укрывшие простреленную грудь,
Не смеет, не дерзает посягнуть.

3

Но Гитлер выжег кровью и железом
Все эти нормы. Тишину палат
Он превращает в судорожный ад.

И выздоравливающий с протезом,
Храбрец, блестяще выигравший бой,
Бледнеет, видя смерть перед собой.

4

А вестибюль приемного покоя...
Там сколько жертв! Их привезли сейчас.
Все эти лица, голоса... какое
Перо опишет? Девушка без глаз
(Они полны осколками стекла)
Рыдает, что она не умерла.

5

Фашист! Что для него наш мирный кров,
Где жизнь текла, исполненная смысла,
Где столько пролетало вечеров
За письменным столом? Теперь повисла
Над пустотой развалина стены,
Где полки книг еще сохранены.

6

Что для фашиста мирный русский дол,
Голландский сад, норвежская деревня?
Что для него плодовые деревья,
Речная пристань, океанский мол?
Все это — только авиамишени,
Все это — лишь объекты разрушений.

7

Умение летать!.. Бесценный дар,
Взлелеянная гениальным мозгом
Мечта. Впервые на крылах из воска
Взлетает к солнцу юноша Икар
Затем ли, чтоб на крыльях
«мессершмиттов»
Витала смерть над современным Критом?

8

Затем ли итальянец Леонардо
Проникнуть тщился в механизм крыла,
Чтоб в наши дни, в Берлине, после старта
Фашистская машина курс взяла
На университетские аллеи
Времен еще Декарта и Линнея?

9

Как грозен неба вид! Как необычен!
Как глухо полыхают жерла туч
В часы ночных боев, когда зенитчик
Прожектористу говорит: «Дай луч!»
И бледный луч на поиски врага
Вздымается, как грозная рука.

10

Нашла его. Нашарила за тучей.
К земле его! Чтоб оземь головой,
Чтоб подняли его моторы вой,
Чтобы сгорел он в собственном горючем,
Чтобы зловещий этот нетопырь,
Ломая крылья, пал бы на пустырь.

11

Не вырвется из наших рук, шалишь!..
Он мечется. Движения все резче.
Он падает. И, видя это с крыш,
Пожарные дружины рукоплещут.
И, слыша это снизу, со двора,
Дежурные во тьме кричат «ура»...

12

Есть чувства в человеческой душе,
Которыми она гордиться вправе.

Но не теперь. Теперь они уже
Для нас как лишний груз при переправе:
Влюбленность. Нежность. Страстная любовь...
Когда-нибудь мы к вам вернемся вновь.

13

У нас теперь одно лишь чувство — Мечь.
Но мы иначе понимаем это;
Мы отошли от Ветхого завета,
Где смерть за смерть. Нам даже трудно
счесть...
С лица земли их будет сотни стертых
Врагов — за каждого из наших мертвых.

14

Мы отомстим за все: за город наш,
Великое творение Петрово,
За жителей, оставшихся без крова,
За мертвый, как гробница, Эрмитаж,
За виселицы в парке над водой,
Где стал поэтом Пушкин молодой,

15

За гибель петергофского «Самсона»,
За бомбы в Ботаническом саду,
Где тропики дышали полусонно
(Теперь они дрожат на холоду).
За все, что накопил разумный труд,
Что Гитлер превращает в груды груд.

16

Мы отомстим за юных и за старых:
За стариков, согнувшихся дугой,
За детский гробик, махонький такой,
Не более скрипичного футляра.
Под выстрелами, в снеговую муть,
На саночках он совершал свой путь.

17

Мы — гуманисты, да! Нам дорог свет
Высокой мысли (нами он воспет).
Для нас сиянье светлого поступка
Подобно блеску перстня или кубка,
Что переходит к сыну от отца
Из века в век, все дале, без конца.

18

Но гуманизм не в том, чтобы глядеть
С невыразимо скорбной укоризной,
Как враг глумится над твоей отчизной,
Как лапа мародера лезет в клеть
И с прибежавшего на крик домой
Срывает шапку вместе с головой.

19

Как женщину, чтоб ей уже не встать,
Фашист-ефрейтор сапогами топчет,
И как за окровавленную мать
Цепляется четырехлетний хлопчик,
И как, нарочно по нему пройдя,
Танк давит гусеницами дитя.

20

Сам Лев Толстой, когда бы смерть дала
Ему взглянуть на Ясную Поляну,
Своей рубахи, белой, как зима,
Чтоб не забрызгать кровью окаянной,
Фашиста, осквернителя могил,
Он старческой рукой бы задушил.

21

От русских сел до чешского вокзала,
От крымских гор до Ливии пустынь,
Чтобы паучья лапа не всползала

На мрамор человеческих святынь,
Избавить мир, планету от чумы —
Вот гуманизм! И гуманисты — мы.

22

А если ты, Германия, страна
Философов, обитель музыкантов,
Своих титанов, гениев, талантов
Предавши поруганью имена,
Продлишь кровавый гитлеровский бред, —
Тогда тебе уже прощенья нет.

23

Запомнится тебе ростовский лед.
Не позабудешь клинскую метель ты,
И синие морозы невской дельты,
И в грозном небе Пулковских высот,
Как ветром раздуваемое пламя,
Победоносно реющее знамя.

ГЛАВА ВТОРАЯ

СВЕТ И ТЕПЛО

1

В ушах все время словно щебет птичий,
Как будто ропот льющейся воды:
От слабости. Ведь голод. Нет еды.
Который час? Не знаю. Жалко спички,
Чтобы взглянуть. Я с вечера легла,
И длится ночь без света и тепла.

2

На мне перчатки, валенки, две шубы
(Одна в ногах). На голове платок;
Я из него устроила щиток,

Укрыла подбородок, нос и губы.
Зарылась в одеяло, как в сугроб.
Тепло, отлично. Только стынет лоб.

3

Лежу и думаю. О чем? О хлебе.
О корочке, обсыпанной мукой.
Вся комната полна им. Даже мебель
Он вытеснил. Он близкий и такой
Далекий, точно край обетованный.
И самый лучший — это пеклеванный.

4

Он с детством сопрягается моим.
Он круглый, как земное полушарье.
Он теплый. В нем благоухает тмин.
Он рядом. Здесь. И, кажется, пошарь я
Рукой, перчатку лишь сними,—
И ешь сама. И мужа накорми.

5

А там, по Северной, сюда идут,
Идут составы — каждый бесконечен.
Не счесть вагонов. Ни один диспетчер
Не посягает на его маршрут.
Он знает: это посланный страной,
Особо важный. Внеочередной.

6

Там тонны мяса, центнеры муки,
И все это в три яруса грядую
Лежит в полкилометра высоту.
Но все это не доезжая Мги.
Там овощи. Там витамины «Ц»...
Но к нам им не добраться. Мы в кольце.

7

Да, мы — в кольце. А тут еще мороз
Свирепствует, невиданный дотоле.
Торпедный катер стынет на приколе,
Автобус в ледяную корку врос;
За наименьшем тока нет трамваев.
Все тихо. Город стал неузнаваем.

8

И пешеход, идя по мостовой
От Карповки до улицы Марата,
В молчанье тяжкий путь свершает свой.
И только редкий газогенератор,
На краткую минуту лишь одну,
Дохнув теплом, нарушит тишину.

9

Как бы сквозь сон, как в деревянном веке,
Невнятно где-то тюкает топор.
Фанерные щиты, сарай, забор,
Полусгоревшие дома-калеки,
Остатки перекрытий и столбов —
Всё рубят для печурок и гробов.

10

Две женщины (недоля их свела)
В платках до глаз, соприкасаясь лбами,
Пенек какой-то пилят. Но пила
С искривленными, слабыми зубами,
Как будто бы и у нее цинга,
Не в состоянье одолеть пенька.

11

Ни лая, ни мяуканья, ни писка
Пичужьего. Небось пичуги там,
Где, весело летая по пятам

За лошадю, как из горячей миски,
Они хватают зернышки овса...
Там раздаются птичьи голоса.

12

Нет радио. И в шесть часов утра
Мы с жадностью «Последние известья»
Уже не ловим. Наши рупора —
Они еще стоят на прежнем месте, —
Но голос... голос им уже не дан:
От раковин отхлынул океан.

13

Вода!.. Бывало, встанешь утром рано,
И кран, с его металла белизной,
Забулькает, как соловей весной,
И долго будет течь вода из крана.
А нынче, ледяным перстом заткнув,
Мороз оледенил блестящий клюв.

14

А нынче пьют из Невки, из Невы
(Метровый лед коли хоть ледоколом).
Стоят, обмерзшие до синевы,
Обмениваясь шуткой невеселой,
Что уж на что, мол, невская вода,
А и за нею очередь. Беда!..

15

А тут еще какой-то испоганил
Всю прорубь керосиновым ведром.
И все, стуча от холода зубами,
Владельца поминают недобром:
Чтоб дом его сгорел, чтоб он ослеп,
Чтоб потерял он карточки на хлеб.

16

Лишилась тока сеть водоснабженья,
Ее подземное хозяйство труб.
Без тока, без энергии движенья
Вода замерзла, превратилась в труп.
Насосы, фильтры — их живая связь
Нарушилась. И вот — оборвалась.

17

(В системе фильтров есть такое сито —
Прозрачная стальная кисея,
Мельчайшее из всех. Вот так и я
Стараюсь удержать песчинки быта,
Чтобы в текучей памяти людской
Они осели, как песок морской.)

18

Зима роскошествует. Нет конца
Ее великолепьям и щедротам.
Паркетами зеркального торца
Сковала землю. В голубые гроты
Преобразила черные дворы.
Алмазы. Блеск... Недобрые дары!

19

И правда, в этом городе, в котором
Больных и мертвых множатся ряды,
К чему эти кристальные просторы,
Хрусталь садов и серебро воды?
Закреть бы их!.. Закреть, как зеркала
В дому, куда недавно смерть вошла.

20

Но чем закрыть? Без теплых испарений
Воздушный свод неизъяснимо чист.
Нетающий на ветках снег — сиренев,

Как дымчатый уральский аметист.
Закат сухумской розой розовеет...
Но лютой нежностью все это веет.

21

А в час, когда рассветная звезда
Над улиц перспективой несравненной
Сияет в бездне утренней,— тогда
Такою стужей тянет из вселенной,
Как будто бы сам космос, не дыша,
Глядит, как холодеет в нас душа.

22

Недаром же на днях, заняв черед
С рассвета, чтоб крупы достать к обеду,
Один парнишка брякнул вдруг соседу:
— Ну, дед, кто эту ночь переживет,
Тот будет жить.— И старый дед ему:
— А я ее, сынок, переживу.

23

Переживет ли? Ох! День ото дня
Из наших клеток исчезает кальций.
Слабеем. (Взять хотя бы и меня:
Ничтожная царапина на пальце,
И месяца уже, пожалуй, три
Не заживает, прах ее бери!)

24

Как тягостно и, главное, как скоро
Теперь стареют лица! Их черты
Доведены до птичьей остроты
Как бы рукой зловещего гримера:
Подбавил пепла, подмешал свинца —
И человек похож на мертвеца.

25

Открылись зубы, обтянулся рот,
Лицо из воска. Трупная бородка
(Такую даже бритва не берет).
Почти без центра тяжести походка,
Почти без пульса серая рука.
Начало гибели. Распад белка.

26

У женщин начинается отек,
Они всё зябнут (это не от стужи).
Крест-накрест на груди у них все туже,
Когда-то белый, вязанный платок.
Не веришь: неужели эта грудь
Могла дитя вскормить когда-нибудь?

27

Апатия истаявшей свечи...
Все перечни и признаки сухие
Того, что по-ученому врачи
Зовут «алиментарной дистрофией»
И что не латинист и не филолог
Определяет русским словом «голод».

28

А там, за этим, следует конец.
И в старом одеяле цвета пыли,
Английскими булавками зашпилен,
Бечевкой перевязанный мертвец
Так на салазках ладно снаряжен,
Что, видимо, в семье не первый он.

29

Но встречный — в одеяльце голубом,
Мальчишечка грудной, само здоровье,
Хотя не женским, даже не коровьим,

А соевым он вскормлен молоком.
В движении не просто встреча это:
Здесь жизни передана эстафета...

30

И тут в мое ночное бытие
Вплетается со мною разлученный
Иной ребячий облик — мой внучонок.
Он в валеночках, золотце мое.
Он тепел. Осязаем. Он весóm...
Увы! Я сплю. И это только сон.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ОГОНЬ

1

Мороз, мороз!.. Великий русский холод,
Испытанный уже союзник наш.
Врагов он жалит, как железный овод,
Он косит их, прессует, как фураж,
И по телам заснувших мертвым сном
Он катит дальше в танке ледяном.

2

Как из былины, в кожаном шеломе
Глядит из башни (ну и здоровá!)
Румяная седая голова.
А дальше в этой танковой колонне
Идут бураны, снежные вьюны,
Заносы... Не видать еще весны.

3

Треск по лесу! Алмазная броня
То изумрудом вспыхнет, то рубином.
А чуть стемнеет, на излете дня,
Вооружась серебряной дубиной,
Уходит партизанить наш старик,
Как в дни Наполеона он привык.

4

И тут уж враг без памяти бежит,
Чтоб от него укрыться как-то, где-то.
И бледная немецкая ракета
Беззвучно заикается, дрожит.
Все снег да снег, без края и конца,
Вокруг Оломны и Гороховца.

5

Ни шороха, ни звука, ни движенья.
Не покидает свой высокий пост
Луна, чье кольцевое окруженье
Истаивает под напором звезд.
И вдруг раскат. И ожил горизонт...
Товарищи, здесь Ленинградский фронт!

6

Вчерашний день мы провели в лесу,
На наших дальнобойных батареях.
И я его забуду не скорее,
Чем собственное имя. Пронесу
Его в глубинах сердца. Никогда
Туда не проникают холода.

7

Бойцы приказ Наркома обороны
Читали в полдень, и когда закат
Был золотого цвета, как патроны,

В землянке, где над головой накат,
И у костра под елью вековой,
Когда был Млечный Путь над головой.

8

Оружием всех видов и родов
Приказ был соответственно отмечен.
Связист его читал у проводов,
У карты — генштабист. И лишь разведчик,
Кому и лишний вздох не разрешен,
В тылу врага был этого лишен.

9

Один из них рассказывал: — В снегу
И сам иной раз станешь как ледяшка,
Но согревает ненависть к врагу.
Сидишь часами — и оно не тяжко.
Мороз! А в голове горит одно —
Задание, которое дано.

10

Он прав, разведчик. От глухой тропы,
От точки огневой до бури шквальной,
Когда столбы земли, подобно пальмам,
Перерастают сосны и дубы,—
Везде и всюду, явен или скрыт,
Но этот наш огонь всегда горит.

11

Он партизанским полымем-пожаром
Захватчиков сжигает на корню,
Закован в современную броню,
Старинным русским полыхает жаром.
Он страшен недругам, он — бич врагов,
Ему дивятся пять материков.

12

Огонь! В честь нас, людей из Ленинграда,
В честь пятерых,— пять молний, пять громов
Рванули воздух (мы стояли рядом).
По вражьим блиндажам пять катастроф.
И в интервалах первым начал счет
Один из нас, сказав: — За наш завод!

13

Второй проговорил: — За наш совхоз,
Во всем районе не было такого!
— За сына,— тихо третий произнес.
Четвертая, инструкторша горкома:
— За дочку! Где ты, доченька моя?
— За внука моего! — сказала я.

14

Я внука потеряла на войне...
О нет! Он не был ни боец, ни воин.
Он был так мал, так в жизни неустроен,
Он должен был начать ходить к весне.
Его зимою, от меня вдали,
На кладбище под мышкой понесли.

15

Его эвакуацией за Волгу
Метнуло. Весь вагон, куда ни глянь,
Всё дети. Ехать предстояло долго...
Так в лес детеныша уводит лань,
Все думает спасти его, пока
В ее сосцах хоть капля молока.

16

Он был как тот березовый росток,
Который ожил в теплоте землянки
И вырос на стене, как на полянке,

Но долго просуществовать не мог.
Хирел, мечтал о солнце, как о чуде,
И вздрагивал от грохота орудий...

17

Смертельно ранящая, только тронь,
Воспоминаний взрывчатая зона...
Боюсь ее, боюсь в ночи бессонной.
И все же, невзирая на огонь,
Без жалости к себе, без снисхожденья
Иду по этим минным заграждениям

18

Затем, чтобы перо свое питала
Я кровью сердца. Этот сорт чернил...
Проходит год — они все так же алы,
Проходит жизнь — им цвет не изменил.
Чтобы писать как можно ярче ими,
Воспользуемся ранами своими.

19

Используем все огневые средства
Для ненависти огненной к врагу.
Боль старости, загубленное детство,
Могилка на далеком берегу...
Пусть даже наши горести и беды
Являются источником победы.

20

Преследуем единственную цель мы,
Все помыслы и чувства об одном:
Разить врага прямым, косоприцельным,
И лобовым, и фланговым огнем,
Чтобы очаг отчаянья и зла —
Проклятье гитлеризма — сжечь дотла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Г О Д

1

Зеленым листьям наступил конец.
В предчувствии грядущего мороза
Уже поникла юная береза,
Бледна, как необстрелянный боец.
Зато рябина, с пурпуром в петлицах,
Не в первый раз мороза не боится.

2

А на Неве ни шороха, ни плеска,
И город ало-черно-золотой
В ней отражен с венецианским блеском,
С поистине голландской чистотой.
Но наяву насколько он живей
В исконной русской прелести своей!

3

Он все такой же, как и до войны,
Он очень мало изменился внешне.
Но, взглядываясь, видишь: он не прежний,
Не все дома по-прежнему стройны.
Они в закатный этот час осенний
Стоят, как люди после потрясений.

4

Один кровоточит кирпичной раной,
Тот известковой бледностью покрыт,
Там вылетели окна из орбит
(Одно из них трепещет, как мембрана).
А там неузнаваема, как маска,
Окисленная порохом окраска.

5

Осколок у подъезда изувечил
Кариатиды мраморную грудь.
Страдания легли на эти плечи
Тяжелым грузом — их не разогнуть.
Но все же, как поддержка и защита,
По-прежнему стоит кариатида...

6

На Ленинград, обхватом с трех сторон,
Шел Гитлер силой сорока дивизий.
Бомбил. Он артиллерию приблизил,
Но не поколебал ни на микрон,
Не приостановил ни на мгновенье
Он сердца ленинградского биенье.

7

И, видя это, разъяренный враг,
Предполагавший город взять с разбега,
Казалось бы, испытанных стратегов
Призвал на помощь он: Мороз и Мрак.
И те пришли, готовые к победам,
А третий, Голод, шел за ними следом.

8

Он шептуном шнырял из дома в дом,
Ныл нытиком у продуктовой кассы.
А в это время рос ледовой трассы
За метром метр. Велась борьба со льдом.
С опасностью, со смертью пополам
Был доставляем хлеба каждый грамм.

9

И Ладога, как птица пеликан,
Самопожертвования эмблема,
Кормящая птенцов самозабвенно,

Великий город, город-великан,
Питала с материнской любовью
И перья снега смешивала с кровью.

10

Не зря старушка в булочной одной
Поправила стоявших перед нею:
— Хлеб, милые, не черный. Он ржаной,
Он ладожский, он белого белее.
Святой он.— И молитвенно старушка
Поцеловала черную горбушку.

11

Да, хлеб... Бывало, хоть не подходи,
Дотронуться — и то бывало жутко.
Начнешь его — и съешь без промежутка
Весь целиком. А день-то впереди!..
И все же днем ли, вечером, в ночи ли
Работали, учились и учили.

12

Студент... Огонь он только что раздул.
Старательно распиленный на чурки,
Бросает он в него последний стул.
А сам перед игрушечной печуркой,
На корточках (пусть пламя припечет),
Готовит он очередной зачет.

13

Старик профессор... В клетчатом платке
Поверх академической ермолки,
Насквозь промерзший, с муфтой на шнурке
С кастрюльками в клеенчатой кошелке.
Ему бомбежка путь пересечет,
Но примет у студента он зачет...

14

Тяжелый пласт осенней темноты
Так угнетал порой невыносимо,
Что были двадцать граммов керосина
Желанней, чем в степи глоток воды.
О, только бы коптилка не погасла!..
Едва горит соляровое масло.

15

И все же не погас он у меня,
Сосущий масло марлевый канатик,
Мерцающее семечко огня.
Так светит иногда светляк-фанатик
И чувствует, что он по мере сил
Листок событий все же озарил.

16

Я знаю, что в грозовой этой чаше
Другим удастся осветить крупней
Весь этот год, вплоть до его корней.
Но и светляк был точкою светящей,
И он в бореньях тьмы не изнемог.
Он бодрствовал. Он сделал все, что мог.

17

И Муза, на сияние лампадки
Притянутая нитью лучевой,
Являлась ночью, под сирены вой,
В исхлестанной ветрами плащ-палатке,
С блистанием волос под капюшоном,
С рукой, карандашом вооруженной.

18

Она шептала пишущим: «Дружок,
Не бойся, я с тобой перезимую».
Чтобы согреть симфонию Седьмую,

Дыханьем раздувала очажок.
И головешка с нежностью веселой,
Как флейточка, высвистывала соло.

19

Любитель музыки! Пожалуй, в ней ты
Увидел бы, в игре ее тонов,
И впрямь порханье светлых клапанов
По угольному туловищу флейты,
И то, как, вмиг ее воспламеня,
По ней перебегает трель огня.

20

С электролампой, в световом овале,
Входила Муза в номерной завод
Под сумрачный, оледенелый свод,—
Там Стойкостью ее именовали...
И цех, где было пусто, как в соборе,
Вновь оживал. Все снова были в сборе.

21

Все нити и лучи сходились к ней,
От одиночных маленьких сияньиц
До величавых заводских огней,
Бросавших блики на снарядов глянec,
И каждый отблеск радовал сердца
И производственника и бойца.

22

Бывало, Муза днем, в мороз седой,
Противовесом черной силе вражьей,
Орудовкой, в берете со звездой,
Стояла у Канавки у Лебязьей
И мановеньем варежки пунцовой
Порядок утверждала образцовый.

23

В апреле Муза скалывала лед.
Ей было трудно. Из-под зимней шапки
Росинками блестит, бывало, пот.
Ей в руки бы подснежников охапки...
Но даже в старом ватнике — она
Была все та же юная Весна.

24

Стремительна, прекрасна и строга.
Крылатая!.. И рядом с Музой каждый
И чувствовал и думал не однажды:
«Чтобы вернее сокрушить врага,
Я все отдам, и даже бытие,
О Ленинград, сокровище мое!»

25

Всегда, везде, в обличии любом,
К любому причисляема отряду,
Она была любовью к Ленинграду
И верою в победу над врагом,
Надеждою... Всего не перечесть:
Такой она была. Была и есть!

ГЛАВА ПЯТАЯ

С Н О В А Л Е Т О

I

В одиннадцать часов еще светло,
Еще на западе, не улетаю,
Лежит заката алое крыло,

И даже полночь будет золотая.
Она уже в движенье привела
Аэростатов легкие тела.

2

Луну, с ее лебяжьим опереньем,
Зеркально опрокинула в Неву.
И соловей поет в кистях сирени:
«Я счастлив, счастлив, я жив-жив, живу!»
В самозабвении, без тени страха,
Выводит трели маленькая птаха.

3

Вверху рычат германские моторы:
«Мы фюр-рера покор-рные р-рабы,
Мы превращаем гор-рода в гр-робы.
Мы — смерть. Тебя уже не будет скор-ро».
А соловей свое: «Я тут, я тут,
Я жив, меня отсюда не сметут...»

4

Какой сегодня жаркий, жаркий день!
С какую быстротой созрело лето!
Еще немного — и ночная темь
Начнет от круглосуточного света
Неумолимо отрезать в пути
Сначала ломтики, потом ломти.

5

С восьми утра до часу или двух
Под деревом работаю, пишу там.
Подобием мельчайших парашютов
В саду летает тополиный пух.
Мгновение — и воздух расскло
Пикирующей ласточки крыло.

6

Ее сынок, а может быть, и дочка,
Топорща крылышки, глядит на мать.
Птенцу и страх как хочется летать —
И страшно оторваться от кусточка.
Он смотрит на верхушки тополей,
А мать ему: «Смелей, дитя, смелей!»

7

Под деревом еще один птенец,
Ручонкою держась за край коляски,
Колелется... Решился наконец.
Он делает шагок, не без опаски,
От мамы ни на шаг не отходя,
А та ему: «Смелей, смелей, дитя!»

8

Как много птиц и маленьких детей
Опять щебечет в гнездах Ленинграда!
О детский мир, цветы и не скудей
В пределах комнат и в аллеях сада
И после двух блокадных наших зим
Чаруй нас возрождением своим!..

ГЛАВА ШЕСТАЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Посвящается И. Д. С.

1

На стенах надпись: «Эта сторона
Опаснее, чем та, в часы обстрела».
Хотя и там вот только что гремело

И там опасность не устранена.
И едкая пороховая мгла
Всю улицу на миг заволокла.

2

Но тут же, по опасной стороне,
Уже снуют строители, прорабы,
Торопят архитектора: — Пора бы
Начать ремонт хотя бы и вчерне.—
Чертят квадраты, конусы и кубы,
Раздобывают доски, гвозди, трубы.

3

Все здание в изъянах и порезах,
Во вмятинах и выбоинах. Но
Ему подбавить извести, железа,—
И снова станет на ноги оно.
И обновленно, молодо и крепко
Опять задышит лестничная клетка.

4

За штукатурками придет печник;
А там стекольщик со своим алмазом,
Окошко сантиметром уточнит,
Еще разок проверит просто глазом,—
И вспыхнет ослепительный по силе
Кусок небес взамен фанеры синей.

5

Лежат повсюду бревен штабеля
И ждут, чтоб превратили их в поленья.
И в наших Цельсиях, по их деленьям,
Стремясь уйти все дальше от нуля,
Карабкается ртутный стебелек
По градусам — он раньше так не мог.

6

И вот уж перед всем честным народом
На бревнах — голосистая пила
Опять свои частушки завела.
А дедушка-топор, седобородый,
Степенно, положительно и мерно
Поддакивает: «Верно. Верно. Верно».

7

Как песня, все привольней и плавней
Тепло распространяется по трубам.
Горит береза... Столько жара в ней,
Как будто комсомолыцы-лесорубы,
Своей энергией ее согрев,
Повысили в сто раз ее нагрев.

8

И кран, где все, казалось, испитó,
Где не было уже ни капли жизни, —
Оттуда вдруг мелодия как брызнет,
Все выше, выше. И на верхнем «до»
(Как эта нота радостно-свежа!)
До... пятого доходит этажа.

9

Взамен коптилок, плошек и лучинок
Над письменным столом и над плитой
Опять цветет огнем своих тычинок
Электролампы венчик золотой.
Да здравствует дающая нам ток
Энергия, взрастившая цветок,

10

Бегущая по проводу, по стеблю!..
Растенья в Ботаническом саду
Чернели, точно в Дантовом аду.

Теперь опять, дыханием колеблем,
Уже растет, себя теплу вверяя,
Лист будущего пальмового рая.

11

В бассейне, где иссяк водопровод,
Куда носили воду литр за литром,
Меж розовых кувшинок вновь плывет
Громадный лист, похожий на палитру.
Пиши, художник, кистью вдохновенной
Развертыванье жизни сокровенной.

12

Уже монтажник занят важным делом —
Восстановленьем заводских турбин.
Уже на мраморном щите, на белом,
Горит контрольной лампочки рубин.
Вновь завоюет Ленинград по праву
Свою энергетическую славу.

13

Его великолепные моторы,
Турбины, двигатели, дизеля
Опять начнут, о русская земля,
Питать энергией твои просторы.
И каждая машина, агрегат
Гордиться будут маркой «Ленинград».

14

Войдемте в Летний сад. Он тих и пуст.
Где статуи? Их тоже нет на месте.
Осанка, мрамор плеч, улыбка уст —
Все это скрыто — адрес неизвестен.
Все это в подземелии, где мрак,
Но где зато не угрожает враг.

15

Подобно хору греческих трагедий,
Не умолкают пушек голоса.
Но статуи... при мысли о победе
У них, как у людей, блестят глаза.
Поистине эпоху Возрождения
Напоминает это пробуждение.

16

И шепчет мраморная Терпсихора,
Склонив над лютней юную главу:
«Я знаю, я предчувствую, что скоро
На сцене вновь волшебюно оживу,
Соединяя в образе едином
Огонь страстей с прохладой лебединой».

17

И с чертежом и циркулем в руках
Архитектура говорит: «Я жажду
Опять трудиться для своих сограждан.
Хочу для них воссоздавать в веках
Не только крепости и бастионы,
А здравницы, дворцы и стадионы».

18

«Я корабли по компасу веду,
Я — Навигация, — раздался голос. —
Я с бурями, туманами боролась.
Мне в якорных цепях невоготу.
Но скоро я, поднявши якоря,
Пойду в послевоенные моря».

19

Уже опять, с Искусством заодно,
Науки начинают вторить музам.
Уже открылось новых десять вузов,

Уже в аудиториях полно,
И видит с удовольствием декан,
Что надо ставить стулья по бокам.

20

Уже ребята по дороге в школу
На Невке видят молодой ледок.
Уже готов уйти плавучий док,
Чтоб уступить дорогу ледаколу.
Картина поздней осени ясна,
А нам все кажется, что нет — весна.

21

Все признаки. Всё на весну похоже.
И шорох льда, и аромат реки,
И маленькие эти огоньки
По темным улицам в руках прохожих,—
Весь город ими трепетно унизан:
Канун Победы. Светлый праздник близок.

22

Еще артиллерийскими громами
Чревато небо Пулковских высот.
Еще в зловещей этой панораме
Нет места для космических красот.
Еще воронками глубоких ран
Дымится Пулковский меридиан.

23

Но час придет. Не будет ни окопов,
Ни пушечных, ни пулеметных гнезд.
Мы вновь нацелим жерла телескопов
По золотым ориентирам звезд.
Опять прославим солнца торжество,
Лучистую энергию его.

Да здравствует великий русский город
С энергией, невиданной дотоль!
Да здравствует энергия, в которой
Спрессованы десятки тысяч волей!
И навсегда, отныне и вовек,
Да здравствует советский человек!

*Октябрь 1941 — ноябрь 1943 г.
Ленинград*

ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ ПОЭМЫ
“ЛЕНИН
В АЛЬПАХ”



I

Женевское озеро — чаша лазури,
отрада туристов.
Но грозно Женевское озеро в бурю,
идет, как на приступ.
Тяжелыми волнами бьет, как тараном,
отелей подножья,
дрожать заставляя хрусталь в ресторанах
алмазною дрожью.
Раскаты громов повторяются долго
в горах богатырских.
Отличная буря. Такие на Волге
бывают. В Симбирске.
А утром — прозрачность, тишайшего тیشه:
все кажется близким.
Поют водопады, и пропасти дышат
озоном альпийским.
Свежо на душе от чудесной погоды,
от синей прохлады.
«Спасибо, сосед. Мы с женой — пешеходы.
Возить нас не надо».
И дом на окраине, с лестницей хлипкой, —
жилище простое, —
следит из окошек с хорошей улыбкой
за русской четою...

Тумана в горах ничего нет коварней,
по нынче — ни дымки.
Прозрачно струится дымок сыроварни,
видны все тропинки.
Под шапкой снегов, под гранитной громадой —
лесная опушка,
где мирно пасут шоколадное стадо
пастух и пастушка.
Идиллия с виду! Но труд их нелегок,
они молчаливы.
Вокруг травянистой площадки пологой
крутые обрывы.
Они наблюдательны, эти подростки:
они замечают,
в какой седловине какие полосы
туман предвещают.
Они замечают походку идущих
по трудной дороге:
один волочит, как неопытный грузчик,
тяжелые ноги.
Другой, как танцор, не ступает на пятку,
он скоро устанет;
как видно, забыл, что отставшим не сладко,
что это не танец.
Но есть и такие, что поступью мерной,
по осыпям тропок,
все выше и выше,
со спутником верным
шагают бок о бок.
Так крепко вонзаются их альпенштоки
в кремнистую почву,
что в пору по северным склонам жестоким
пройти даже ночью.
Таких колдовство никакое не тронет
вдали от селений.
Корежатся гномы и злобные тролли
при их появлении.
Так славно идут они, весело, стройно —
хорошие люди!
И дети вдогонку: «Идите спокойно,
тумана не будет...»

Запивши ломоть еще теплого сыра
водой ключевой,
до вечного льда в океане эфира
вздыхаются двое.
Глядят, как рождается ниткою тонкой
ручей из-под льдины,
как малое облачко, меньше ягненка,
плывет над долиной.
Мир гор! Величавая, белая с синим,
рельефная карта.
Забыты на время в женевской низине
Плеханов и Мартов,
прямые нападки и взгляды косые.
И огненно, крупно,
во весь горизонт, только мысль о России
стоит неотступно.
В России война. Катастрофа. Цусима.
Час гнева и горя.
Цвет русского флота сглотнула пучина
Японского моря...
Дрожат перед бурей, скрипят перед штормом
уключины трона.
И все это множится эхом повторным
в долине, где Рона.
И чаша лазурного озера даже —
и та, поглядите,
вскипает волненьем, как будто на страже
идуших событий.

2

Прекрасна даль морская,
Откуда постепенно
Растущим рокотаньем,
Увенчанные пеной,
Накатывают волны
С начала мирозданья.

Прекрасна ширь степная;
Прекрасен и дремучий,

Зеленый сумрак бора,
Прекрасно все. Но лучше,
Прекрасней, величавей
Всего на свете — горы.

Еще на школьной парте,
Еще когда мы учим
Таблицу умноженья,
Уже тогда пленяют
На глобусе, на карте
Они воображенье.

Еще мы непоседы.
Еще нас на уроках
Бранят за поведенье,
Но властно уже вторглись
В беспечные беседы
Гигантские виденья:

Ущелья Сен-Готарда,
Где переход вершили
Суворовские пушки;
Кавказ, где в синем небе
Такие две вершины,
Как Лермонтов и Пушкин.

Мир гор!.. Он весь в движенье,
То в громовых раскатах,
То ясен, то нахмурен.
На дне гранитных пазух
Озер продолговатых
То тишина, то бури.

Среди бугров кремнистых,
В бездонных отголосках,
Таинственные гроты.
Похоже: перед нами
Кора земного мозга
В часы его работы.

В ночи луна-колдунья
Волшебно озаряет
Глубины сновидений.
К рассвету по вершинам,
Как облака раздумья,
Проходят светотени.

Но миг — и вспыхнет солнце
Во всем его богатстве,
Мир озарится разом.
Не так ли торжествует
Над хаосом препятствий
Победу — светлый разум.

1957

Я ВСПОМИНАЮ...

ИЗ ПОЭМЫ



ВСТУПЛЕНИЕ

Вокруг меня, обычно в час вечерний,
вспоминанья вьются, точно пчелы.
Десятки их, а может быть, и сотни,
а то и тысячи — не сосчитать.

И я, как пчеловод небоязливый,
сизу, окутанная легким роем,
однако соблюдаю осторожность:
не то иная пчелка так кольнет!..

Не скрою: мне порой бывает грустно,
когда летуньи некогда веселой,
теперь уже навеки отжужжавшей,
я крылышко сухое нахожу.

Но как зато мне весело бывает,
когда из глубины годов прошедших,
живое, не поблекшее нисколько,
воспоминание ко мне летит.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Я помню многое. Начало века.
Рождение двадцатого столетия.
Я римскую большую цифру «XX»
запомнила во весь газетный лист.

Я помню задуваемую ветром
иллюминацию... Под колпачками
мигали свечи в проволочных гнездах,
шипели газовые фонари.

И даже в нашей небольшой гостиной,
на круглом столике перед диваном,
зажгли под новым абажуром лампу,—
но это был ее последний пир.

Прощайте, керосиновые лампы!
Вам электричество пришло на смену.
Уже у театрального подъезда
оно сияло в матовых шарах.

Впервые в жизни я была в театре,
в воскресный день, на «Золушке», я помню.
Я волновалась. Золушкины сестры
и мачеха отправились на бал

в атласных туфлях, в локонах и лентах.
А Золушка-бедняжка, две косички,
у очага, где тлели головешки,
осталась дома в обществе метлы.

Но наконец-то вижу: из-за сцены,
где в медном колпаке стоял пожарный,
вся в голубом, в серебряных перчатках,
выходит фея с палочкой в руке.

И на конце той палочки чудесной
сияет электрический алмазик.
И это так меня заморозило,
что папа мне сказал: «Очнись, дитя!»

А мама, как всегда не улыбаясь,
в пенсне на черном шелковом шнурочке,
взглянувши на меня, потом на фею,
кивнула: «Да. Ребенок любит свет!..»

Прошли года. Прошли десятилетия.
Но иногда стареющая память
так памятлива. Помнит все, что было,
чего давно уже на свете нет.

Встают, плывут... я бы сказала, кадры,
но слово это слишком современно.
Пожалуй, правильной — фонарь волшебный,
бесхитростный предшественник кино.

Он светлый круг на прошлое наводит, —
и вновь я вижу в перспективе улиц
издательство, где мой отец работал,
и школу, где преподавала мать.

Там обучались дочери предместий,
воспитанницы городских окраин,
питомицы района Молдаванки,
где жил небезызвестный Бенья Крик.

Где жили мясники-головорезы,
биндюжники, кладбищенские служки,
все, что потом так ожило, воскресло
под Бабелевским золотым пером.

Кто мог предполагать, что здесь таиться
могли жемчужины литературы:
так и Рембрандт в трущобах Амстердама
на дне увидел перлы нищеты.

Но мы иную знали Молдаванку,
очаг недоедания и рахита.
И, не преображенная искусством,
действительность была куда сложнее.

Действительность порой была такая,
когда и слезы подступают к горлу,
и тут же улыбаешься улыбкой,
которая грустнее самих слез...

Отец одной из школьниц был хористом.
В толпе других воинственных испанцев,
сжимая рукоять придворной шпаги,
он в «Гугенотах» пел: «Рауль, Рауль!»

Но в некий день на площади бурлящей
при возгласе «Долой самодержавье!»
городовой схватил певца за горло,
он петь уже не мог: «Рауль, Рауль!»

В их доме нищета обосновалась.
Но девочка учиться продолжала,
и мать моя, за нею наблюдая,
сказала: «Из ребенка будет толк».

Другой раз многодетный переплетчик,
переплетая томики Уайльда,
не угодил заказчику-эстету,
за что был выброшен из мастерской.

И снова нищета. И снова дочка,
как Золушка-бедняжка, две косички,
преуспевает. И цветет, как роза:
туберкулез ей щеки расцветил.

Когда же в классе захворали свинкой,
то худенькая Золушка сказала:
«Еще нам только свинки не хватало!»
И горько усмехнулась, как мудрец.

Они болели свинкой и рахитом,
они нуждались в пище и одежде,—
и только древний иудейский юмор
их в трудные минуты выручал.

Но здесь, из состраданья или чванства,
пришла благотворительность на помощь:
то был известный, в Киеве живущий,
как Крез богатый, «сахарный король».

И в раннем детстве я воображала,
что у него дворец из рафинада,
фонтаны из сиропов. И дорожки,
посыпанные сахарным песком.

Мать ездила отчитываться в Киев
и возвращалась смутная оттуда.
Хоть «сахарный король» и был любезен,
но, видно, горек этот сахар был.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Со многими морями я знакома,
с иными я общалась очень близко,
любила их. И только океана
увидеть мне, увы, не удалось.

Меня пленяло Мраморное море,
спокойное, как розовое масло.
Под Астраханью на меня шипела
колючая каспийская волна.

Я видела Персидского залива
сухим песком обметанные губы.
И моря Белого у Кандалакши
покрытый льдом береговой оскал.

Я видела на Балтике затишье.
Под Генуей, на Средиземном море,
сияющий, как небо, бирюзовый,
неистовый я наблюдала шторм.

Но всем красотам севера и юга
и всем оттенкам бирюзы и розы
предпочитала я родное море.
Единственное. Черное мое.

В часы безветрия, в часы покоя —
оно до самой Турции синело.
Оно до самой Турции гремело,
когда срывался бешеный норд-ост.

Прекрасен был и наш бульвар над морем;
росли там итальянские платаны,
их саженцами привезли когда-то,—
они забыли родину свою.

И только иногда воспоминанье,
как облако, скользило легкой тенью
по их зубчатым листьям и по гладкой,
как шелк, светло-оливковой коре.

(Среди московских дел разнообразных —
порою вспомню я свой южный город
и вдруг, как те платаны, затуманюсь,
и словно облако пройдет по мне.)

С бульвара в порт шла лестница. Ступени
ее пролетами перемежались.
Огромная, как жизнь, она, снижаясь,
шла плавно к завершенью своему.

Поклон тебе, сей лестницы строитель,
давно уже умерший. И прорабам
твоим, и каменщикам безымянным,
и тем, кто камень добывал, поклон.

Ни железобетона, ни цемента
тогда еще не знали. И, однако,
все, сцементированное искусством,
не поддается времени никак...

Оглядываясь в прошлое, я вижу
на этой лестнице, на фоне моря,
два детских силуэта: я и Дима —
отбрасывают сдвоенную тень.

Вы спросите — а кто такое Дима?
Брат мой двоюродный. Друг душевный.
Мне, росшей без родных сестер и братьев,
он заменял и братьев и сестер.

Он мне казался совершенно взрослым.
В гимназию я только поступала,
а он уже учился в третьем классе,
уже он единицы получал

за дерзости. В училище реальном
Святого Павла, где учился Дима,
где с педагогами он препирался,
директором был немец Шванебах.

И бедной огорченной тете Кларе:
«Сударыня, — он говорил, — ваш отрок
обширные способности имеет,
но он есть натуральный бунтовщик.

И я не поручусь, что через время
ваш нигилист не сядет за решетку».
И Шванебах (как это будет видно)
пророком оказался неплохим...

Мы с Димой понемногу вырастали.
Уже он был влюблен в мою подругу.
Она всех грациозней и прелестней
была на гимназических балах.

Я по сравненью с ней была дурнушкой.
Ох, сколько раз, бывало, подлетает
к нам кавалер, разгоряченный вальсом,
и снова приглашает... не меня.

Но не к своей подружке ревновала
я Диму. У него была иная
зазноба. С ней бороться было трудно:
зазнобу звали «Шахматной Доской».

Разлучница. Квадратная злодейка.
Прогулки с Димой — я их так любила,

я их лишилась. Как простую пешку,
меня топтали кони и слоны.

С горячей ревностью, с недобрим чувством
следила я за Димой-шахматистом:
опять засел. А мы ведь собирались
сначала на бульвар, оттуда — в порт.

Но братец мой уже забыл об этом.
Он, ухватив себя за кончик носа
(что, видимо, способствует мышленью),
очередной обдумывает ход.

Его партнер (он очень музыкален)
насвистывает серенаду Брага.
Ему везет. Он белыми играет —
товарищ Димы. Славный Женя Р.

Весна. Закат пылает, как влюбленный.
У края города синее море.
Цветет акация. Окно раскрыто.
И мальчишки играют у окна...

О, если бы у нас была возможность
не только вызывать воспоминанья,
не только в юность распахнуть окошко,
но в будущее приоткрыть его.

Мы увидали бы иное поле,
где Дима-комиссар в бою трехдневном
был ранен. Где свирепствовал в округе
одной из банд петлюровских главарь

Евгений Р. О нем известно было,
что, не спеша насвистывая что-то
(быть может, даже серенаду Брага),
он пленных самолично истязал.

Но до тех пор — свой круг по циферблату
свершит несчетно стрелка часовая.
И календарь оденется листвою
раз двадцать, даже больше.

А пока...

1960

переводы



Тарас Шевченко

*

РУСАЛКА

«Мать на свет меня родила
В горнице красивой
И сошла со мною ночью
Вниз к Днепру с обрыва.
Купаючи, не молчала,
Дитя научала:
«Плыви, плыви темной ночью
По теченью, дочка.
Завтра к берегу родному
Подплывешь русалкой
И того, с кем буду вместе —
Мне его не жалко, —
Защекочешь, моя радость;
Пускай не смеется
Надо мною, молодую.
Пускай пьет-упьется
Не моими кровь-слезами,
Синею водою
Днепровскою. Пусть гуляет
С дочкою, с тобою.
Волны, волны, не обидьте
Дочки моей малой,
Русалочку приласкайте!..»
И как зарыдала —

И исчезла. Я ж осталась
На волне на синей.
Вижу — что это? Русалки,
Сестры. Я за ними...
Уж неделю, как расту я,
С сестрами гуляю.
В час полуночный из дому
Отца поджидаю.
А быть может, как уж было
Под тем грешным кровом,
С паном любитя-пирует
Мать родная снова?..»
И русалочка умолкла
И в Днепре плеснулась,
Как плотичка. Только ветка
Тихо покачнулась.

Что-то матери не спится,
Без сна ночи долги.
Пана Яна нету дома,
Не с кем слова молвить.
Вышла. Подошла к обрыву,
Вспомнила тут дочку,
Как купала, не молчала,
Дитя научала.
Ну, да что об этом думать!
Что прошло, то сплыло.
А теперь домой пора ей...
Но не тут-то было!
Не опомнилась, — догнали
Ее водяницы,
Да как начали, как стали
С ней играть-возиться!
Радешеньки, что поймали —
Вот была потеха!
Под конец швырнули в невод...
Что тут было смеха!
Лишь одной русалке малой
Было не до смеха.

1939

* * *

Мать в шелку меня родила,
В пышной горнице кормила,
Нежила меня.

В бархате, в шелках, алмазах,
Тайно от чужого глаза
Подрастала я.

Час пришел. И я, на диво,
Стала до чего красива.
Краше не сыскать!

Но ведь вот беда какая:
Полюбила бедняка я,
И вмешалась мать.

И теперь, в богатстве, в холе,
Коротаю я недолю,
На пуху не сплю.

Как трава я полевая,
Никну, никну, увядаю,
Жизнь едва терплю.

На свет божий не гляжу я,
Никого уже не жду я...
А старуха мать —

Уж пускай она потерпит —
Я ее до самой смерти
Буду проклинять.

1939

* * *

Было бы сесть с кем, хлеба съесть с кем,
Промолвить слово б довелось,
Тогда еще на этом свете
Хотя бы как-нибудь жилось.

Да нет, куда там! Свет широкий,
Людей на нем не сосчитать.
А доведется одиноко
В холодной хате кривобокой
Или под тыном помирать.
А то... Нет, надобно жениться
Хотя б на чертовой сестре.
Не то один в своей норе
Рехнусь, пожалуй. Рожь, пшеница —
На доброй почве семена
Взошли. А люди — вот те на! —
Пожнут плоды чужой землицы
И скажут: «В дальней стороне
Погиб бедняга». Горе мне!

1939

Максим Рыльский *

Д Ж Е М М А

Тургенев. «Вешние воды»

Июльский день. Гудят шмели и пчелы,
Вся в золоте — акация жужжит.
Уснула мать. Легчайшим ореолом
На белом лбу спокойствие лежит.

За окнами на улице дремотной
Поет шарманка на старинный лад,—
А Джемма улыбается и смотрит
На то, как Санин продает оршад.

Улыбки. Шепот. Ощущенье счастья,
Любовь, которая уже близка.
И солнца луч, как светлый соучастник,
Касается цветов и потолка.

С И Н Я Я Д А Л Ь

1

На свете есть певучий Лангедок.
Цветет Шампань во Франции веселой,
Где в солнце тонет каждый городок
И в пышных лозах утопают села.

Марсель, где опьяняет моря шум;
Париж, где вечно молод дух гамена;
Прованс, где жив Доде, веселый ум,
Где на охоте встретишь Тартарена.

Есть остров, где Шекспир увидел свет,
Где Диккенс улыбался сквозь туманы,—
А там, в Сибири, стынет волчий след,
В Сахаре проплывают караваны.

О мир, где песни девушек звучат
Под сладостной, под виноградной сенью!
Благословен да будет виноград,
Осенний плод весеннего цветенья!

2

Хотя б во сне увидеть снова
Великолепие колонн,
Прохладу мрамора сквозного,
Очарование мадонн!

В одежде белой Дездемона
Вверху на лестнице стоит —
Из лепестков зари корона
На голове ее горит.

Вода канала плещет ярко,
Там отражен закат в огне,
И голуби святого Марка
Уснули в синей тишине.

Ты руки, лилия, простерла,
Твои глаза любви полны.
Плывет, плывет воитель черный
В твой мир душевной белизны!

Хотя б во сне увидеть дальних
Краев счастливый небосклон
И очи радостно-печальных
Белоодежных Дездемон!

1961

Ян Райнис

*

Г Л А З А Л Ю Д Е Й И О Ч И З В Е З Д

Свет дневной глаза людские
Властно пробуждает к жизни.
Ах, но он же неуклонно
Очи звездные смежает.

*

Ночь... Она живет и дышит!
Небо звездами клокочет, —
Вовлеченная в созвездья,
Ввысь душа моя стремится.

*

Вечер сном глаза смыкает,
Очи звездные подъемлет.
Сон и явь — где их граница?
Жизнь и смерть — как отличить их?

*

Вековечные вопросы...
День отождествляем с жизнью
Только мы. А для вселенной
Нет подобного различья.

1954

* * *

Любимая, судьбой нам суждено
Не разлучаться.
Тебе уйти? Да это все равно,
Что от самой себя уйти пытаться.
Куда уйдешь?

1954

ХМЕЛЬ

Заласкает, завьет, закружит,
Остановится, дальше бежит.
В струнку тянется. Прямо на грудь
Норовит к милу другу прильнуть...

Ох, и трудно мне. Горка. Рассвет.
Солнце встало, а милого нет.
Вдаль гляжу я, и даль мне страшна;
Друга я и вдали не нашла.

Где он? Что он? Погиб на войне?
Утонул ли в бегучей волне?
Я — как хмель. Я вот-вот упаду:
Без опоры я жить не могу.

1940



ВСТРЕЧА

Ты из колодца воду достаешь,—
Тяжелое ведро и легкий холод.
И, освеженный, до чего хорош
Жасмин, что на груди твоей приколот.

А я гляжу и вижу,— хорошо,
Что в этом мире встретились вы трое:
Моя любовь. Вода. И над водою,
Соперничая с грудью белизною,
Жасмин, который пахнет так свежо.

1940

Куддус Мухаммади *

ПЧЕЛА И БАБОЧКА

Пчела и бабочка на ветке
Сидели в чашечке цветка.
Сказала бабочка соседке:
«А жизнь ведь очень коротка!

Она быстра в своем полете,
А вы, почтенная пчела,
Всегда в пыли, всегда в работе.
У вас дела, дела, дела!

Пчелиная семья — большая, —
Пусть вас заменит кто-нибудь.
А я вас в гости приглашаю
Повеселиться, отдохнуть.

Не прекращается пирушка
В цветущем нашем кишлаке,
Там стрекоза, моя подружка,
Танцует на одном носке.

У нас воздушное печенье,
Сироп на розовой воде,
У нас такое угощенье,
Какого не было нигде».

Тут бабочка затрепетала
От предвкушенья сладких блюд.
Она ни капли не скрывала,
Что слюнки у нее текут.

Пчела ответила: «Не время
Для развлечений и забав.
Не для веселья наше племя
Жужжит среди цветов и трав.

Зимой начнется дождь сердитый, —
Ни стебелька в садах пустых, —
Но наши дети будут сыты
В своих постельках восковых.

Мы будем в это время года
Растить, воспитывать детей.
И будет в улье много меда
Для нас самих и для людей.

Вы все танцуете, поете —
Я жизнь иначе провожу.
Я счастье нахожу в работе
И этим счастьем дорожу».

Но бабочке не впрок наука,
Она умчалась как стрела.
И в путь отправилась пчела
С пыльцой цветущего урюка.

Снег тает, как боль сердца моего,
и оплывают каплями сосульки,
прозрачными слезами исцеленья.
Я перед хижинкой на солнцепеке
сажу и думаю.
А там внизу, во Фракии, — весна.
Там розовые почки миндаля
уже вот-вот готовы распухнуть...

*

Есть ласки
жарче знойного песка
на нашем раскаленном побережье.
Слова,
похожие на солнечный удар,
под небом Фракии,
в разгаре лета.
Есть годы жизни у меня, когда
доведено до жгучей красноты
зерно холодного познания.
Пусть жницы с песнями выходят на поля!
Пусть на гумне
для бедняков и птиц,
для всех найдется корм...

Но губы все еще мои горят,
все в трещинах от нестерпимой жажды,
как наша заскорузлая от зноя,
подверженная бедствиям земля...

Лечь навзничь на нее, вдыхая запах трав,
прислушиваясь к звону колокольцев,
не сожалеть, не думать ни о чем, —
не значит ли рукой касаться неба,
по звездам книгу мудрости читать?!

*

Когда в низину,
словно с гор стада,
спускаются октябрьские туманы

и дождь осенний
сыплет мне в окно
косые иглы водяные,
а в очаге моем,
невысохшие, влажные еще,
трещат дрова, зажженные впервые,—
тогда, под лампой голову склоня,
я вижу, как в чудесном озаренье
передо мною прошлое встает.
Растут в пещерах памяти у нас,
растут воспоминаний сталактиты:
по каплям их
формировала жизнь.

Приходит день:
мечты о будущем умчались,
как полая весенняя вода,
а настоящее созрело,
своим зерном наполнив закрома,—
тогда, вращая диск воспоминаний,
о прошлое, приходит твой черед!

И память, взяв горняцкий свой фонарь,
спускается в глубокую пещеру,
где, светом мудрости озарены,
вновь будто оживают сталактиты.
Но нет, мой друг, они окаменели.
Они мертвы; они не та живая,
их некогда создавшая вода!

*

Люблю, когда зыбучий снег
крыльцо и дверь мою засыплет.
Когда на улице метель меня настигнет,
морозный ветер не дает вздохнуть,—
тогда, войдя в простую хижину лесную,
люблю согреть я руки перед очагом.

Безумным лыжником летела жизнь моя
над пиками вершин, над безднами провалов.

Ломались лыжи, коченели руки,
и капли крови падали на снег,
стекая из разбитого виска.

Наступит день.
И волосы мои
белее станут горного покрова.
Глядишь, глядишь на эту белизну
и думаешь:
какие только острые углы
не заметало этой снежной пылью,
что только не скрывается под ней!

Сокрыты там
ручьи, цветы и щебеты весны,
стада и пастбища в разгаре лета,
и золото осенних дней.
Стремленья, жалобы,
предсмертные томленья —
под этим снегом все погребено.

Молчит, как мрамор, белая стихия.
А ты в карманном зеркальце своем —
достань его —
увидишь только смутный,
самой себе неясный негатив.

1959

ДОМ В БОЯНЕ

Дом под белой горою
всеми ветрами обстрелян.
То льдом его север покроет,
то юг нарядит его в зелень.

Крылатая его кровля...
Кажется — миг единый, —
и дом меня, как на крыльях,
понесет над софийской равниной.

Бурной ночью дрожат и стынут
городские огни подо мною,
будто Млечный Путь в мертвой петле
поменялся местами с землею.

Но когда солнце светлое око
подымет над лесом ближним,
гора так и хлынет в стекла окон
веселым скольжением лыжным.

Мой дом на горной поляне
колышется еле-еле.
Как мачты в море тумана,
стоят островерхие ели.

Где я? У цели конечной,
у дней своих на излете?
Или на старте вечном
и окончу свой путь в полете?

АЭРОДРОМЫ

Не избыть тому, кто знал однажды
эту птичью страсть —
летать,
летать,
летать.
Вот и я
(во сне и наяву)
утолить не в силах этой жажды.
Непреодолимо, неуклонно
все влекут меня
аэродромы,
эти гнезда птиц многомоторных,
ярко освещенные,
откуда
разлетаются они

по странам.
По незримым линиям воздушным
пролетают над землей усталой,
над ее просторами
земными,
улетают, снова прилетают.
Устремляясь
им вослед к зениту,
сколько юных глаз
следит за ними!

Много утекло воды
с той давней,
с беспокойной той весны,
когда я
ощутила — мир меня зовет.
В дальний мир,
безудержно влекущий,
в первый я отправилась полет.
Плыли подо мной аэродромы,
их чужие яркие огни
крылья
мне в полете
обжигали,
сердце
изболелось от любви.
У меня теперь друзья повсюду:
у экватора на берегу,
на архипелаге в океане,
и в пампасах
на дорогах трудных,
и в суровом северном снегу.

Но когда,
уоставши от полетов,
после продолжительной разлуки
приближаюсь я
к родному дому
и когда встаешь передо мной,
возникаешь
на софийском поле,

ты, аэродром,
гнездо родное,—
трепет в сердце
у меня глубок.
Мысленно
я голову склоняю
и целую каждую травинку
и листок.

ЗЕМЛЯ, ВНУЧКА И Я

Ты, моя милая крошка,
моя дорогая летунья,
ты, что сейчас
на весенней поляне
для меня собираешь цветы,—
быть может, со временем,
растроганно и удивленно
эти строки мои
прочитаешь.
Детство
припомнишь в Бояне
и скажешь:
когда бы могла она видеть
крыльев моих небывалый размах,
то создала бы поэму,
к которой всю жизнь
возвращалась в мечтах.

Ты, дитя,
вырастаешь
в чудесное время,
когда,
не осилив еще букваря,
ты увидела в небе
искусственный спутник.
И, подобно тебе,
я в рабочие будни,
с детской легкостью взявши

обычный
простой карандаш,
на листке написала:
«Гагарин в ракете»
так уверенно,
как
стихотворные
строки вот эти.

Правда, сможешь ты
в жизни своей
полететь на другие миры,
где найдешь
ароматней цветы
и сочнее плоды,
чем у нас...
С Марса или Венеры
в необъятном спокойствии неба
наблюдать сможешь ты
восхождение Земли
точно так же, как мы
у себя на Земле
прелесть
утренней видим звезды.

Не такие еще чудеса ты увидишь,
ну а я...
Я, которой не так уже сладко
жилось
у себя на планете,
я, которая знала
усталость, и скорбь, и печаль,
разлучиться с Землею
мне было бы жаль.
Мне близки
люди, братья мои, земляки.
Верю я,
что они нашу Землю
цветами и счастьем украсят.
Детский смех

зазвенит еще звонче
в просторах весенних полей.
И Земля
расцветет еще краше,
рождая счастливых землян.

1963

Блага Димитрова *

ДЕНЬ И НОЧЬ

Едва рассвет позолотит вершину,
скользнет лучом по каменной тропе,—
я просыпаюсь с мыслию единой,
что не должна я думать о тебе.

В заботах дня, разумных или праздных,
в житейских буднях, в жизненной борьбе—
живу все время с думой неотвязной,
что не должна я думать о тебе.

Не сплю я до рассвета ночью длинной.
А чуть забудусь в сонной ворожке —
вновь просыпаюсь с мыслию единой,
что не должна я думать о тебе.

МНЕ ОСТАЕШЬСЯ ТЫ...

Уходишь ты. Но остается мне
гора — я поверяла ей все тайны,—
весна в замедленной голубизне
и город, покровитель встреч случайных.

Слова остались мне. По их следам
в страницах нахожу тебя повсюду,

твое дыхание я не забуду,
ему я улечуться не дам.

Удерживать не стану. Уходи.
Во всем, что встретишь ты в пути далеко:
в огнях земли, в сиянье звездных окон,—
ты растворен во всем. Мне остаешься ты.

СМОГЛА БЫ Я...

Все для тебя собрать могу я
В глазах и голосе своем:
Всю многокрасочность земную,
Звучанье тысяч голосов.

Смогла бы оживить былого
Полузабытый аромат,
Переложить в живое слово
Глагол окаменевших дат.

Смогла бы сжать я в слиток малый
Весь мир из мрака и огня.
Смогла бы... Только бы я знала,
Что не устал ты ждать меня.

К ЛУНЕ

Таинственная спутница земная,
ты неотступно шла за человеком,
его по трудным тропам восхожденье
безмолвно освещая век за веком.

Прозрачные изламывала пальцы
о переплет заржавленной решетки,
чтоб узника в его железной клетке
порадовать хотя б на час короткий.

Глядела ты в чердачное окошко,
стараясь задержаться дольше срока,
чтоб старого больного звездочета
порадовать в печали одинокой.

Ты золотые сыпала червонцы,
чтоб зимними холодными ночами
влюбленные в нетопленных мансардах
себя почувствовали богачами.

Недремлющий фонарь свой подымая,
ты следовала по пятам поэта,
чтобы ему не изнемочь во мраке,
чтоб ярче воспевал он силу света.

О преданная спутница земная,
идущая все время с нами рядом,
проверенная миллионнократно,
узнай: за верность ждет тебя награда.

В твои, без жизни, кратеры немые,
в метеоритных каменных осколках,
Земля направит воздух для дыхания,
растенья, песни: ждать уже недолго.

К мирам далеким, по дорогам млечным,
ты станешь первой пристанью небесной
для кораблей, идущих в бесконечность:
пускай они твоим сияют блеском.

Ты все это давно предугадала,
страшилась, но, возможно, и хотела
прилета властелина-человека,
вторжения его в свои пределы.

И вот теперь, в надежде и томленьи,
порой незримая, но каждый вечер,
свершая в небе путь свой неизменный,
глядишь на Землю в жажде этой встречи.

РОДИНА

Невелика моя родина —
горсть небольших пространств:
пестрые кромки пашен,
горных пород клубки.

Но развернуть их попробуй,
бережно их распутать —
горную нить за нитью,
за бороздой борозду,

за вершиной вершину, за морщиной морщину,
за раной рану, за цветком цветок,
боль за болью, стон за стоном,
песню за песней, за мечтой мечту,—

и тогда ты увидишь,
как велика, бескрайна
родина моя милая,
родина моя малая:
горсть небольших пространств.

1963

С венгерского



Андор Петефи

*

ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ПОЭТ...

Все говорят, что я поэт;
И я того же мненья,
Но ты, о дорогая, нет,
Не славь мои творенья.

Не мучь меня своей хвалой,
Мне совестно до боли.
Я по сравнению с тобой —
Ничтожество, не боле.

Ведь в каждой мысли у тебя,
Мелькнувшей без названья,
И в каждом вздохе, что едва
Теснит твоё дыханье,

И в каждом взгляде милых глаз,
С их сокровенной речью,
И в голосе, что столько раз
Летел душе навстречу,

В улыбке на твоих устах,
Пожалуй, больше вдвое
Поэзии, чем в пятистах
Стихах, рожденных мною.

1941

ЧТО СЛАВА?

Что слава? Радуга в глазах,
Луч, преломившийся в слезах.

ПЕЧАЛЬ

Печаль — это целое море,
А радость — жемчужина в нем,
Которую часто — о горе! —
Калечим, пока извлечем!

1948

СЫН ПРОЛЕТАРИЯ

Отец мой день-деньской в работе,
Когда же отдых наконец?
Нет лучше в мире человека,
Чем мой отец.

Сам ходит он в пальто потертом,
А мне обновку приберег.
О лучшем будущем никто бы
Так рассказать не мог.

Отец у богачей на службе;
У них он, бедный, как в плену.
Но нам по вечерам приносит
Он радость лишь одну.

Отец мой гордый, благородный,
Он — раб тяжелого труда,
Но он себя не унижает
Перед богатством никогда.

Отец мой скорбный, подневольный.
Когда б не дорожил он мной,
То он покончил бы, пожалуй,
Со всей комедией земной.

Отец мой, если захотел бы,
Исчезли б графы и князья,
Товарищи мои росли бы
 Не робкими, как я.

Отец мой страшен для богатых.
Одно словечко он скажи,—
Ух, задрожали б их палаты,
 Их мраморные этажи.

Отец сильнее всех, быть может,
Он труженик, и он борец.
Король — и тот не так всемогущ,
 Как мой отец.

1945



Иоганнес Р. Бехер *

РАЗЛУКА И ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда я уходил
(Я не стыжусь признанья),
Мой каждый шаг мне стоил много сил.
Когда я уходил
(О, горечь расставанья!),
Я родину с собою уносил.
Как это вышло, что тому виной,
Что мне пришлось покинуть край родной?

Когда вернулся я,
Сквозь слезы, как в тумане,
Увидел ту, которой краше нет.
Когда вернулся я,
Разлукою изранен,—
Я возвращенья ждал двенадцать лет,—
Был мой приход печалью омрачен,
Плыл над страной похоронный звон.

Когда я уходил,
С самим собою в споре,
Мой голос никого согреть не мог.

Когда вернулся я,
Седой, познавший горе,
Любовью к родине я песнь свою зажег.
Тот, прежний,— с ним простился я навек,
И возвратился новый человек.

1955

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Всё — тучи. Неба ни клочка.
В холодном ветре запах влаги.
Продрогнув, дюжие коняги
Ждут возчика у кабачка.

Все глубже сумеречный свет.
Свежо. И хоть он был не вправе,
Но угольщик, товар оставив,
Пошел погреться: мочи нет.

Тем временем, то там, то тут,
Снежинки медленные, рея,
Летят. Становится темнее.
Хозяин пьет, а кони ждут.

Но вот тяжелые шаги...
Приходят лошади в движенье.
Хмельной возница в раздраженье
Бурчит, что не видать ни зги.

А утром — каждое крыльцо,
Карнизы крыш — все стало белым.
Пора вставать. Зима надела
Новехонькое бельце.

1960

Мария Бануш

*

ПОЭЗИЯ

Будь бережливой, будь скупой...
Даже перышко и то храни.
В шкатулку его опусти,
рядом с молчаньем, возникшим вчера
в сумерки между другом твоим и тобой,
рядом с пузырьком из-под духов,
где радуга заключена.
Подбери даже камешек, который ты
в детстве аметистом звала,
даже смятую трубочку вьонка во дворе —
сбереги и ее.
Сбереги и странное ощущение
головокружительного полета
туманным мартовским утром,
когда сосульки каплю за каплей
роняли на сырой тротуар.
Сохрани даже осколок и тень.

И когда многие скажут, с жалостью
покачивая головой:
«Видали вы? —
она хранит даже старый трамвайный билет,
даже осколок и даже перышко»,—

и тогда ты встряхнешь своим коробком,
словно красной копилкой в виде сердца
(как таинственно звучало ее «дзинь-дзинь»).

— Пришло время разбить ее, — шептала ты себе,
и щеки твои горели.

— Пусть посыплются оттуда никелевые монетки
все до единой.

Не оставь себе ничего.

И тогда распрямятся венчики вьюнков
и зазвучат их лиловые трубки
громче труб Иерихона.

Непроницаемая стена забвения рухнет.

Из перышка вновь возникнет ласточка,
чтобы, рассекая воздух,
усесться под твоей кровлей.

Аметистовый песок
обретет свой былой блеск.

Сосульки возобновят певучую жалобу.

Использованный трамвайный билет,
даже тот воскреснет.

Мы будем снова стоять, стройные и серьезные,
в старом-престаром вагоне

с длинными кожаными ремнями,
беспокойно свисающими с потолка,

с трепетными городскими огнями
за темными стеклами,

с запахом дешевого сукна твоего пальто,
увлажненного дождем,

с зеленым сумраком твоих глаз, которого нет
нигде,

кроме этого вагона с длинными кожаными
ремнями,

беспокойно свисающими с потолка.

С сербского



Десанка Максимович

В Е Щ И

Вещи долговечнее, чем люди,
и без нас живут они прекрасно:
все наши страдания им известны,
но они, как боги, безучастны.

Равнодушно следуют за нами
вещи, с нами связанные крепко.
Внуку улыбается беспечно
чаша, из которой пили предки.

Серые, из шерсти, рукавицы
мать сама вязала и носила.
Дочь глядит на них в раздумье горьком:
руки те давно взяла могила.

Тех, что с нами за столом сидели,
нет уже на свете, наших близких,—
мы же в горе, в радости, в печали
продолжаем есть из той же миски.

Мы рождаемся и умираем,
мы уходим, чтоб не возвратиться,
оставляя в холоде предметов
жизни нашей теплые частицы.

1960

ПРАЗДНИК ОСЕНИ

По земле, как северное море,
Разлились октябрьские рассветы...
Холодно. А лес как прежде весел.
Завтра смерть, а он забыл об этом,
Он забыл про ледяные зори.

Иней лег, а лес забыть не может
Певчих птиц безумные рулады.
Веет летом от сухих дорожек,
Запевают буковые рощи
Зрелые, как грозди винограда.

Еще факельными языками
Лес на перекрестках изукрашен,
Будто возвращаются со свадьбы,
Тополи еще идут с флажками,
Издали еще руками машут.

Липы хорошеют в пестрых платьях,
Блещет крона дуба золотого.
Дикая лоза, пылая страстью,
Обвилась вокруг лесного вяза,
Точно задушить его готова.

1960

ВЕСНА ВЪЕТ ГНЕЗДО

Вдох фиалки — ей под снегом стало тесно!
вьет гнездо весна в тепле сугробов,
мир деревьев оживает понемногу,
поднял рожицу свою жучок древесный.

Вьет гнездо весна меж облачных затонов,
сделались голубки нежно-говорливы.

В небе алом, как бывает ветка ивы,
солнце набирает перья, как орленок.

Вьет гнездо весна в моих ладонях,
голову кружит мне ток весенний,
словно винная струя густая.
В сердце та же песня нарастает,
что и в соках молодых растений.

К нам в жилье, в одни и те же сроки,
прилетит любовь ко мне и к птицам.
Так же бурно кровь моя струится,
как весенние потоки.

1960



Мария Пуйманова

БЛУЖДАЮЩИЙ КОРАБЛЬ

Отплыл корабль от статуи Свободы:
— Фарвелл!

Стихия пестует его.

Куда он держит путь? В какие воды?
Какие тайны в трюмах у него?

Его своими волнами качает
Атлантика, Колумба колыбель.
Корабль плывет. И вот под крики чаек
Он в Генуе — достигнутая цель.

— Гей, славный город, дай пришвартоваться,
Мы прибываем с грузом — первый сорт!
Нам не к лицу на рейде оставаться,
Пускай ворота нам откроет порт.

Он волновался, требуя причала,
Он бушевал, непрошенный пришлец.
— No pasaran! — в ответ ему звучало,
Но слитная стена его встречала
Несокрушимых, пламенных сердец.

Подъемный кран стоял чернее ночи,
Сирена издала протяжный крик,
Оповещая портовых рабочих
О том, что к ним контрабандист проник.

И те, кто украшает берег моря,
Кто высекает мраморный сонет,
Кто превращает в перлы слезы горя,
Все, как один, они сказали: «Нет!»

Нет, это не корабль, они сказали,
Могила это, будущий наш гроб.
Его на дно спровадить не пора ли,
Чтоб там начинку вывернуть он мог.

Корабль увещевал:
— О христиане!
Где лоцман? Нам для блага нужен он.
Оружие употреблять мы станем
Лишь для защиты ваших же мадонн.

Смеялись верфи:
— Вот уже некстати
Здесь эта пресвятая болтовня.
Не в небе счастье, — говорит Тольятти, —
Земная жизнь для этого дана.

Уперся грузчик:
— Разгружать бродягу —
Да я и пальцем не пошевелю.
Разгрузкой помогать такому флагу,
Ведь это значит приближать войну.

— Долой его! Не разгружать — и баста! —
Отрезал, как ножом, подъемный кран.
— И без того уже довольно часто
Нас бреднями морочил Ватикан.

— Отчаливай! — все закричали хором.
И злой корабль пустился наутек.
И с той поры все ищет порт, который
Ему бы предоставил нужный док...

Я знаю край, где молотом и лирой
Утверждено величие страны,
Где, славя труд, дымятся трубы мира,
Путь преграждая кораблям войны.

1955

С итальянского



Джузеппе Унгаретти

ИЗ ЦИКЛА «КОНЕЦ КРОНОСА»

Апрель

Сегодня — впервые
глаза свои юное солнце
могло бы открыть.
Но ты не решаешься, солнце,—
ты в облаке горькой печали скорбишь.

Июль

Когда он приходит,—
в багровых огнях лихорадки
сникает прохлада листвы.
Идет, выжигая овраги, глотая потоки,
безжалостно, дико сверкает
и в ярости скалы дробит;
летит, пожирая пространство...
Так, из года в год, наше лето
глазами, как известью жженой,
зеленую землю клеймит.

ИЗ ЦИКЛА «МЕЧТЫ И АККОРДЫ»

Ясное небо

Все летом сожжено.
Но лишь опустится полоска тени,—
Земля прозрачной кровью розовеет,
И с высоты луны прозрачный голос
Летит и замирает в камышах,
И в это время гаснут боль и страх.

День за днем

(На смерть сына)

1

Ребенок так страдал,
Звал маму мальчик мой.
К окну тянулся он,
Уже полуживой.
Влетали воробьи,
Касались рук и плеч:
Им раскрошили хлеб,
Чтобы дитя развлечь.

2

Остался лишь во сне
Его ручонок след.
Беседую с людьми,
Курю... А сына нет.
Такой же, как и был,
По виду я почти,
Но как мне эту ночь
Опять перенести?

3

Быть может, ждет меня
Тяжелый ряд годов.
А будь со мною ты —
Я был бы к ним готов.

4

Ушел ты навсегда.
Но знал бы кто-нибудь,
Как маленькая тень
Мне озаряет путь.

5

Люблю тебя.
И сердце
Болят, как в первый день.

К о д н ю м о е г о р о ж д е н и я

Заходит нежное солнце,
Но день еще все в дороге,
А в небе так много света,
Что сердце забилося в тревоге.
И кажется мне, что где-то
Вдруг голоса зазвучали,
Полные ласки тихой
И одинокой печали.
Может быть, в этом — примета,
Что осень моя приходит,
В темный наряд одета,
В наряд осеннего цвета...
Она навсегда уносит
Чудесный дар безрассудства...
Резвая юность чувства,
Время смутных мечтаний,
Не уходи так скоро,
Останься со мною, страданье.

1958

ПОЕЗДКА ПО ИТАЛИИ

Поездка по Италии —
Это праздник.
Чудесно весной ранней
Увидеть Сицилию, Флоренцию, Рим.
Но внезапно возникнет у вас желание
На два дня заглянуть в Турин.
Впрочем, и здесь в нынешний год —
До чего хороша весна!
Тотчас же за Альпами
Вам в глаза
Хлынет голубизна
И даже в музее египетских мумий
Повеет дыханием вдруг.
Попасть бы туда!
Но как раз очень занят
Ваш итальянский друг.
Он занят.
Внутризаводские комиссии
Выбирает завод «Фиат».
Шестьдесят тысяч рабочих — шутка ли:
Весь город — сплошной плакат.

На стенах самых различных зданий
«ЧИ-ДЖИ-ЭЛ», «УИЛ» и «ЧИЗЛ»¹.
В чем суть этих начертаний,
В чем их сокровенный смысл?
«Независимые профсоюзы»
Вам тоже ясны не вполне.
Для того чтоб понять
Все это как следует,
Надо многое знать о стране.
Ваш друг лелеял иные планы:
Он вам показать был бы рад
Дом, в котором жил Тассо;
Правда, после бомбардировок
Остался один фасад.
Показать вам Эразмовский университет,
Госпиталь, где умер
Клеман Маро,
Старинный французский поэт.
Туринку юную показать,
Красивей которой нет.
Он хотел свезти вас в городок,
Где некогда жил Руссо.
Но взамен того — со старым рабочим
Встретиться вам помог.
Итальянский шахтер с французскими шах-
тами

Одиннадцать лет был знаком.
Пролетарий с ясным разумом,
С ярким, образным языком.
Друг ваш молча начнет улыбаться:
Ведь вы, буржуа, не очень
Верите в существование людей
Таких, как этот рабочий.
Так знайте же —
Он один из тех,
Кто в сорок третьем году

¹ «ЧИ-ДЖИ-ЭЛ» — Всеобщая конфедерация труда; «УИЛ» и «ЧИЗЛ» — профсоюзные объединения, не входящие во Всеобщую конфедерацию труда.

Против фашизма, против войны
Был в первом ряду.
Вы слушайте его внимательно.
И вас удивит едва ли,
Что «независимый профсоюз»,
Детище предпринимателей,
На выборах будет провален.
А Всеобщая конфедерация труда,
Наше детище, наша любовь,
Солидарность рабочих на выборах
Продемонстрирует вновь.
Мы против войны и ракетных баз,
Против атомной вакханалии.
И если бы не рабочий класс —
Не ездить бы вам по Италии...
Поездка в Италию —
Это праздник.
Чудесно весной ранней
Увидеть Сицилию, Флоренцию, Рим.
Но как хорошо,
Что прежде всего
Вы попали в рабочий Турин.

1958

С французского



Анна-Мари Кежельс

СТУЛ

Частицей леса, полной щебетаний,
 Был этот стул.
Теперь в безмолвии воспоминаний
 Он потонул.
Он помнит солнце, ветер, снег летящий,
 Но он в плену.
Его все тягостней, его все чаще
 Клонит ко сну.
Я слышу ночью — хочет стул проснуться,
 Он силится понять —
Как ощупью, впотьмах ему вернуться
 В свой лес опять.

КОЛОДЕЦ

О жажды круглая примета
Во чреве матери-земли,
Тобой душа воды одета.
Чтоб бедра узкие твои,
Лаская, охватить руками,
Ложусь щекой на влажный камень,

Ловлю воды прикосновенье,
Дыханьем перистых растений
Дышу в серебряной пыли.
О собеседник молчаливый,
Ладони у меня сухие,
Но мне понятен твой язык,
Твой каждый звук, твой каждый блик.
Я поднимаюсь во весь рост,
Чтобы вернуть ночной стихии
Тяжелое ведро звезд.

1960

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Макаров. Вера Инбер</i>	5
---	---

СТИХОТВОРЕНИЯ

1910—1923

Осень	45
Сказки	46
Снег	48
Предместье	49
Моя девочка	50
Петровский	51
Рим	53
Тропики	54
«Много близких есть путей и дальних...»	56
«Поздно ночью у подушки...»	57
«В час заката выпуклей и глаже...»	58
«Волна без пены. Солнце без огня...»	59
«Здесь нежная заря робка...»	60
«Как жизнь идет!..»	61
«О, зори золотистые весной...»	62
«Мне не нужны румяна и котурны...»	63
«Осенний воздух тонок и опасен...»	64
«Такой покой, как будто выпал снег...»	65
«Ты помнишь Геную? Прогулки по утрам...»	66
«Ты представить себе не можешь...»	67
Сласти	68

«Больному солнцу выйти лень...»	69
«Шелестя сухими злаками...»	70
«Уж виноградари прошли с корзинами...»	71
«Как пальцы от свежих грецких орехов...»	72
«Как уйти от этой жизни милой...»	73
«Не то, что я жена и мать...».	74
«Я не могу увидеть всей земли...»	75
«Хорош воскресный день в порту весной...»	76
«Мои слова становятся тяжелее...»	77
«Есть много неоткрытых тайн природы...»	78
«Слова мои сегодня не крылаты...»	79
«Бывает дух позорно нем...»	80
«Хорошо в Константинополе влюбленным...»	81
«Неслышимы, неуловимы взором...»	82
«Куда уйти, когда кругом моря?..»	83
«Забыла все: глаза, походку, голос...»	84
«У первой мухи головокружежье...»	85
«Лучи полудня тяжело пламенеют...»	86
«Надо мной любовь нависла тучей...»	87
«Всею, под звездами готов...»	88
«Тяжелознойные лучи легли...»	89
«Прохладнее бы кровь и плавников бы пара...»	90
«Душе, уставшей от страсти...»	91
«Желтое листья. Дни короче...»	92
«Уже заметна воздуха прохлада...»	93
«Скупа в последней четверти луна...»	94
«Такой туман упал вчера...»	95
«Месяцы нас разделили...»	96
«Слишком быстро проходит жизнь моя...»	97
«Как сладостно, проживши жизнь счастливо...»	98
«Уехал друг. Еще в окне закат...»	99
«Будь для меня учителем и другом...»	100
«Что мне отдать за мир души...»	101
Фоксокот	102
«Все вмещает: полосы ржаные...»	104
«Уж свою Францию...»	106
«Поцелуй же напоследок...»	108
Сеттер Джек	110
Рассказ о рубашке	113
События в Красном море	118

Пять ночей и дней	120
Могила Неизвестного солдата	121
Египет	122
Собачий экзамен	124
Сороконожки	127
Париж	130
Так будет	132
О мальчишке с веснушками	134
Уголь	139
По телефону	143
Так выглядит...	144
Будущим о прошедших	146
Пески истории	147
Конец года	149
Солнечные консервы	151
Два стихотворения о сердце	153
Песня	155
Сыну, которого нет	158
Васька Свист в переплете	161
Случай в Зоопарке	166
Он вечно зелен	169
Ночь под Москвой	171
«Земля остывает. Исчезнет скоро...»	173
Европейский конфликт	175
Колыбельная песня немолодого математика	178
Война и мир	180
Ядовитый газ	183
Разлука	186
Опыт анализа разлуки	188
Родоначалница	194
Старость	196
Хочу в Москву!	198
«Обидно, что маленький птичий скелет...»	200
Вполголоса	201
40 лет	204
Сельвинскому	205
Минута слабости	206
Славный город Муром	207
Первое мая	209
Неоконченное стихотворение	211

Переулок моего имени	213
Книга и сердце	217
Весна у нас во дворе	220
Весна в Самарканде	222
Воспоминания об Узбекистане	225
Москва в Норвегии	228
Еще одна разлука	231
Наша девушка	233
Природа	237
Ашуг	239
Тихая Наташа	240
Бессонница	241
Звезда над миром	245
Проводы	248
Гелати	250
Испанский подросток	252
Перо и жизнь	254
«Ты дай мне погоду, синоптик...»	255
Так и надо!	256
Сдается квартира	258
Товарищ Виноград	261

1941—1944

Заботливая женская рука	264
Дневной концерт	266
Женщине!	268
Родина, отомстим!	270
Единый путь	272
Трамвай идет на фронт	274
Бессмертие	276
Говорят зенитки	278
Обращение к Одессе	280
Душа Ленинграда	282
Там, где вы,— там Советская власть	283
Спасибо вам!	284
Бей врага!	285
Энская высотка	286
Он — наш	288
Ленин	290

Царица полей	292
На врага!	294
Девушка родная	296
На мотив народной песни	297
Рожден Петром и Лениным воспитан	298
Пушкин жив	300
Весна	301

1945—1964

Домой, домой!	302
Приключения сосульки	309
Оттепель	311
Наша биография	312
Память о Ленине	314
Есть такие люди...	315
1945—1946	317
Баян в Берлине	319
Победительница	321
Москва навеки!	322
Русский гений	324
Советских женщин голоса	326

ПУТЬ ВОДЫ

1

Путь воды	327
Дитя своей страны	331
Грибоедов в Тегеране	334
Мираж	338
Персеполь	341
Персидская миниатюра	344
Вода и нефть	345

2

«Поздравляю с водой!»	349
Большой Ферганский канал	354
Колхозный арычок	361

Детский сад	364
Персик	368
Будущая трасса	373
Разлив	378
Апрель	382
Овеечная славой	384
Высокая трибуна	387
Проект памятника	389
Ленин и Время	391
Свет Ленина	393
Мы летели в Москву	395
Предсовнаркома Лепин	397
Нота «ля»	398
Что такое весна	400
В Джакарте	402
Торговая точка	404
Рука Ленина	406
Великое простое слово	408
Читателю	409
Ты как солнечный свет...	411

ПОЭМЫ

Путевой дневник	415
Овидий	455
Пулковский меридиан	472
Две главы из поэмы «Ленин в Альпах»	503
Я вспоминаю... (Из поэмы)	508

ПЕРЕВОДЫ

С украинского

Тарас Шевченко

Русалка	519
«Мать в шелку меня родила...»	521
«Было бы сесть с кем, хлеба съесть с кем...»	521

Максим Рильский

Джемма	523
Синяя даль	523

С л а т ы ш с к о г о

Я н Р а й н и с

- Глаза людей и очи звезд 526
«Любимая, судьбой нам суждено...» 527

Я н Э з е р и н ь ш

- Хмель 528

П. Э р м а н и с

- Встреча 529

С у з б е к с к о г о

К у д д у с М у х а м м а д и

- Пчела и бабочка 530

С б о л г а р с к о г о

Е л и с а в е т а Б а г р я н а

- Времена года 532
Дом в Бояне 535
Аэродромы 536
Земля, внучка и я 538

Б л а г а Д и м и т р о в а

- День и ночь 541
Мне остаешься ты... 541
Смогла бы я... 542
К луне 542
Родина 544

С в е н г е р с к о г о

Ш а н д о р П е т е ф и

- Все говорят, что я поэт... 545
Что слава? 546
Печаль 546

Э н д р е А д и

- Сын пролетария 547

С н е м е ц к о г о

И о г а н н е с Р. Б е х е р

- Разлука и возвращение 549

Ганс Лорбер

Первый снег 551

С румынского

Мария Бануш

Поэзия 552

С сербского

Десанка Максимович

Вещи 554

Праздник осени 555

Весна вьет гнездо 555

С чешского

Мария Пуйманова

Блуждающий корабль 557

С итальянского

Джузеппе Унгаретти

Из цикла «Конец Кроноса»

Апрель 560

Июль 560

Из цикла «Мечты и аккорды»

Ясное небо 561

День за днем 561

Ко дню моего рождения 562

Вельсо Муччи

Поездка по Италии 563

С французского

Анна-Мари Кежелъс

Стул 566

Колодец 566

И Н Б Е Р

Вера Михайловна

Стихотворения и поэмы

Т о м I

Редактор *А. Ноткина*

Художественный редактор *Ю. Васильев*

Технический редактор *З. Евдокимова*

Корректор *Е. Патина*

Сдано в набор 10/X 1964 г. Подписано
в печать 25/XII 1964 г. А09446. Бумага

84×108^{1/32}=18 печ. л. 29,52 усл. печ. л.

19,93+1 вкл.=19,98 уч.-изд. л.

Тираж 35 000 экз. Заказ 1984.

Цена 95 коп.

Издательство

«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19.

Первая Образцовая типография

имени А. А. Жданова

Главполиграфпрома

Государственного комитета

Совета Министров СССР

по печати

Москва, Ж-54, Валовая, 28.

